

Франц Меринг

ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

С КОНЦА СРЕДНИХ ВЕКОВ

ПЕРЕВОД и ПРЕДИСЛОВИЕ
И. СТЕПАНОВА

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ“
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ♦ МОСКВА ♦ 1924

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

Небольшая книга Меринга, изданная на немецком языке почти пятнадцать лет назад, интересна, как все, что появлялось из-под пера этого блестящего историка германской социал-демократии, до глубокой старости сохранившего поистине юношескую свежесть и гибкость ума и умершего одним из первых и виднейших германских коммунистов, каковым он сделался в сущности с первых же дней мировой империалистской войны.

Уже давно, за много лет до войны, он шел в этом направлении. Лет двенадцать назад, когда на страницах журнала «*Нейс Цейт*» развернулась полемика между сторонниками «старой, испытанной тактики», сосредоточивавшей всю деятельность социал-демократии около парламента, и между революционными марксистами, Франц Меринг оказался в одних рядах с Розою Люксембург. И тогда же ему пришлось оставить страницы этого теоретического органа социал-демократии, в создании и ведении которого он принимал самое деятельное участие. В руководящих кругах партии победа осталась тогда за позднейшими «независимыми»,—как через несколько лет сами «независимые» были отодвинуты в правящих верхушках партии правыми германскими меньшевиками, соглашателями шейдемановского толка.

В мрачном освещении всего, что пережила за последние годы разложившаяся официальная германская социал-демократия, многое представляется нам иным и в ее прошлой истории (см. мое послесловие к последним русским изданиям «Истории германской социал-демократии» Меринга, выпущенным Госиздатом). Мы яснее видим теперь, напр., весь

исторический характер ее эрфуртской программы, всю ее половинчатость, недостаточность, соглашательство, ограниченность. Только теперь становится для нас вполне понятной та критика, которую находила германская социал-демократия со стороны Маркса и Энгельса, которые пережили и 1848-й год, и Парижскую Коммуну, и потому с такой ясностью и глубиной представляли себе условия и вероятные формы грядущего социалистического переворота, как никто из их современников. Мы легче открываем теперь тактические промахи германской социал-демократии и тот основной недостаток ее «старой, испытанной тактики», что парламентская и вообще демократическая деятельность из подготовительной школы к непосредственной революционной борьбе масс превращалась в самоцель, и что эта школа принималась и выдавалась за самое революционную жизнь и революционную борьбу.

Если бы Мерингу была суждена более долгая жизнь, если бы ему удалось пересмотреть свою «Историю германской социал-демократии», в особенности ее заключительные отделы, посвященные франко-прусской войне и периоду исключительных законов против социалистов, он, несомненно, кое-где значительно изменил бы свои суждения. Соответственные перемены были бы внесены и в последние страницы предлагаемой теперь книги, вторая часть которой заканчивается как-раз этим периодом. В общем его работа приобрела бы более критический характер, внимательнее остановилась бы на борьбе течений внутри единой по внешности социал-демократии, выяснила бы экономические причины, выдвинувшие реформистов на руководящие посты.

Благодаря большой сжатости и краткости, апологетический характер истории германской социал-демократии в данной работе, впрочем, не так бросается в глаза, как в его 4-томной «Истории».

Но в остальном Мерингу можно было бы ограничиться частичными изменениями. Его работа все еще сохраняет свое значение, как опыт исторического руководства для партийных курсов и школ.

Ясно, но в то же время и сжато написанная книга Меринга не во всех своих отделах одинаково популярна. Она

и не могла быть таковой и по самым условиям своего возникновения, о которых рассказывает Меринг в предисловии к книге, и по своим целям. Это—не популярное введение в историю Германии и не пособие для самостоятельных занятий начинающих читателей по этому предмету. Это—именно «руководство для учащихся и учащихся». «Учащим» оно указывает, какой материал могут они выбрать, ведя работы на партийных курсах и в школах, и с какой точки зрения следует подходить к этому материалу. «Учащимся» оно должно служить в первую очередь для напоминания того, что было прослушано и проработано ими на курсах или в школе. И в том, и в другом случае руководство предполагает до известной степени подготовленного читателя.

Однако, приступив к книге, читатель увидит, что, при условии некоторой настойчивости с его стороны, лишь немногое в книге Меринга останется для него не вполне ясным по недостатку предварительного знакомства с предметом, и что при чрезвычайной содержательности работы с этим можно легко примириться. Притом некоторые затруднения встретятся, главным образом, в отдельных главах первой половины книги, касающихся истории германской литературы и философии. Что касается второй половины, которая по содержанию почти совпадает с четырехтомной «Историей германской социал-демократии» Меринга, то она, при всей своей краткости, не представит затруднений для читателя и пригодна для первоначального знакомства с историей рабочего движения в Германии.

В России работа Меринга в целом представит, может быть, наибольшую ценность для «учащих». Фактического материала у них более чем достаточно, и, пожалуй, их горе именно в том, что у них этого материала слишком достаточно, что они задавлены фактами, из-за деревьев не видят леса, утрачивают общую перспективу. Меринг дает как-раз то, чего им нехватает. В кратком указателе литературы, заканчивающем каждый отдел, он предлагает список работ, который даст читателю дополнительный материал и в особенности поможет углублению понимания общей связи явлений за рассматриваемый период. Те работы, которые в на-

стоящее время можно найти в русском переводе, мы приводим под теми названиями, как они появились в русских изданиях.

Почти каждый отдел книги Меринга, вместе с указываемой в конце литературой, может дать материал для составления рефератов учащимися. Работа Меринга способна подействовать тому, чтобы свежая струя вошла в преподавание истории в нашей новой школе, в которой слишком многое идет по-старому не только потому, что преподавательский персонал в общем остался прежний, изувеченный и искалеченный эксплуататорским обществом и государством, превратившим их в своих бессознательных рабов, но и потому, что новые педагоги не находят пособий и руководств, отвечающих по своему духу и содержанию новой исторической эпохе.

Мы считаем, однако, необходимым отметить места, способные вызвать недоумение у читателя.

Говоря о последних этапах мировой политики Наполеона, о его союзе с Россией и т. д., Меринг употребляет выражения, которые приближаются к идеалистическому истолкованию этого отдела истории. Он совершенно игнорирует тот факт, что за Наполеоном и Александром стояли общественные классы с вполне определенными материальными интересами, и что давлением этих классов определялись союзы и войны. Не следует, однако, забывать, что книга Меринга—просто пособие для тех, кто уже прослушал прочитанные им лекции, и что одна из основных его задач—дать канву, которая помогла бы бывшим слушателям освежить в памяти проработанный ими материал.

Под пером историка марксиста для нас совсем непривычны и положительно отталкивают такие места, как встречающиеся, например, в отделе третьем, глава шестая. Меринг упоминает здесь о мелкобуржуазных слоях, которые составляли в течение ряда веков главную ось германской жизни, обладали неиссякаемыми силами, «спасавшими, среди бедствий и смут своего времени, немецкое имя для великого будущего». Наше ухо открывает в таких фразах,—а они встречаются и в других местах,—несомненнейший отголо-

сок национализма. В этом отношении даже в способах выражения мы не будем следовать за Мерингом.

Едва ли следует также, подражая ему, говорить о «крестьянском классе», идет ли речь о средних веках, об эпохе Реформации, или о новом крестьянстве, уже сбросившем с себя большую часть феодальных оков. Для отчетливости понимания в этой области, в которой многим так хотелось бы и хочется все затемнить и перепутать, необходимо избегать всякой небрежности в терминах. Надо постоянно помнить, что то, что мы называем крестьянством, представляет или сословие, или особую профессиональную группу, и что и сословие, и профессиональная группа несут в себе зачатки более или менее отчетливого классового расслоения. Следовательно, крестьянство представляет не один класс, а сочетание классов, находящихся в процессе развития.

Главное содержание первой части книги Меринга составляет борьба буржуазии против феодального мира, развернувшаяся, по особым условиям существования Германии, главным образом, в литературной и философской области. Оценка, которую Меринг дает передовым борцам этой эпохи, представляет для марксиста нечто само собою разумеющееся. Он рассматривает их деятельность с точки зрения буржуазной образованности, буржуазного просвещения. И недостаток поэтов и мыслителей 18-го века,—напр., Канта, Шиллера и т. д.,—был не в том, что они были идеологами нового для того времени буржуазного мира, а в том, что они останавливались на полпути, вступали в компромиссы с феодализмом, с недостаточной решительностью выражали требования буржуазного общества. Прогрессивны для этой эпохи были именно буржуазное образование, буржуазное просвещение, и этим дается критерий для оценки исторической роли германских поэтов и философов 18-го века.

Мы особо подчеркиваем эту руководящую идею первой части работы Меринга. При чтении ее нам вспомнился тот шум, который подняли русские кадетские и народничающие историки, когда наши марксисты-историки с такой же точки зрения приступили к изучению нашего прошлого. Буря негодования разразилась против этих марксистов, хотя они показали всего только, что, напр., декабристами были

совершенно чужды новейшие общественные проблемы, и что к разрешению проблем своего времени они приступали все же как дворяне-помещики. Марксисты-историки показали, что деятельность декабристов была всего лишь начальным этапом борьбы за превращение феодального общества в буржуазное. За это цеховые историки отлучили марксистов-историков от своего цеха.

И здесь работа Меринга поможет читателям уяснить не только германское, но и наше собственное прошлое.

Во второй части книги Меринга буржуазный мир уже отвечает, не успевши—и не захотев—расцвести и до конца справиться с препятствующим его развитию феодальным миром. Если главное содержание первой части—история возникновения и медленного роста германской буржуазии, то вторая часть—история быстрого роста ее могильщика, пролетариата. И по мере того, как он идет вперед и в мучительной борьбе с загнившим буржуазным обществом накапливает и организует свои силы, то, что было прогрессивным в предыдущую историческую эпоху, становится теперь реакционным.

Меринг дожил только до преддверия новейшей исторической эпохи, когда в контр-революционную силу превратилась и официальная германская социал-демократия, управляемая Шейдеманами, Носке и Давидами.

И. Степанов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Предлагаемая работа возникла из лекций по истории Германии, которые читались мною за последние четыре года в партийной школе. Здесь выяснилась необходимость снабдить слушателей рядом положений, которые послужили бы им путеводной нитью среди огромного материала. Сначала я пытался помочь делу посредством диктовок, но на это тратилось слишком много времени, которого вообще было мало в моем распоряжении.

В виду этого я сначала решил отпечатать руководящие положения. Но этот план пришлось расширить, потому что у меня, как преподавателя партийной школы и члена комитета по образованию, часто была возможность наблюдать, насколько настоятельна в широких партийных кругах потребность в подобном пособии для преподавания истории. В виду этого я еще раз основательно переработал руководство и постарался придать ему такой характер, чтобы оно могло одинаково облегчить труд учащимся и учащим, при том и вне партийной школы. Насколько удалось мне достигнуть этой цели, покажет применение руководства на практике; здесь же я ограничусь лишь немногими указаниями, которые позволят ориентироваться в руководстве.

С самого начала для меня было ясно, что малого можно достигнуть датами и именами или хотя бы эпиграмматически сжатыми характеристиками исторических событий, следовательно, установкой чисто-внешних вех для памяти. Необходимо было, хотя бы в самых общих чертах и в тесных рамках, изобразить историческое развитие в его внутренней связи. Только таким способом подготавливалась необходимая

почва, на которой могли бы закрепиться более обстоятельные лекции.

Выбор исторического материала следовало произвести в соответствии с задачами партийной школы и партийного обучения. Они сводились к тому, чтобы сделать возможным для учащихся понимание германской истории, поскольку она оказывает косвенное или прямое воздействие на германское рабочее движение. Я далеко не разделяю того воззрения, будто материалистический взгляд на историю недоступен для рабочих, и будто их историческое образование должно быть построено на биографиях отдельных великих людей. Но, разумеется, понимание истории может быть существенно облегчено для рабочих, если исторические повороты будут выяснены для них на людях, являющихся наиболее выдающимися носителями этих поворотов. Это будет отрицанием исторического материализма только в глазах тех, кто не может или не хочет понять его.

Таким образом, я признал за биографическими точками зрения все права, на какие они только могут претендовать в рамках общего исторического изложения. Знание того, чем были Лютер и Мюнцер в шестнадцатом, Валленштейн и Густав Адольф в семнадцатом, Кант и Лессинг, Гете и Шиллер в восемнадцатом, Гегель и Гейне, Лассаль и Маркс в девятнадцатом веке, в высокой степени содействует пониманию смены эпох, не говоря уже о том, что современный рабочий и вообще должен знать, что это были за люди. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что о некоторых, хотя, впрочем, не о всех этих исторических деятелях, в народной школе втолковывались самые превратные вещи, и что и в данном случае остается в силе положение: чем больше величия в сумасбродстве, тем короче путь к истине.

В заключение я могу ограничиться кратким указанием, что руководство, предназначенное для целей обучения, не может ставить своей задачей выдвигать новые точки зрения. Напротив, оно тем успешнее достигает своей цели, чем основательнее разработан тот исторический материал, который оно охватывает. Поэтому в тех областях германской истории, в которых я не производил самостоятельных работ,

я без малейших колебаний обратился к использованию исторических работ социалистической, а иногда и буржуазной литературы.

Это относится в особенности к первому отделу руководства, приблизительно до Реформации; при этом я в первую очередь опирался на работы моего друга Каутского, и опирался в такой мере, что это может быть оправдано только практическими целями моей работы, почему и он сам отнесется к этому с наибольшей снисходительностью.

Штеглиц-Берлин.
Январь 1910 года.

Ф. Меринг.



ВВЕДЕНИЕ.

1. Германцы и римляне.

При своем вступлении в историю, приблизительно в начале нашей эры, германцы были еще варварами. Они, составляя до двадцати племен, обитали между Рейном и Эльбой; на севере границей их распространения было Северное (Немецкое) море, на юге—линия от Майна, приблизительно около Ганау, до впадения Заалы в Эльбу. Из этой территории, охватывающей до 2.300 квадратных миль, на каждое племя приходилось почти по сотне квадратных миль. Очень большая часть страны еще была покрыта болотами и лесами; обитатели в малой мере занимались земледелием и питались преимущественно сыром, молоком и мясом. В соответствии с таким состоянием производства средств существования население было очень редкое; на одной квадратной миле едва ли могло существовать более 250 человек. Общее число душ во всех германских племенах составляло самое большее около миллиона.

Высшая суверенная власть внутри этих племен принадлежала общему народному собранию. Так как границы территории вследствие враждебных вторжений оставались необитаемыми, то 6.000—10.000 человек, входившие в состав известного племени, в один дневной переход могли достигнуть места собрания, хотя бы оно лежало в центре территории, и хотя бы они жили около самой границы. Основу этого демократического строя составляли роды, на ко-

торыс распадалось каждое отдельное племя. Роды представляли группы кровных родственников, охватывавшие до сотни семей; поэтому они назывались также сотнями. Каждый род располагал территорией в одну или в несколько квадратных миль и жил в общей деревне, имевшей вид слабо связанного и далеко разбросанного селения. При жалком состоянии земледелия место поселка часто изменялось в пределах территории рода с той целью, чтобы можно было время-от-времени обращаться к возделыванию новой плодородной почвы. Германское право даже в позднейшие времена относило дом не к недвижимому, а к движимому имуществу. Хотя германцы уже не были номадами, однако, они лишь очень слабо были связаны с землей, которая оставалась коммунистической собственностью, принадлежала совокупности рода.

В соответствии с этим организация рода была решительно демократическая, все его члены были свободные люди, обязанные каждый защищать свободу остальных, равные по своим личным правам, представлявшие братство, связанное кровными узами. Во время мира избирались старейшины родов, во время войны—предводители, но они оставались такими же рядовыми свободными членами, как все остальные. Разделение труда существовало лишь в чисто-стихийно сложившейся форме: оно осуществлялось только между мужчиной и женщиной. Мужчина вел войну, занимался рыболовством и охотой, добывал сырые материалы для приготовления пищи и необходимые при этом орудия. Женщина вела домашнее хозяйство, изготовляла одежду и пищу, варила и шила. Домашнее хозяйство было общее, коммунистическое для нескольких, иногда для многих семей.

Тем не менее, если не внутри родов, то внутри племен мы находим первые следы аристократии. В самом существовании всякого чиновенства лежит тенденция к превращению в наследственное сословие; сыновьям должностных лиц, отличившихся в мирное время, и в особенности на войне, обыкновенно предоставлялись известные преимущества, и, если они обладали соответствующими способностями, они становились преемниками своих отцов. Таким образом, в каждом племени над массой обыкновенных рядовых свобод-

ных начали возвышаться одна или несколько семей, которые в виде долей добычи, даней, подарков и т. д. приобретали большие богатства по мерке тогдашних германцев. Это дало им возможность держать при себе дружину,—свободных людей, наиболее храбрых воинов, которые обязывались следовать за своим господином на смерть и жизнь и жили возле него, как члены его семьи. Из этих семей обыкновенно избирались «первейшие», «князья», которые в мирное время разбирали судебные дела племени, а на войне были его главными предводителями. Однако, за ними отнюдь не признавалось право на эти функции: решающей инстанцией для каждого племени оставалось общее народное собрание.

Эта аристократия со своими дружинами, которые удавалось удерживать только благодаря новой и новой добыче, в свою очередь, немало содействовала упрочению той склонности к насилиям и разбоям, которая характеризовала германцев, подобно другим варварским народам. Как-раз их вторжения в провинции Римской империи и вызвали у римлян решение подчинить себе суровую и неприютную страну, которая сама по себе не представляла ничего привлекательного. Но все усилия римлян разбились о ненадломленную стихийную силу этих варваров, которые в большом изобилии располагали двумя основными источниками военной силы: во-первых, их воины отличались величайшей личной храбростью, которая закалялась жизнью среди суровой природы, в постоянной борьбе с дикими зверями и соседними племенами; во-вторых, отдельные воины связывались тактической сплоченностью, созданной коммунистическим образом жизни германцев, благодаря тому, что род и соседи, боевые товарищи и товарищи по хозяйству представляли для них одно и то же. У германцев не было ничего напоминающего военную дисциплину римлян, им было совершенно чуждо понятие о солдатском подчинении. Но характер природы, среди которой они шли, внутренняя сплоченность тех каре, в которых они вели сражения, полная взаимная уверенность друг в друге, порождающая моральную силу, оказались непреодолимыми даже для легионов

Рима, выдавших всякие бури. В сентябрьские дни 9-го года нашего летоисчисления в страшном трехдневном сражении—битве в Тевтобургском лесу—германцы под предводительством вождя херусков Арминия уничтожили римское войско наместника Квинтилия Вара.

Чтобы отомстить за позор этого поражения и, несмотря ни на что, подчинить себе германские племена, римляне через несколько лет предприняли еще три похода, питая надежду, что они со своими огромными армиями и при несравненном превосходстве оружия все же покорят небольшой народ. Действительно, германцы не могли противостоять им в открытом бою; но если они, употребляя превосходное выражение римского историка Тацита, уже не побеждали в сражениях, то, они, несмотря на то, все же остались непобежденными в войне. Они утомляли римские войска мелкой войной, в которой величайшую помощь оказывали им бездорожье и пустынность их страны; в конце-концов римлянам пришлось отказаться от дальнейших нападений. Германцы остались свободными не столько потому, что для Римской империи было бы абсолютно невозможно с течением времени покорить их, сколько потому, что это покорение потребовало бы чудовищных жертв, на которые Рим уже не рисковал пойти при том внутреннем разложении, какое, несмотря на весь внешний блеск, переживало его мировое господство.

В самом деле, подчинив себе все страны вокруг бассейна Средиземного моря, римское государство превратилось в гигантский эксплуататорский механизм, который своими даями и налогами ввергал массы населения все в большую нищету. Рим обосновывал свое право на существование тем, что он поддерживал порядок внутри и охранял от варваров извне. Но его порядок был хуже самого отчаянного беспорядка, а в тех варварах, от которых он обещал охранять римских граждан, последние жаждали найти избавителей. Беспощадные вымогательства чиновников задушили все зачатки торговли и промышленности в Римской империи, и в конечном итоге мировое господство римлян приводило ко всеобщему разорению, упадку сношений, торговли, искус-

ства, к упадку городов, к тому, что земледелие возвращалось к низшей ступени.

Земледелие представляло в древности важнейшую отрасль производства. Класс римских крестьян, в бесконечных войнах завоевавший мировое господство для Рима, в этих войнах растаял. В Италии были сосредоточены воедино чудовищные пространства земли, так-называемые латифундии, на которых хозяйство велось рабами. Это были или выпасы для скота, с которых прежде крестьянское население было вытеснено быками и овцами, или громадные имения, вынужденные искать сбыта на городских рынках. С упадком всеобщего благосостояния хозяйство латифундий, построенное на рабском труде, перестало давать доход. Между тем, это была единственно возможная форма крупного земледельческого производства. Таким образом, приходилось возвращаться к мелкому земледелию. Крупные владения разбивались на мелкие участки (парцеллы) и передавались колонам, которые уплачивали за них определенную сумму. Они были прикреплены к своим участкам и могли продаваться вместе с парцеллой. Хотя они не были рабами, однако, они не были и свободными. Это были предшественники средневековых крепостных.

Античное рабство не было уничтожено христианством, которое в древнее и новое время умело очень хорошо ужиться с рабством. Оно упало скорее по той причине, что экономически перестало быть прибыльным. Но, умирая, оно оставило свое ядовитое жало, так как оно привело к тому, что всякий производительный труд представлялся рабской деятельностью, недостойной свободных крестьян. Из этого тупика для античной культуры не оставалось никакого выхода: рабство сделалось экономически невозможным, производительный же труд свободных считался морально предосудительным. Таким образом, римское мировое государство в конечном счете пало, благодаря рабству.

Оно становилось все беспомощнее перед нападениями варваров, пока не попало—в пятом веке нашего летоисчисления—под власть германских полчищ, которые, несмотря на свою относительную малочисленность, овладели колоссальными пространствами и обновили умирающую культуру.

2. Германско-римские государства.

Задача, которая выдвинулась перед германскими племенами при их вторжении в Римскую империю: перед остготами в Италии, вестготами в Испании, бургундами, впоследствии франками, в Галлии, перед вандалами в Африке, заключалась в том, чтобы, пользуясь скромными средствами, которые давал им их родовой строй, подчинить себе общество, стоявшее на несравненно более высокой ступени развития производства, хотя последнее и находилось в упадке. Эта задача оказалась неразрешимой, потому что древнегерманскому строю были чужды какие бы то ни было органы господства.

Германские племена из состояния сплошной общей свободы с мало развитым дворянством разом попали в бездну застарелого общественного распада. Эта пучина поглотила класс рядовых свободных в том виде, как он существовал на коммунистической основе родового строя. Германцы-завоеватели потребовали в Италии одну треть, в Галлии и Испании две трети всей земли, и всю ее первоначально поделили в полном согласии со строем, существовавшим у них до того времени. Они до такой степени привыкли к коммунистическому хозяйству, что даже в испанском царстве вестготов, где своеобразие германцев утратилось с наибольшей быстротой, германские завоеватели только в полях отделили свои две трети от предоставленной оставшимся римским собственникам остальной трети и, напротив, сохранили в общинной с ними собственности леса, воды и выгоны. Однако, при сравнительной малочисленности завоевателей они должны были пространственно рассеяться по целым провинциям, и все же очень большие области остались незаселенными. Благодаря этому, характер рода, определяемый родством его членов, все более расшатывался, и начался даже упадок собрания свободных, как решающего учреждения во всех делах, касающихся коллективности.

Это обстоятельство имело тем более роковое значение, что в то же время потребности обороны новых государств

от внешних врагов приводили к быстрому превращению воиного предводителя, избираемого народным собранием, в короля с широкими полномочиями. Новая королевская власть нашла органы для себя в своей военной дружине, в аристократических элементах завоеванного населения, ответственность и знания которых были необходимы для нее, в рабах и вольноотпущенниках своего придворного штата. Она наделила их большими участками земли, оставшейся при разделе незаселенной. Так возникло новое, чуждое народу дворянство, которое было построено на крупном землевладении и, благодаря своей экономической силе, очень быстро из слуги короля превратилось в его господина. Чем выше поднималось это дворянство, тем ниже падала крестьянская масса. Представляя ядро войска, крестьяне разорялись вечными гражданскими и завоевательными войнами, совершенно так же, как в свое время разорялся крестьянский класс Рима; защиты, которой они не находили у короля, им скоро пришлось искать у крупных сеньоров. Они передавали последним свою собственность и получали ее обратно уже как зависимое владение, при чем формы последнего были различны и изменчивы, но постоянным условием оставалось отбывание известных платежей и служб. Эта зависимость мало-по-малу,—обыкновенно очень быстро,—приводила к утрате и личной свободы.

Таким образом шло развитие с пятого до девятого века, и, может казаться, как-будто эти четыре столетия, при всех кровопролитиях и пожарах, при всех колоссальных разрушениях, характерных для них, прошли совершенно бесследно: как-будто в девятом веке существовало почти точно такое же общество, как и в пятом столетии,—общество с главными классами крупных землевладельцев и зависимых мелких крестьян. Однако, хотя по внешности эти классы представлялись приблизительно такими же, как были раньше, но люди, составлявшие их, сделались совершенно другими. Исчезло античное рабство, исчез пролетариат свободных босяков, с таким рабским презрением относившийся к труду. Общественные классы девятого века сложились не в том болоте, в которое затягивалась падающая цивилизация, а в муках родов новой культуры. Новое об-

щество,—слуги, как и господа,—это было, по сравнению с их римскими предшественниками, крепкое поколение. Отношения сильного сеньора и зависимого крестьянина, представлявшие для античного мира последнюю ступень упадка, сделались теперь первой ступенью нового развития. Какими бы бесплодными ни представлялись эти четыре столетия, они оставили один великий продукт—современные национальности, это новое расчленение, с которым человечество вступило в дальнейший период его истории.

Далее германцы обновили безнадежно умиравшую цивилизацию своим индивидуальным мужеством и достоинствами, своей привязанностью к свободе, своим демократическим инстинктом, который во всех общественных делах видел только свои собственные дела,—коротко говоря, всеми свойствами, которые были утрачены римлянами, но которые только и дали возможность из слизи римского мира создать новые государства и новые национальности. Они преобразовали античную форму брака, смягчили господство мужчины в семье, предоставили женщине более высокое положение, чем она занимала у греков и римлян. Они,—по крайней мере, в важнейших странах: в Германии, Северной Франции и Англии,—внесли в феодальное государство часть своего старого строя в виде общины марки и таким образом дали угнетенному классу, крестьянам, местную спайку и средства сопротивления, которые были сохранены крестьянами даже при самых суровых средневековых крепостных отношениях, и которых не знали античные рабы.

Наконец, средневековые вассальные и даже крепостные отношения не только представляли более мягкую форму зависимости, чем античное рабство, но и превосходили последнее в том смысле, что вассалы и крепостные составляли общественный класс, благодаря чему они были способны развернуть успешную борьбу за свое освобождение. Напротив, все восстания древних рабов с самого начала были обречены на неудачу.

Главным рычагом в этом превращении римского мирового государства в ряд германо-романских государств была христианская церковь. Она учила германцев, она руководила ими при усвоении римского способа производства,—

только христианская церковь и обладала необходимыми для того способностями.

При своем возникновении христианская религия не была ни сверхъестественным откровением, как говорят верующие христиане, ни махинацией обманщиков, как довольно часто утверждают буржуазные просветители. Как мировая религия, она была скорее продуктом греко-римского мира. Почти все ее вероучения имеются у иудейского писателя Филона, который в своих многочисленных сочинениях слил религиозные предания иудейства с греческой философией, и почти все ее нравственные учения находятся у римского философа Сенеки, который проповедывал бедность, воздержание и добродетель, что не мешало ему быть правой рукой пресловутого императора Нерона и оставить неправдами приобретенное состояние в 30 миллионов рублей. Первообразом христианской религии можно признать откровение Иоанна («Апокалипсис»), самое старое из сочинений нового завета, с его хаотическим фанатизмом, с его моралью умерщвления плоти, с его пророчествами и видениями.

Подобно тому, как эти духовные течения возникли из всеобщей расслабленности и отчаяния, овладевших умами среди страшного падения Римской империи, так воздействовали они и впоследствии, в особенности на тех, кто не мог или не хотел искать убежища среди самых пошлых чувственных наслаждений и кто, отчаявшись в материальном спасении, жаждал взамен того духовного избавления: утешения в помыслах, которое спасло бы от окончательной гибели. Как само собой понятно, сильнее всего была эта жажда в тех слоях общества, которые глубже всего затягивались пучиной нищеты, следовательно, наиболее живой была она среди рабов. Христианство отказалось от всяких обрядностей; широко распространенное чувство, что сами люди несут вину за всеобщий упадок, оно превращало в ясное покаянное сознание каждого человека; в то же время жертвенной смертью своего основателя оно давало общепонятную форму всемирного внутреннего избавления от порочного мира. Всем этим обуславливалась его способность превратиться в мировую религию.

От скорбей настоящего первые христиане искали прибе-

жища в надеждах на будущее, в ожиданиях тысячелетнего царства, которое Христос создаст на земле. Они представляли это тысячелетнее царство в очень земном и очень чувственном виде; отцы церкви в первые века не гнушались описывать радости любви и выпивки, господствующие в этом царстве. Только с того времени, когда христианская религия перестала быть верой несчастных и угнетенных, когда она сделалась верой сильных и богатых, официальная церковь стала недоверчиво относиться к хилиазму, т.е. к ожиданиям тысячелетнего блаженного царства на земле. Она почувствовала в них революционный привкус и, чтобы дело было надежнее, перенесла царство праведных на облака.

Однако, как бы надежды на тысячелетнее царство ни господствовали в первые века христианства, тем не менее, не они привели христианство к победе, а в несравненно большей мере его деятельные старания оказать помощь в величайшем социальном зле падающей империи—гнете массовой бедности. Христианские общины сначала сделали попытку организовать на коммунистических началах; но эти опыты должны были потерпеть крушение уже по той причине, что дохристианский коммунизм распространялся только на потребление, но не распространялся на производство; презрение к производительному труду, порожденное рабовладельческим хозяйством, продолжало оказывать свое действие: первые общины христиан нисколько не помышляли о производстве. Если же они обращались к производству, то частная собственность на средства производства, представлявшая абсолютную необходимость для того времени, быстро полагала конец первоначальному христианскому коммунизму, хотя старейшие отцы церкви еще очень часто и очень сурово выступали в своих проповедях против богатства и имущественного неравенства. Во всяком случае, хотя христианство не могло решить проблем массовой бедности и уничтожить имущественное неравенство, оно в своей начальной стадии много делало в области практической борьбы с массовой бедностью, чем не в малой мере был обеспечен его всемирно-исторический успех.

Но раз новая религия вследствие крушения первоначаль-

ного христианского коммунизма оказалась неспособной преодолеть классовые противоположности своего времени, то она сама приводила к развитию новой противоположности классов. Благодаря тому, что сила и братство первых христианских общин все увеличивались, из их неограниченного самоуправления вырос господствующий класс—духовенство, по отношению к которому класс рядовых членов мало-помалу попадал в подчиненное положение. У тех несчастных и бедняков, из которых рекрутировались первые общины, не было достаточной дальновидности и силы для того, чтобы сохранить демократический строй общин. Епископы приобретали все большую независимость от своих избирателей, и уже в третьем веке почти повсюду общины сохранили только одно право—утверждать чиновников церкви.

Духовенство организовалось в замкнутую корпорацию, которая была самопополняющейся корпорацией и по своему усмотрению располагала церковным имуществом.

Рука об руку с этим шло сплочение первоначально совершенно самостоятельных отдельных общин в один большой союз, в общую церковь. Одинаковые воззрения, одинаковые цели, одни и те же гонения уже давно приводили отдельные общины к сношениям друг с другом при помощи делегатов и посланий; к концу второго столетия церкви отдельных провинций уже образовали более или менее устойчивые союзы, в которых верховными учреждениями были съезды (соборы) их делегатов, синоды епископов, и уже в 325 году в Никее состоялся первый имперский съезд. Господствующее положение на соборах занимали епископы, являвшиеся представителями наиболее сильных и богатых общин, и таким образом епископ Рима оказался, в конце-концов, во главе христианского мира.

Все это развитие сопровождалось великой борьбой против государственной власти, которая не хотела допустить нового государства в государстве, борьбой между отдельными организациями и внутри организаций, борьбой между духовенством и народом, при чем победа обыкновенно оставалась на стороне духовенства. Но среди этой борьбы христианская церковь превратилась в организацию, которая сосредоточивала в себе все, что еще оставалось в античном

мире интеллигентного и активного, и после того, как в борьбе с государственной властью она оказалась непобедимой, она сама начала подчинять себе государственную власть. В начале четвертого века один ловкий претендент на корону уже сообразил, что победа достанется тому, кто сумеет расположить к себе христианского бога, другими словами, кто вступит в союз с христианским духовенством, и, благодаря императору Константину, христианство сделалось господствующей религией в Римской империи.

С этого времени начался в особенности быстрый рост церковных имуществ; церковь сделалась колоссально богатой, а духовенство—совершенно независимым от массы верующих. Но вместе с тем духовенство стало управлять церковным имуществом уже не в интересах бедных, а в своих собственных интересах, и расточало их на свою приятную жизнь. Чтобы эти пастыри душ не расточили всего церковного достояния, в пятом веке было установлено, что не менее одной четверти церковных доходов должно оставаться для бедных, а из остальных трех четвертей одна должна идти епископу, одна его духовенству и одна на потребности культа.

Тем не менее, в принципе и в теории церковные имущества считались собственностью бедных, *patrimonium pauperum*; нельзя было в конец задушить коммунистические идеи христианства, пока сохранялись социальные условия, породившие эти идеи.

3. Средневековая церковь.

Это положение изменилось лишь с того времени, как германские варвары вторглись в Римскую империю, и в связи с этим исчезла массовая бедность, как общее явление.

Правда, и в средние века было много массовой нищеты, но источником ее были военные опустошения, неурожай или эпидемии, а не то обстоятельство, что люди были немущими. Христианская церковь сумела искусно приспособиться к этим новым условиям; из благотворительного учреждения она превратилась в политическую организацию.

Церковные имущества окончательно перестали быть имуществом бедных. В девятом веке появились Исидоровы декреталии,—собрание нагло фальсифицированных церковных законов, которые должны были обосновать притязания римских пап на мировое господство и которые легли в основу их дальнейшей политики. Согласно этим декреталиям, под бедными, достояние которых составляет имущество церкви, следует разуметь только духовенство, давшее обет бедности. В двенадцатом веке эта теория нашла последовательное завершение: папская власть заявила, что все церковные имущества принадлежат ей, и каждый папа может располагать ими по своему усмотрению.

Как политическая сила, римская церковь подчиняла себе все средневековье. Она противостояла вторгающимся варварам, как единственная организация, которая еще сплачивала римское государство, как представительница римского способа производства, который, несмотря на весь его упадок, все же был выше способа производства у завоевателей, как бы ни превосходили они вырождающихся римлян морально и физически. Церковь знакомила германцев с высшими формами земледелия; до поздней эпохи средних веков монастыри оставались образцовыми сельскохозяйственными учреждениями. Духовенство обучало германцев ремеслам и искусствам. Церковь, насколько зависело от нее, содействовала торговле. Вся наука средних веков сосредоточивалась в церкви; она давала врачей, архитекторов, историков; она же,—так как только здесь и было умение читать и писать,—доставляла для новых королей чиновников, без которых они не могли бы обойтись. С возрастанием власти короля над народом росла и власть церкви над королем. Всякое расширение государственной власти знаменовало усиление и церкви; завоевание языческих стран совершалось в виде основания новых епископий.

Конечно, церковь заставляла дорого оплачивать свои услуги. К ней шла десятина—единственный общий налог, существовавший в средние века. Но важнейшим источником власти в средние века была земельная собственность, и средневековой церкви удалось захватить в свои руки, по меньшей мере, третью часть всего землевладения. Церковь умела

использовать свою силу с большей прибыльностью, чем могли ее использовать король и дворянство. Ее владения были наилучшим образом возделываемые, наиболее плотно населенные, ее города—самые цветущие, а потому доходы и сила, извлекаемые ею, были больше, чем доставляемые королю или дворянству владениями равной величины. В прстивоположность королю и дворянству, ей не приходилось бдльшую часть своих доходов затрачивать на военные дела; а если средневековым аббатам и епископам все же довольно часто приходилось участвовать в войнах, они, во всяком случае, не были связаны с войной в такой мере, как светские сеньоры. Поэтому у них не было нужды так взвинчивать эксплуатацию своих вассалов и крепостных; по средневековой поговорке, хорошо было жить под жезлом епископа,—так назывался знак его должности.

Кроме всего этого, церковь могла до известной степени поддерживать традиции, которые при ее возникновении сделали ее сильной. Так как наибольшая часть ее доходов составлялась из продуктов в натуральной форме, то, как бы ни роскошествовали сами духовные, их житницы всегда были хорошо наполнены. Когда случалась война или неурожай, церковь часть избытков из своих запасов могла давать нуждающимся, и она охотно делала это, правильно оценивая, какую власть над массами населения доставляет ей попечение о бедных.

В связи со всем этим в средневековой общественной организации не было ни одного класса, который не был бы заинтересован в поддержании церкви. Конечно, не все в одинаковой мере: у королевской власти и дворянства было немало жестоких схваток с церковью. Тем не менее, если они и стремились ограничить власть церкви, они не могли помышлять и не помышляли о том, чтобы выступить вообще против существования церкви: это было бы равносильно нападению на само средневековое общество. Церкви принадлежало господство над всей материальной, а вместе с тем и над духовной жизнью средних веков. Она настолько срослась со всей народной жизнью, что на целые столетия церковный строй мышления превратился в своего рода инстинкт, которому слепо следовали, как закону природы,

и что все проявления общественной, государственной и даже семейной жизни выступали в облачении церковных форм.

Германские племена, которые, как, напр., остготы и вандалы, хотели основать свои государства на обломках Римской империи в антагонизме с римской церковью, погибли. Напротив, на долю племени франков, которое с самого начала основывало свое государство в союзе с римской церковью, выпала гегемония на Западе, хотя оно отнюдь не отличалось христианскими добродетелями, а, напротив, пользовалось наихудшей репутацией среди германских племен. Король Хлодвиг, который в 496 году присоединился к римской церкви, был одним из ужаснейших извергов, каких только знает история. Король франков в союзе с главой римской церкви объединил западно-европейский христианский мир в единое тело с двумя головами, светской и духовной; это объединение против напиравших со всех сторон врагов представляло безусловную необходимость, но оно скоро повело к самой ожесточенной борьбе между императорской и папской властью,—борьбе, бушевавшей на протяжении всех средних веков. В последнем выводе борьба постоянно завершалась победою папской власти, хотя бы унижение, напр., императора Генриха 4-го перед папой Григорием 7-м в замке Каноссе (1077 год), вошедшее в поговорку, характеризующую превосходство папской власти, и являлось в действительности временным торжеством императора. Церковным покаянием перед верховным главой христианского мира, которое, по средневековым воззрениям, не представляло ничего бесчестящего, Генрих 4-й разрушил стремления к светскому господству, которые питал папа, соединившийся с германскими государями для подчинения императорской власти.

Главная причина того превосходства, которое обнаруживала папская власть над императорской, заключалась в том, что папы имели возможность развернуть более крупные силы в борьбе против внешних врагов, чем императоры. Благодаря этому папская власть представляла несравненно большую необходимость для христианских народов, чем императорская власть. Крушение Римской империи привело в движение не только германцев, но и все многочисленные

племена полуоседлых или совершенно кочевых варваров, обитавших в соседстве с Римской империей и германцами. Через Эльбу напирали славяне, степи южной России высылали один кочевой народ за другим: гуннов, аваров, венгров, которые распространили свои завоевательные походы через Рейн и Альпы до Северной Италии. Из Скандинавии явился народ отважных пиратов, норманнов, которые господствовали на Балтийском море, овладели Россией, задолго до Колумба открыли Америку и с конца восьмого до одиннадцатого века угрожали уничтожить всю созданную с великим трудом культуру сделавшихся оседлыми германских народов. Но самым опасным врагом последних были сарацины, которые, получив толчок от арабов, двинулись, чтобы найти добычу и обиталища в странах высшей культуры.

В борьбе с этими многочисленными врагами, которые в десятом веке были недалеко от того, чтобы задавить христианский мир, папство превратилось в победоносного вождя, которому мировое господство досталось поэтому само собою. Папство подчинило себе славянские народы посредством той же силы, какую оно покорило германцев: они должны были принять христианство, т.-е. римский способ производства. Сделав их оседлыми, папская власть обезвредила их. Затем Рим заключил союз с норманнами, чтобы совместно с ними вести борьбу против сарацин. Норманны сделались вассалами папы, который отдал им в качестве ленов их завоевания; с помощью пап они завоевали Англию и Нижнюю Италию. Но зато с помощью норманнов папская власть начала против сарацин наступательные войны, известные под именем крестовых походов, первый из которых относится к 1095 году.

Жажда земли гнала на Восток норманнов, которые все время оставались строптивыми вассалами пап; в Палестине, Сирии, на Кипре они основали феодальные государства. Если они являлись передовыми борцами в рядах крестоносцев, то главная масса последних составлялась из людей, которым на родине терять было нечего: из крепостных, которые не могли долгие сносить гнета феодальных господ, из разорившихся элементов низшего дворянства,—не-

даром один из них назывался Вальтер Голяк. Но власть папства настолько выросла, что она могло вербовать и таких борцов, которые лишь с большой неохотой несли на Восток крест, являвшийся боевым знаком папства; к числу таковых принадлежали и некоторые германские императоры.

Этому постоянному возрастанию силы духовной монархии соответствовало растущее бессилие светской монархии. Основой феодального общества было крестьянское и ремесленное производство в рамках общины марки. Одна или несколько деревень обыкновенно составляли марку с общей собственностью на лес, выгоны и воды. Весь процесс средневекового производства протекал в пределах этих общин; община марки представляла хозяйственный организм, производивший все, что ему требовалось; он был самодовлеющим организмом, и потому у него не было почти никаких хозяйственных связей с внешним миром. Таким образом возникли партикуляризм (местное обособление) и сословная обособленность, характерные для средних веков. При таких обстоятельствах экономическая связанность феодального государства оставалась до чрезвычайности шаткой.

Государства распались с такою же быстротой, как возникали, и даже национальный язык не мог служить сколько-нибудь сильным связующим средством, так как экономическая обособленность членов марки благоприятствовала развитию диалектов. В соответствии с этой слабой сплоченностью государства власть главы последнего, короля, тоже была слабая. Она основывалась в сущности на том, что король был крупнейшим землевладельцем в стране; но как-раз потому у него не было перевеса над объединенной силой остальных крупных землевладельцев, он был, самое большее, первый между равными, но даже и это скромное превосходство расшатывалось тем сильнее, чем больше возвышалась власть феодального дворянства, которое все больше подчиняло себе свободных крестьян.

Правда, королевская власть нашла некоторую опору в постепенно выроставших городах. Основой средневековой городской общины послужила тоже община марки. Города развивались благодаря торговле, которая никогда не пре-

кращалась вполне, даже в эпоху величайшего развала, последовавшую за падением Римской империи. Конечно, у подавляющей массы населения, у крестьян, не было надобности в торговле, так как они сами производили все, что им требовалось; но сеньоры—высшее дворянство, высшее духовенство—нуждались в продуктах более развитой промышленности, в тонких тканях, предметах украшения и т. д., которые можно было достать только посредством торговли. Города возникли, как складочные места товаров, огражденные стенами от нападений грабителей; как рынки для продуктов промышленности, они вызвали к жизни ремесло в качестве товарного производства. Находившиеся до того времени в вассальной зависимости ремесленники, попав в город, стремились стряхнуть с себя повинности, и вассальные ремесленники из окрестностей бежали в города, если только они надеялись получить там защиту. Ремесленники стояли вне городской общины марки, и потому были устранены от городского управления, которое находилось в руках первоначальных членов марки, превратившихся из деревенских коммунистов в высокомерных патрициев. Ремесленники же организовались по образцу общины марки в цехи и повели во многих случаях успешную борьбу против старых патрицианских родов. В этой борьбе против землевладельческой аристократии ремесленники до известной степени связывались своими симпатиями с крестьянами, которые стремились к смягчению феодальных повинностей. Нередко оба класса шли рука об руку. В мелкой буржуазии наметился демократический уклон, который, однако, не был достаточно силен для того, чтобы преодолеть старинную замкнутость марки, а повел только к тому, что сфера этой замкнутой общины несколько расширилась, стала охватывать цех и общину.

Таким образом, наряду с общиной марки выступила новая экономическая ячейка—город с его более или менее обширной территорией. Однако, попрежнему сохранилось взаимное обособление отдельных городов; и, хотя в первое время они давали государям известную опору в их борьбе против дворянства, тем не менее, с дальнейшим расцветом они угрожали превратиться в новый элемент государствен-

ной раздробленности. Но здесь в отдельных городах началось то развитие, которому предстояло создать современную нацию и современную монархию.

Источники. Хорошее изложение борьбы германцев и римлян в начале нашей эры дает *N. Delbrück*, „Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte“,—первые главы второго тома. Критическое извлечение из этой работы дает *Ergänzungsheft der „Neuen Zeit“—Mehring*, „Eine Geschichte der Kriegskunst“. Ценные указания относительно возникновения германо-романских государств дает *Этельс*. „Возникновение семьи, частной собственности и государства“, в главе об образовании государств у германцев. Кроме того, можно воспользоваться: *Лампрейт*, „История германского народа“, два первых тома, но в особенности первый том; позднейшие томы этой обширной исторической работы все больше и больше падают; читать ее было бы потерянным временем для рабочего. С возникновением христианства и господством средневековой церкви наилучшее знакомство дает *Каутский* в различных работах, которые все появились в штутгартском партийном книгоиздательстве: „Возникновение христианства“, основная работа, впрочем, непосредственно не связанная с германской историей; далее „Предшественники новейшего социализма“ (изд. Госиздата); в первой главе первого тома говорится о первоначальном христианском коммунизме; наконец, „Томас Мор и его Утопия“; в первом отделе мастерски описан переход от феодально-средневекового к современно-капиталистическому строю.—несравненно короче, но в то же время с бесконечно более исчерпывающей полнотой, чем в какой-либо буржуазной исторической работе.

ОТДЕЛ ПЕРВЫИ.

Германская реформация и ее следствия.

1. Купеческий капитал.

Во многих городах благодаря особо благоприятным историческим и географическим условиям возникла мировая торговля,—сначала в Нижней Италии вследствие морских сношений с Востоком, с Константинополем и Египтом; отсюда она стала распространяться на север. Она привела в движение огромные сокровища, которые представлялись для того времени прямо неизмеримыми и скоро породили жадность во всех господствующих классах Европы.

Здесь впервые появляется современный капитал, сначала еще, главным образом, в виде купеческого капитала. Однако, он тотчас же начал оказывать разлагающее действие на феодальный способ производства. Чем больше развивался товарообмен, тем большей силой становились деньги, за которые каждый мог все получить, в которых каждый нуждался и которые каждый брал. У родника капиталистического способа производства стоял не ремесленно-цеховой мастер, который при ограниченности числа подмастерьев мог достигнуть лишь умеренной зажиточности, а купец, капитал которого способен к неограниченному расширению, и у которого жажда прибыли в такой же степени беспредельна. С купеческим капиталом, революционной силой четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого столетий, в средневековое общество вошла новая жизнь, и вместе с тем стал возникать новый строй воззрений.

На место ограниченного партикуляризма, характерного для средних веков, выступил космополитизм, который чувствует себя хорошо повсюду, где только можно что-нибудь заработать. В противоположность цеховому горожанину, который нередко всю свою жизнь не переступал границ своего города, купец неустанно рвался в неведомые страны, перешагнул пределы Европы, положил начало эпохе открытий, которая увенчалась отысканием морского пути в Индию и открытием Америки. Но, с другой стороны, универсальности средневековой церкви купец противопоставил национальность, которая была лишь слабо развита в средние века с их мелкими самодовлеющими общинами.

Противоположность покупателя и продавца развилась в мировой торговле в национальную противоположность; чем сильнее было общество, к которому кто-либо принадлежал, тем выше были для него шансы увеличить свои барыши. Таким образом в мировой торговле выросли мощные экономические интересы, которые приводили к укреплению слабой спайки средневековых государств, но в то же время резче отделяли их друг от друга, так что христианский мир раскололся на глубоко обособленные нации.

В той же мере, как мировая торговля, внутренняя торговля тоже содействовала усилению национальных государств. Из существа торговли вытекает концентрация ее в узловых пунктах, где сосредоточиваются заграничные товары, которые отсюда по широко разветвленной сети дорог и путей расходятся по всей стране, и где в то же время сосредоточиваются туземные товары, которые отсюда сбываются за границу. Вся территория, над которой господствует такой узловой пункт, превращается в экономический организм, который тем теснее срастается с узловым пунктом и тем сильнее зависит от него, чем более производство для собственного потребления вытесняется товарным производством. Но вместе с тем он становится центром духовной жизни для зависимой от него территории, и национальный язык начинает вытеснять, с одной стороны, универсальный латинский язык средневековой церкви, а с другой стороны, крестьянские диалекты.

Не менее понятно, что государственное управление

должно было приспособиться к этой экономической организации и повести к усилению власти государей там, где последние еще сохраняли ее остатки. Для торговли был необходим надежный полководец и сильное войско, которое, в соответствии с характером обслуживаемой им экономической силы, нанималось за деньги, представляло наемное войско в противоположность феодальному рыцарскому войску. Торговля нуждалась в таком войске для того, чтобы охранять свои интересы вовне и внутри, подавлять конкурирующие нации, завоевывать новые рынки, разрушать те границы, которые полагались свободным сношениям внутри государства мелкими общинами,—для того, наконец, чтобы осуществлять на путях полицейскую власть по отношению к тем крупным и мелким феодалам, которые хотели бы захватить торговые барыши наиболее простым способом—посредством дорожного разбоя. Коротко говоря, соединение всех ресурсов административной и военной власти в одних руках, княжеский абсолютизм сделался экономической необходимостью.

Но приходилось позаботиться и о том, чтобы этот современный абсолютизм, чем больше он усиливался по отношению к крестьянам и ремесленникам, к дворянству и духовенству, не получил бы такого же преобладания и над капиталом. В действительности, чем больше основой его власти становилось уже не землевладение, а деньги, тем больше возрастала его зависимость от капитала. Войска, которые приходилось держать государям, стоили очень дорого, и не менее денег требовало содержание дворов, которые своим великолепием и пышностью должны были выманить недвольное феодальное дворянство из его замков. При княжеских дворах развернулась безумная роскошь, которая поглощала несметные суммы. Князья начали повышать денежные поборы, при чем они становились в большую или меньшую зависимость от богатых городов, которые ценой денег покупали новые права для себя. Но и денег, доставляемых им городами, было недостаточно для того, чтобы заштопать прорехи, которые производились в княжеских финансах нескончаемыми войнами и придворной расточительностью, и современные государи, несмотря на свою власть,

кажущуюся неограниченной, скоро попали в долговое рабство к капиталу.

Однако, революционный купеческий капитал не только создавал современный абсолютизм: в соответствии со своими потребностями он претворял и средневековые общественные классы. Жажда золота и серебра,—товара, который все может купить,—перекинулась в деревню; сельское хозяйство обратилось к производству товаров; пусть сельский хозяин попрежнему производил для собственного потребления, все же, кроме того, что требовалось ему непосредственно, он должен был произвести еще известный избыток, который можно было бы вынести, как товар, на городской рынок. Сельское хозяйство тоже сделалось источником для добывания денег, и при особо благоприятных условиях крестьянину удавалось, превратив свои оброки и барщины в денежные платежи, освободиться от феодального ярма. Тем не менее, вообще, а для германских крестьян в особенности, денежные платежи оставались бичом, который доводил их до отчаяния, но в то же время немного пользы приносил и сеньорам. Товарное производство и самой земле придало характер товара, а вместе с тем придало стоимость, определяемую не количеством жителей, которые от нее кормятся, а избытками, которые она доставляет. Чем меньше число возделывателей по сравнению с получаемым продуктом, и чем беспритязательнее их жизнь, тем больше становился избыток, получаемый от земли, а потому и ее стоимость.

Таким-то способом по всей Западной Европе возникла жажда земли, в особенности такой земли, которая, подобно лесам и пастбищам, не требует многочисленных рук для возделывания. Если средневековое дворянство искало земли и людей, если оно тем более богатело, чем больше крестьян прикрепляло к земле и чем больше новых поселенцев умело привлечь к себе, то у нового дворянства были иные цели. Оно стремилось к захвату крестьянских запашек, а в особенности общинных лесов и общинных выпасов, без которых крестьянское производство было невозможно, и в то же время оно хотело обезлюдить отнятую землю, насколько это было возможно без угрозы продолжению сельскохозяйствен-

ного производства, являвшегося источником денег для дворянства. Барщины тех крестьян, которых еще терпело дворянство, увеличивались до крайних пределов. Эти крестьяне попадали той наиболее тягостной и бесстыдной эксплуатации, которая характеризует товарное производство, построенное на принудительном труде: бешеная жажда прибыли уже не встречает здесь того сопротивления, которое свободный рабочий все же оказывает капиталистической эксплуатации.

Из крестьян, массами сгоняемых со своих участков, возникли зачатки современного пролетариата. Этот пролетариат отличался от античного тем, что он возник не в виде подонков эксплуататорских и господствующих классов, а сложился вследствие разложения эксплуатируемых и подчиненных классов. Впервые в истории появился класс свободных пролетариев, составлявший низший класс общества. Конечно, у него еще не было ни малейшего предчувствия ожидающего его исторического призвания, тем более, что его крестьянское ядро усиливалось элементами совершенно иного происхождения: вследствие распухания феодальных дружин, которые сделались ненужными для дворянства, когда оно превратилось в придворного паразита или в барышника-товаропроизводителя. Этот новый пролетариат использовали отчасти полководцы, отчасти купцы: первые—в своих армиях, вторые—в своих мануфактурах, в которых они начали производить товары, до того времени получавшиеся из-за границы. Но эти отводные каналы были далеко не достаточны, тем более, что мануфактуры могли применять только обученных рабочих, и что большинство солдат обыкновенно распускалось по окончании войны. Таким образом, пролетариат становился жертвой массовой бедности и массового одичания, которое тщетно старались искоренить посредством ужасающе жестокого, кровавого законодательства.

Поскольку дворянство усвоивало эту убийственную и грабительскую политику, отпадала его экономическая необходимость. Чем сильнее становилась центральная государственная власть, чем решительнее полиция подавляла внутренние распри, чем меньше самостоятельной военной силы

оставалось у дворянства, тем излишнее для крестьян становилось отыскивать сеньора, который давал бы защиту от сильных. Сеньором-покровителем и защитником оказывался теперь человек, против которого крестьяне прежде и больше всего нуждались в покровительстве и защите. Феодальное дворянство сделалось тягостной помехой для исторического развития; впрочем, последнее скоро отmeldo его слабейшие элементы, так-называемое рыцарство, низшее дворянство, стоявшее между крупными сеньорами и крестьянами, как теперь мелкие буржуа стоят между буржуазией и пролетариатом.

Подобно современной мелкой буржуазии, рыцарство тщетно пыталось задержать свое падение, как самостоятельного класса, при помощи политики, которая шаталась между господствующими и подчиненными классами из стороны в сторону. Его смертные муки часто приобретали трагический характер, примером чего могут служить германские рыцари Гутген и Зиккинген, которых Фердинанд Лассаль сделал героями трагедии. Но литература возвышающейся буржуазии в своем задоре, вытекавшем из избытка сил, видела в гибнущем рыцаре только комическую фигуру, о чем еще и теперь свидетельствует Дон-Кихот испанского поэта Сервантеса и Фальстаф английского поэта Шекспира.

2. Разложение папской церкви.

Постепенное превращение феодального способа производства в капиталистический оказало глубокое влияние и на главную силу средневековья—на церковь, и в первую очередь на мировую власть, которая выпала на долю пап, как вождей христианских народов против внешних врагов, и которая достигла зенита в крестовых походах. Как-раз крестовые походы и превратились в мощный рычаг, поднявший торговлю с Востоком и содействовавший развитию капитала, этой силы, которой предстояло ниспровергнуть феодальный мир и стоявшего во главе его монарха, папу.

Крупнейший землевладелец средних веков, церковь пережила такой же процесс, как крупное землевладение во-

обще. Чтобы использовать сельскохозяйственное производство в качестве источника денег, она разоряла крестьянский класс, захватывала общинные леса и общинные выгоны, прогоняла крестьян с земли или грабила их самым беспощадным образом. Нехорошо стало житья под жезлом. Растущая алчность заставляла также церковь все больше ограничивать попечение о бедных; натуральные доходы, избытки которых раньше охотно предоставлялись ею на это дело, так как сама она была не в состоянии потребить их, превратились теперь в торговые товары, и порожденное этим корыстолюбие захватило и церковь.

Если она становилась, таким образом, все более ненавистной для крестьянского класса, то не снискала она дружбы и поднимавшейся в то время буржуазии. Как бы ни пренебрегала она попечением о бедных, все же она не могла забросить его совершенно,—иначе она утратила бы всякую опору в массах. Она все еще представляла некоторое предохранительное сооружение против обнищания масс, пролетаризация которых, производимая капиталом, все еще казалась последнему недостаточно быстрой. Пока неимущий получал от церкви хотя бы скудную милостыню, он еще не отдавался капиталистической эксплуатации со всеми своими потрохами. Кроме того, капиталистические праздники были бельмом на глазу для расцветавших городов; чем многочисленнее становились эти праздники, тем резче противоречили они капиталистической мудрости, согласно которой рабочий не работает для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы работать.

Но, что в особенности важно, новый способ производства уже не нуждался в церкви, как наставнице и руководительнице. Он создал для себя собственное образование и науку; он создал также и собственные органы управления. Духовенство осталось необходимым только для деревни,—как еще и теперь в отсталых странах, ему приходится выполнять некоторые государственные задачи, напр., вести регистрацию браков, рождений и т. д. В 16-м веке приходское духовенство оставалось еще экономически необходимым, и никто не думал об его устранении. Но тем решительнее выступил юный капитал против двух других сил церкви,

которые экономически и социально становились все более лишними, а потому все более вредными для нового способа производства, именно против монастырей и против папской власти.

Монастыри стали излишни в качестве образцовых сельскохозяйственных учреждений, в качестве учителей населения, покровителей бедных, хранителей искусств и наук. Они кормили тысячи праздных монахов вместо того, чтобы выгнать их на улицу и передать в распоряжение капитала в качестве наемных рабов. Не исполняя никаких функций в общественной и государственной жизни, грубые, ленивые, невежественные, при всем том непременно богатые, монахи все более впадали в разврат, грязь, всевозможные пороки. Они становились предметом всеобщего презрения.

Столь же излишним, как монастыри, становилось и папство. Защитой христианских народов от язычников и неверных оно выполнило свою историческую задачу; со времен крестовых походов уже никакая опасность не угрожала со стороны Азии. Правда, выступила новая восточная сила в лице османов, турок, которые в 1453 году завоевали Константинополь и отсюда угрожали христианской Европе. Но этот удар шел не с юга, а с востока, и главной своей тяжестью он приходился не по Италии, а по придунайским странам, прежде всего по Венгрии, а потом по южной Германии и Польше. Благодаря этому борьба против турок перестала быть общим делом всего христианского мира; она была только делом его восточных окраин.

Турецкая опасность немало содействовала тому, что венгры, чехи, южные немцы спаялись в габсбургскую монархию, и что корона Германской империи осталась за этой монархией. Но для папства турецкая опасность не представляла непосредственного интереса; если же папы продолжали собирать сокровища, как фонд для борьбы против турок, то они очень скоро начали применять эти сокровища в своих собственных интересах. Папская власть и вера в ее всемирно-историческую миссию, являвшиеся до 12-го века средством спасения христианских народов, с 14-го века превратились в средство эксплуатировать эти народы.

Эта эксплуатация выростала с развитием товарного про-

изводства. Жажда денег охватила и римскую курию. Прямые налоги, взимавшиеся папской властью с верующих, были сравнительно незначительны; зато в создании косвенных налогов папы 15-го и 16-го веков были столь же изобретательны, как современные финансовые мастера. В эпоху торгового капитала они правильно увидели, что торговля—наилучшее средство для того, чтобы обирать людей и быстро приобретать крупные богатства. И вот они начали барышничать церковными должностями, а в особенности отпущением грехов за наличный расчет, — так-называемыми индульгенциями, которые из году в год становились все бесстыднее. Таким образом римский церковный механизм превратился в такую же гигантскую и так же неустанно действующую эксплуататорскую машину, какой некогда была Римская империя.

Носители папской тиары навлекали на себя все большее презрение христианских народов. Они были не только князья церкви, господствовавшие над всем христианским миром и заинтересованные в сохранении феодального способа производства: они были также и светскими государями над более или менее обширной частью Италии. Как таковые, они были заинтересованы в развитии капиталистического способа производства. Таким образом в папах соединялась юношеская смелость со старческой похотливостью, революционное презрение к традициям, характерное для поднимающегося класса, с неестественной жадой наслаждений, свойственной эксплуататорскому классу, идущему к гибели. Папы вели распутную жизнь, что в немалой мере содействовало падению их престижа в глазах христианских народов, которые возмущались этим тем больше, чем более глубокую власть над ними сохраняли феодально-патриархальные воззрения, и, следовательно, чем глубже они были проникнуты верой в непогрешимость папства. Чтобы как-нибудь поддержать веру, единственную опору, которая еще осталась у папской власти после того, как переворот, совершившийся в обществе, вырвал из-под ее ног твердую почву, она начала прибегать ко всяческим средствам обмана и лжи; колоссальный эксплуататорский механизм, она сделалась столь же колоссальным механизмом одурачения.

Поэтому папская власть подавляющей тяжестью лежала на всех христианских народах, и у всех у них была настоятельная потребность освободиться от этой тяжести. Но не у всех у них была одинаковая потребность в отколе от папства. Наименее проявлялась эта потребность как-раз в странах, наиболее развитых в экономическом отношении. Итальянцы тем больше становились папистами, чем более развивалось товарное производство, потому что господство папства знаменовало господство Италии над христианским миром. Франция и Испания также не помышляли об отделении от папства. В обеих странах прежде всего укрепился современный абсолютизм. Французским королям уже в 15-м веке удалось сделать французское духовенство в большой степени независимым от Рима и подчинить это духовенство себе. Король получил решающее слово при замещении высших церковных должностей; денежные сборы в пользу пап, если не было согласия короля, были воспрещены. Положение в Испании было такое же, как во Франции,—там даже церковная инквизиция превратилась в полицейское орудие королевской власти. Таким образом, эти страны сумели освободиться от папской эксплуатации, и мысль о полном отделении от папства была тем более далека от них, что теперь они могли помышлять о том, как бы самого папу превратить в свое орудие и, пользуясь им, достигнуть господства над всем христианским миром. Сделавшись владыками над папой, они хотели бы подчинить христианские народы своей эксплуатации.

По этим причинам, а не вследствие своей умственной отсталости, как рассказывают буржуазно-протестантские исторические книги, Италия, Франция и Испания остались католическими. Было бы совершенно ошибочно видеть в реформации, стремившейся к полному разрыву с Римом, явление по существу интеллектуального характера, борьбу высшего протестантского умственного развития против католической отсталости. Так как Италия, Франция и Испания были странами наиболее развитыми в экономическом отношении, то они были наиболее развитыми и в умственном отношении; нигде чисто-светская образованность той эпохи не стояла на таком высоком уровне, как именно в Италии,—

но Италия тоже осталась ревностно католической страной по тем же причинам, как только-что упомянутые страны.

Светское образование возникло прежде всего в Италии. Притом новому способу производства не приходилось здесь тяжелым трудом создавать новое миросозерцание, новое искусство и науку: он нашел соответствующую его потребностям форму мышления уже в античной литературе, предания которой никогда вполне не прерывались в Италии и вообще в странах по Средиземному морю. К изучению древних писателей обратились, как к средству уразуметь современность и нанести смертельный удар отмирающим остаткам феодального миросозерцания. Умственное течение, развившееся под влиянием этого изучения, получило название ренессанса (возрождения, т.-е. возрождения древности) и гуманизма (т.-е. стремления к чисто-человеческому образованию, в противоположность схоластической теологии,—богословию,—занимавшейся божественными предметами). Если бы материальные отношения действительно создавались идеями, как утверждают буржуазные историки, то из этого возрождения античных идей должно было бы вновь возникнуть античное общество. Но в действительности идеи гуманистов приспособились к экономическим отношениям. Как ни воспламенялись они республиканскими писателями древности, они были наиболее ревностными борцами за новый абсолютизм, совершенно правильно сознавая, что в нем живет движущая сила исторического прогресса; и в какое бы резкое противоречие с христианской церковью ни ставило их античное образование, как бы ни пропитывались они языческими воззрениями, какую бы жестокую и резкую борьбу ни вели они против монахов и пап, они все же оставались решительными католиками, совершенно правильно сознавая, что полный разрыв с папством изолировал бы их и от стран, наиболее развитых в экономическом и умственном отношении.

Хотя германские гуманисты с чувством высокого удовлетворения смотрели на первые шаги реформаторского движения и оказывали ему посильное содействие, однако, когда выяснилось, что германская реформация знаменует полный откол Германии от Рима, все они возвратились в лоно католической церкви.

3. Германская реформация.

После всего этого можно сказать, что реформация, самой главной ареной которой сделалась Германия, в известном смысле была борьбой варварства против цивилизации. Однако, хотя никогда не следует упускать из вида этой связи, без чего невозможно правильное понимание великих переворотов 16-го века, тем не менее это не должно приводить нас к низкой оценке реформации не только в историческом, но, как само собою разумеется, и в моральном отношении.

Если германские гуманисты стали на сторону католицизма, чтобы спасти цивилизацию от угрожавшей ей опасности, то они проглядели, что католическая культура зиждется на эксплуатации и невежестве народных масс, что Германии в особенности суждено оставаться бедной и невежественной, если в Италии под защитой папской власти будут процветать искусства и науки, что только победа германского варварства над романской образованностью в состоянии открыть путь для исторического подъема германской нации. К этому присоединилось еще то обстоятельство, что гуманисты, как ревностнейшие поборники современного абсолютизма, в глубине души ненавидели реформацию, как движение масс; у них не было никакого интереса и ни малейшего понимания потребностей масс; революционный поток скоро отбросил их на острова мертвых, на острова бесславного забвения. Только немногие из них, напр., великие поэты Данте и Петрарка в Италии, великий сатирик Рабле во Франции, великий мыслитель Мор в Англии, — первый новейший социалист, — и великий борец Гуттен в Германии, получили бессмертие в своих произведениях.

Историческое развитие примкнуло не к гуманизму, а к германской реформации. В Германии все классы населения одинаково тяжело страдали от папской эксплуатации, и эта тяжесть возрастала тем больше, чем более папство всей силой своих эксплуататорских способностей обрушивалось на

германскую нацию, так как другие культурные нации закрыли перед ним свои границы. Даже эксплуататорские классы Германии все больше роптали на этот невыносимый гнет. Все доходные церковные места в Германии превратились в предметы торговли, колоссальные суммы, выручавшиеся за них, ежегодно притекали в Рим и, следовательно, проходили мимо рук крупных эксплуататоров Германии, князей и купцов. Неудивительно поэтому, что эти почтенные люди озлоблялись тем более, чем усиленнее папа снимал сливки, а им оставлял только снятое молоко.

Но они не могли помышлять о том, чтобы освободиться от папского ига по образцу Франции или Испании: сломить господство папы для того, чтобы воспользоваться им, как орудием своего собственного господства. Конечно, Германия получила свою богатую долю тех благ, которые приносило развитие товарного производства. Ремесленно-цеховое производство городов работало уже на сравнительно широкие круги и отдаленные рынки. Тканье грубых сукон и полотна превратилось в коренную, широко распространенную отрасль промышленности, а в Аугсбурге производились даже более тонкие шерстяные и льняные ткани и шелковые материи. На-ряду с ткацким делом в особенности поднялась одна отрасль промышленности, соприкасающаяся с художественными работами и находившая для себя почву в церковной и светской роскоши, характеризующей конец средних веков: промышленность рабочих по золоту и серебру, скульпторов и резчиков по меди и дереву, оружейников и т. д. Вместе с промышленностью развивалась и торговля. Хотя уже был открыт морской путь в Индию, тем не менее, великий торговый путь из Индии на север все еще проходил через Германию. Аугсбург все еще оставался крупным складочным местом для итальянских шелковых тканей и индийских пряностей. Такие южно-германские города, как Аугсбург и Нюрнберг, были центрами богатств, значительных для того времени. Сильно выросло и добывание сырых материалов. Германские горнорабочие в 15-м веке считались наиболее искусными во всем мире, а расцвет городов даже земледелие поднял над его первоначальной средневековой грубостью. Обширные пространства пусто-

шей подверглись возделыванию; возделывание распространилось также на красящие и другие привозные растения, тщательная культура которых оказала благотворное влияние на земледелие вообще.

Но как бы значителен ни был подъем национального производства в Германии, при всем том он не мог равняться с подъемом других стран. Население все еще оставалось очень редким. Цивилизация сосредоточивалась лишь вокруг отдельных центров торговли и промышленности; интересы этих центров далеко расходились, между ними были лишь слабые точки соприкосновения. У юга были совершенно иные рынки для сбыта и торговые связи, чем у севера; восток и запад стояли почти вне всяких сношений. Ни один город не являлся средоточием промышленности и торговли для всей страны, как Лондон для Англии или Париж для Франции. Все средства внутренних сношений сводились почти исключительно к прибрежному и речному судоходству да к паре крупных торговых путей: от Аугсбурга и Нюрнберга через Кельн и Нидерланды и через Эрфурт на север. Вдали от рек и от торговых путей лежало множество мелких городов, которые, не принимая участия в крупной торговле, продолжали прозябать в средневековых условиях, нуждались в ничтожном количестве иностранных товаров и производили лишь небольшое количество продуктов для вывоза.

Соответственно этому в Германии не могла возникнуть современная монархия, как в экономически передовых странах: она возникла в них как-раз благодаря тому, что расцветающая торговля и расцветающая промышленность глубоко связывали экономические интересы целой страны. В Германии развитие приводило только к объединению интересов по провинциям, другими словами, к политической раздробленности. Германским императорам из дома Габсбургов не удалось превратить феодально-средневековую монархию в современную; несмотря на все интриги и насилия, они достигли только строгого сплочения австрийских наследственных земель, да и здесь роль наиболее действительного рычага сыграла угрожающая со стороны турок опасность. Вообще же стремления императоров к централизации

Германской империи окончились неудачей. В то время, как во Франции крупные вассалы были подчинены короной, в Германии они превратились почти в независимых государей; это было логическим последствием того экономического факта, что среди раздробленности они все же были представителями централизации, именно представителями хотя бы провинциальной централизации. На-ряду с ними император все больше становился только первым среди равных.

Если оставить в стороне этот решающий факт, то социальная структура германского общества в 16-м веке принимала такой же вид, какой она принимала повсюду под влиянием нового способа производства. Рыцарство, низшее дворянство, было охвачено неудержимым распадом. Среди духовенства два противоположных полюса представляли с одной стороны аристократическая фракция епископов и аббатов со своей жандармерией из монахов, а с другой стороны—плебейская фракция приходского духовенства в городе и в деревне: первые возбуждали в массах глубокую ненависть, вторые скорее пользовались любовью, тем более, что для нараставшего движения масс они давали идеологов и теоретиков. В городах цеховые горожане с переменным успехом вели борьбу с патрициями за городское управление, плебеи же далеко еще не развились в третью городскую фракцию и по своим настроениям были скорее опустившимися элементами гниющего феодализма, чем восходящими элементами современного пролетариата. Наконец, крестьянский класс составлял фундамент всего общественного организма, сильный, но смертельно измученный, стонущий во всех своих частях.

Эта пестрая мешанина разнообразнейших классов и фракций, на которые распадалась она, с их взаимно противоречивыми интересами придавала положению Германии ее своеобразный отпечаток, когда Лютер 31 октября 1517 года прибил свои тезисы (положения) против индульгенций на дверях виттенбергской церкви и таким образом дал сигнал к открытому взрыву возмущения против Рима, десятилетиями накоплявшемуся в германской нации.

Это возмущение уже не раз находило в литературе несравненно более резкое выражение, чем робкие тезисы Лю-

тера, которые порицали даже не самые отпущения,—прощение грехов за расчет наличными деньгами, уплачиваемыми папе,—а лишь «злоупотребления» этими отпущениями. Знаменитые «Письма темных людей», составленные германскими гуманистами, совершенно иначе нападали на пап и монахов. Это были сатирические стрелы несравненной остроты, но для народа они не существовали: гуманистическое образование оставалось чуждым и непонятым для масс. Напротив, тезисы Лютера, представлявшиеся гуманистам просто началом монашеской склоки, несравненно сильнее воздействовали на церковный строй мышления, унаследованный массами от средних веков и приводивший к тому, что все их оппозиционные движения до сих пор представлялись еретическими отклонениями от учения церкви. Чтобы разрушить средневековые отношения, надо было сначала сорвать окружавший их ореол святости.

Тем не менее, если бы за тезисами Лютера не стояли самые настоятельные экономические интересы, эти тезисы, сами по себе представлявшие просто вызов на один из совершенно заурядных для того времени богословских диспутов, не произвели бы действия искры, упавшей в открытую бочку с порохом. После бесконечного множества прежних отпущений Лев 10-й, при своей любви к роскоши, вынужден был назначить новое отпущение, которое должно было принести ему колоссальную сумму в 50.000 дукатов. Это отпущение на условии дележа добычи он передал на откуп архиепископу майнцкому, в то время первому среди церковных государей Германии, а этот архиепископ, принц из дома Гогенцоллернов, отправил по всей Германии своих продавцов индульгенций, чтобы те, пользуясь всеми способами базарных зазываний, выманивали деньги из кармана верующих,—подобно тому, как это теперь делается в рекламных биржевых газетах.

Эти продавцы с особенным жаром набросились на курфюршество Саксонское, которое тогда, благодаря добыче из своих рудников, было богатейшей страной в Германии. Сам по себе курфюрст Фридрих саксонский был очень набожный, верующий, даже благочестивый католик. Но уже тогда в денежных делах исчезало всякое благодушие, и по-

тому он воспретил продавцам индульгенций показываться в своей стране. Однако, они рыскали угрожающе близко около ее границ, и потому курфюрст охотно допустил выступление Лютера против разносчика индульгенций Тецеля, который бесчинствовал в Ютербоге.

Сам Лютер еще совершенно не сознавал, что он в известном смысле действует просто как орудие финансовой политики своего государя, но скоро для него должно было сделаться ясным, что борьба вращается не около богословских ересей, а вокруг весьма реальных интересов.

4. Лютер, Мюнцер, Гуттен.

После того, как тезисы Лютера послужили сигналом к открытой борьбе против Рима, пестрая неразбериха взаимно противоположных интересов упростилась; различные классы и фракции классов разделились по трем крупным лагерям, — консервативно-католическому, буржуазно-реформаторскому и плебейско-революционному.

В консервативно-католическом лагере сосредоточились все элементы, заинтересованные в сохранении существующего, с императором во главе. Средневековая имперская власть в Германии упала так низко, что в 1519 году при выборах императора из-за его короны сцепились между собою французский и испанский короли. Из семи курфюрстов, которые должны были произвести выборы, почти все попеременно подкупались то французским, то испанским золотом. Наконец, победил испанский король Карл, который происходил из дома Габсбургов и в то же время был государем австрийских наследственных земель. Как испанский король и как государь наследственных испанских земель, он был в высокой мере заинтересован в том, чтобы не было разрыва с Римом. Он приказал своим наемникам взять Рим штурмом, чтобы подчинить папу своей воле, но он не мог отречься от папской церкви, так как она представляла самую сильную опору его господства и в Испании и в наследственных австрийских землях. Поэтому император Карл 5-й остался решительным противником германской рефор-

мации, при чем поддержку ему оказывали духовные государи и часть светских, богатое дворянство, аристократическая фракция духовенства и городской патрициат.

Против этого католическо-консервативного лагеря стояла широкая масса нации, которая в страшном возмущении восстала против папской эксплуатации. Но очень скоро она разделилась на два лагеря, из которых в одном соединились имущие элементы оппозиции,—масса низшего дворянства, цеховые горожане и часть светских государей, которые рассчитывали на обогащение от конфискации церковных имуществ и, кроме того, надеялись воспользоваться случаем, чтобы достигнуть еще большей независимости от императора и империи. Эта буржуазно-умеренная партия, конечно, хотела освободиться от ярма папской эксплуатации, но в то же время хотела сохранить в неприкосновенности светскую эксплуатацию, поскольку последняя исходила от нее самой. В резкой противоположности с нею очень скоро сложилась революционная партия, которая рекрутировалась из крестьян и городских плебеев и хотела бы с папской эксплуатацией устранить и всяческую светскую эксплуатацию. Сущность этих двух партий превосходно отражается в характере их вождей: Мартина Лютера, который стоял во главе чисто-реформистской партии, и Томаса Мюнцера, стоявшего во главе глубоко-революционной партии. Оба были духовные и вышли из плебейской фракции духовенства.

Мартин Лютер (1483—1546) родился в Эйслебене; сын крестьянина, он после строгого и сурового воспитания избрал духовную профессию. В умственном отношении он не был выдающейся головой; по смелости и оригинальности мышления его превосходили многие его современники. В бытность студентом в Эрфурте он примкнул к кружку гуманистов, который образовался при Эрфуртском университете; однако, он недалеко пошел в своем гуманистическом образовании. Повидимому, его более привлекала веселая жизнь гуманистов; на это указывают те нравственные муки—своего рода похмелье,—которые в 1505 году привели его в эрфуртский монастырь августинцев и к наложению на себя самых тяжелых епитимий. Затем в 1509 году кур-

фюрст Фридрих саксонский пригласил его профессором богословия во вновь основанный виттенбергский университет, в котором он в 1517 году опубликовал свои тезисы против индульгенций или, точнее, против слишком бесстыдного злоупотребления отпущениями: в этих тезисах он еще и сам говорил, что, кто оспаривает истину папских отпущений, да будет проклят и осужден.

Неудивительно, что сам Лютер до крайности был поражен тем действием, которое произвели его тезисы. Он все еще был в духовном плену папства, но неловкие попытки папской власти принудить его к молчанию,—такие, которые обыкновенно предпринимаются эксплуататорскими классами, когда они видят приближение конца,—подстрекнули его гражданскую настойчивость; к тому же движение, которому он дал толчок помимо своей воли и намерений, гнало его дальше и дальше. Скорее движение увлекало Лютера за собою, чем Лютер вел его; но он приобрел решающее влияние на массы потому, что за профессором в нем никогда не умирал крестьянин, потому, что он умел писать сильным, захватывающим языком и в этом отношении превосходил всех своих современников; да и вообще его заслуги перед немецким языком остаются незабвенными заслугами. Чем суровее теснил его Рим, тем решительнее выступал он против Рима. Он начал проповедь насильственного сопротивления папской эксплуатации: не словами, а оружием следует вырвать разъедающую мир язву; немецкие руки должны омыться в римской крови. С неменьшей резкостью выступал Лютер и против светских государей, которые не соглашались с ним; если бы кто-нибудь в настоящее время стал говорить против германских государей языком «возлюбленного человека божия», ему было бы обеспечено обвинение в государственной измене, и его не выпустили бы из каторжной тюрьмы.

Однако, если в Лютере-профессоре не умирал сын крестьянина, то и наоборот: сын мужика все же был профессором. Чем дольше бушевали революционные бури, чем глубже массы захватывались ими, чем чувствительнее благодаря этому становилось для них ярмо не только папской эксплуатации, но и туземных эксплуататоров, тем очевиднее

делалось, что Лютер попал в положение того заклинателя, который не мог прогнать вызванных им духов. И вот здесь-то профессор виттенбергского университета, протеже курфюрста Фридриха саксонского, принял решение, высказавшись за мирное развитие в рамках законности. С 1517 по 1522 год Лютер кокетничал со всеми демократическо-революционными элементами; с 1522 по 1525 год он последовательно, один за другим, предал все революционные элементы.

Против буржуазного реформатора Лютера выступил революционный плебей-крестьянин Томас Мюнцер (1490—1525). В сущности и его нельзя назвать самостоятельным умом; он не внес каких-либо новых целей в движение своего времени, но он проницательным и дальновидным взглядом сумел распознать его революционные элементы, он был целостным человеком, отличавшимся мужественной решимостью и непоколебимостью в своих мыслях и действиях. Он был родом из Штольберга на Гарце, где его отец, как рассказывают, погиб на виселице жертвою произвола графов Штсльбергов. Подобно Лютеру, Мюнцер избрал для себя духовную профессию, но в нем рано проснулся революционер. Уже на пятнадцатом году он устроил в школе в Галле тайный союз, направленный против архиепископа магдебургского и римской церкви вообще, к обрядам и учениям которой он относился с величайшим презрением. Его быстро прегоняли с его духовных должностей, сначала в Цвикау, потом в Праге; недолго удалось ему оставаться и в Альштетте, в Тюрингии. Раньше Лютера он отменил применение латинского языка в богослужении и повсюду, куда ни являлся, организовал революционную пропаганду: он продолжал призывы Лютера к применению силы, между тем как Лютер уже высказывался за мирный прогресс.

Учение Мюнцера нападало на главные пункты не только католицизма, но и христианства. Настоящего, живого откровения надо искать в разуме, оно существовало во все времена и у всех народов, существует и в настоящее время. Выдвигать против разума библию, как делает присмиривший Лютер, это значило бы буквой убивать дух. Небо существует не на том свете: его надо искать в этой жизни,

и верующие призваны к тому, чтобы уже на земле создать небо, царствие божие. Как нет на том свете никакого неба, так нет и никакого ада. Христос был человек, подобно нам, пророк и учитель, не бог. Под царствием божим, которое верующие призваны создать уже здесь на земле, Мюнцер разумел такое состояние общества, при котором нет классовых различий, частной собственности и какой-либо самостоятельной государственной власти, чуждой членам общества. Все существующие власти, поскольку они не подчинятся и не примкнут к революции, должны быть свергнуты; все работы и все имущества следует сделать общими, необходимо провести самое полное равенство. Следует устроить союз, чтобы все это провести не только в Германии, но и во всем христианском мире. Надо приглашать государей и сеньоров присоединиться к этому делу, если же они не захотят, союз при первой же возможности с оружием в руках должен свергнуть их и предать смерти.

Эти учения Мюнцер проповедывал под облачением мистических выражений, но тем глубже было впечатление, производимое ими на массы, которые были еще в полном плену религиозных форм мышления. Народ со всех сторон стекался к Мюнцеру, и Лютер прибег к тому самому средству, к которому в таких случаях обыкновенно прибегают половинчатые реформисты против решительных революционеров: он донес на Мюнцера саксонским князьям. Мюнцер выступал против них с вызывающей смелостью, но они не решились тронуть его, и его изгнал городской совет Альштетта. Мюнцер отправился сначала в Мюльгаузен, затем в Нюрнберг; его скоро изгнали из этих городов, и тогда он перекочевал в южную Германию, неустанно раздувая брожение, возвещавшее близость насильственного выступления крестьянского класса.

Но сначала, осенью 1522 года, вспыхнуло восстание низшего дворянства, рыцарей. Его вождями были Франц фон-Зикинген и Ульрих фон-Гуттен (1488—1523 г.); та популярность, какая сохранилась за их именами, не должна прикрывать внутренней реакционности их восстания. Пламенная ненависть, которую питали к князьям и папам Гуттен и Зикинген, и не менее пламенный энтузиазм, с которым они

относились к воссозданию национального государства, сделали их в половине 19-го века любимцами германской буржуазии, которая тогда была охвачена такими же настроениями. Но государство, которое хотели восстановить Гуттен и Зикинген, было средневековым государством. Это была своего рода дворянская демократия, с бессильным императором во главе, предполагавшая искоренение князей, но вместе с тем и городов, и неизменное угнетение крестьянского класса. По сравнению с этим идеалом исторический прогресс представляли не только города, но даже и князья. Если господство князей тоже знаменовало раздробление Германии, то оно все же до известной степени собирало национальные силы среди этой раздробленности; напротив, та помещичья демократия, которую отстаивали Гуттен и Зикинген, превратилась бы в такую же помещичью анархию, которая привела Польшу к столь жалкой гибели.

Восстание низшего дворянства было потеряно с самого начала; города не помышляли о том, чтобы оказать ему поддержку, крестьяне—тоже; это чрезвычайно облегчало задачу князей. Замки Зикингена быстро были взяты штурмом и сопротивление их сломлено; сам он пал во время осады его укрепления Ландштуля, а через несколько месяцев, в сентябре 1523 года, на острове Уфнау, на Цюрихском озере, умер и спасшийся бегством Гуттен.

5. Крестьянская война и перекрещенцы.

Через полтора года по смерти Гуттена разразилась великая крестьянская война. Растущая нужда, которая по мере превращения натурального хозяйства в денежное хозяйство обрушивалась на крестьянский класс, начиная с 1476 г. вызвала ряд крестьянских восстаний, в особенности в южной Германии, а также повела к созданию крестьянских заговорщических организаций, которые под названиями «Союзный башмак» и «Бедный Конрад» приобрели историческую известность. Но все они оставались чисто-местными и скоро были разбиты. Только после того, как реформационное движение вскопало самые глубокие народные толщи, крестьянский заговор охватил всю Германию. Восстание было назначено и действительно началось 2 апреля 1525 года.

Рыцарское восстание внутренне было реакционным восстанием, а крестьянскую революцию опорочили, как реакционное движение по ее внутреннему историческому ядру; такую изображал ее, между прочим, тот самый Лассаль, который в поэтической форме прославлял рыцарей Гуттена и Зикингена. Но Лассаль в такой же мере переоценил рыцарское движение, как недооценил крестьянского движения. Двенадцать статей, в которых крестьяне формулировали свои требования, вполне соответствовали направлению исторического прогресса. Они требовали, чтобы общинам было предоставлено избирать и смещать духовных лиц. Они требовали уничтожения крепостных отношений, дворянских привилегий на охоту и рыбную ловлю, ограничения чрезмерных барщин и оброков, восстановления прав на леса и выпасы, отнятые у отдельных лиц и общин, устранения произвола в судах и управлении. Все эти требования были вполне правильны и справедливы и, что особенно важно, все они соответствовали условиям и устоям буржуазного периода истории: в 1525 году германские крестьяне требовали в существенных чертах того самого, что французские крестьяне фактически завоевали в 1789 году. Лассаль, высказывая отрицательное суждение о крестьянской войне в Германии, впал в ошибку вследствие своей слишком формальной точки зрения. Он признавал действительную революцию только там, где старый принцип вытесняется новым; а так как в землевладении он видел средневековый принцип, в промышленности—принцип нового времени, то он отрицал революционный характер за крестьянской войной, так как она отстаивала принцип землевладения и ничего не знала о принципе промышленности.

Крестьянам удалось сохранить в тайне свой великий заговор. Когда они неожиданно восстали, господствующие классы были застигнуты совершенно врасплох, и потому у дела крестьян первоначально были благоприятные перспективы, или, по меньшей мере, так казалось. Даже Лютер 16 апреля советовал притти к любовному соглашению; он говорил, что не крестьяне, а сам бог восстал против неистовств князей. Большинство крестьянских требований, выраженных в двенадцати статьях, следует признать справед-

ливыми, и потому он призывал к мирному соглашению на основе этих статей. Если бы были правы те буржуазно-протестантские историки, которые видят в реформации дело могущественной личности Лютера, то его первоначальное выступление должно было бы дать крестьянской войне совсем другой оборот. Но в действительности оно не оказало никакого влияния, и когда господствующие классы оправились от своей первоначальной паники, а в особенности когда князья выступили со своими войсками, чтобы потопить восстание в крестьянской крови, Лютер совершенно переменял фронт и 6 мая выпустил свое сочинение против грабительствующих и разбойничающих крестьян и в кровавых выражениях, достойных палача, требовал их избияния. Однако, если он похвалялся, будто вся крестьянская кровь падает на его голову, это было пустое бахвальство: как евангелические, так и католические князья не нуждались ни в каком напоминании, чтобы устроить крестьянам страшную кровавую баню.

В противоположность Лютеру, Мюнцер мужественно шел с восставшими крестьянами. В Тюрингии он был душой крестьянской войны. Его главным штабом был тогдашний имперский город Мюльгаузен. Здесь он устроил своего рода коммунистическую общину, которая, впрочем, просуществовала немногим больше двух месяцев (почти ровно столько же, сколько Парижская Коммуна 1871 года, с 17 марта до 25 мая 1871 года). Когда начали наступать княжеские войска, Мюнцер отправился во Франкенгаузен, где собрались толпы тюрингенских крестьян, и здесь вместе с ними понес страшное поражение. 8.000 плохо вооруженных, недисциплинированных крестьян, у которых почти не было пушек, были разбиты таким же количеством хорошо обученных и вооруженных наемников, располагавших многочисленными орудиями. Мюнцер был взят в плен и после ужасных пыток казнен; утверждение, будто бы он умер раскаявшимся грешником, ни на чем не основано и представляет образец тех клеветнических измышлений, которые наемные писакы господствующих классов обыкновенно направляют против павших народных борцов.

Как в Тюрингии, так и во Франконии, Швабии, Эльзасе, Шварцвальде и повсюду, где только восставали крестьяне, их толпы без особенного труда рассеивались княжескими войсками. Крестьянское восстание потерпело неудачу в действительности не потому, что оно выставило требования, через которые история уже перешагнула, а, наоборот, потому, что оно было преждевременным, потому, что оно не нашло необходимой для себя почвы, так как еще не было германской нации в современном значении этого слова. Правда, отдельные города примкнули к крестьянам, но и они присоединялись вяло и робко. Городские патриции обнаруживали решительную враждебность; цеховые горожане усвоили такую же политику, как Лютер; городские плебеи, как класс, были еще слишком неразвиты для того, чтобы послужить действительной опорой для крестьян. Рыцари были еще менее надежными союзниками, чем города. Большинство их стало на сторону князей, или же они сначала присоединились к крестьянам, но скоро, как Гец-фон-Берлихинген, предали восстание. Только отдельные рыцари, как Флориан Гейер,—наряду с Мюнцером наиболее блестящая фигура крестьянской войны,—до конца остались верны восставшим.

В общем все движение потерпело крушение вследствие локальной и провинциальной раздробленности и вытекавшей из нее локальной и провинциальной ограниченности. В каждой местности крестьяне действовали самостоятельно, отказывали в помощи своим классовым сотоварищам в соседних провинциях, и потому в одной местности за другую уничтожались в сражениях и стычках войсками, которые обыкновенно не составляли и десятой доли всей восставшей крестьянской массы. Главным оружием князей было самое презренное предательство, которое, в свою очередь, могло удаваться только по той причине, что многовековое рабство слишком задавило крестьян, и они не в состоянии были разглядеть очевиднейшей лжи и обмана. Князья заманивали толпы крестьян самыми широкими обещаниями и затем, когда крестьяне, поверив этим обещаниям, складывали оружие и направлялись по домам, их безоружных избивали це-

лыми массами. Потоками пролилась крестьянская кровь по германской земле; по самым преуменьшенным расчетам сто тысяч крестьян пало в сражениях или было впоследствии казнено.

Однако, это страшное поражение не повело к длительному ухудшению положения крестьян. Из них еще до войны настолько высасывали все соки, что невозможно было взять с них еще больше. Конечно, некоторые средне-зажиточные крестьяне подвергались полному разорению, множество вассально-зависимых попало в крепостническую зависимость, обширные области общинных земель были конфискованы, разрушение жилищ и опустошение полей превратило многих крестьян в бродяг или в городских плебеев. Но войны и опустошения принадлежали к числу зауряднейших явлений того времени, и крестьянский класс в общем стоял слишком низко для того, чтобы его положение могло длительно ухудшиться еще больше.

Много больше пришлось пострадать от крестьянской войны духовенству, дворянству и городам. Монастыри гибли от пожаров, сокровища духовенства были разграблены или переплавлены. У дворянства были разрушены многие замки и укрепления. Оно оказалось слишком беспомощным для того, чтобы собственными силами сопротивляться крестьянам. Так как его спасли только княжеские войска, то оно попало в возрастающую зависимость от князей. Одержав победу, князья наложили на города контрибуции и лишили их привилегий за то, что они обнаружили некоторые симпатии к делу крестьян.

Таким образом только князья действительно выиграли от крестьянской войны. Они захватили имущества духовенства; более или менее значительная часть дворянства должна была отдаться под их покровительство, и контрибуции, наложенные на города, попали в их кассы. Правда, наряду с светскими княжествами в Германии все еще сохранялись духовные суверены, городские республики, суверенные графы и сеньоры; но в общем историческое развитие Германии вело к провинциальной централизации, к подчинению всех остальных имперских сословий князьям.

Эпилогом крестьянской войны были кровавые преследования и искоренение перекрещенцев. Они разделяли коммунистические воззрения Мюнцера, но отличались от него тем, что не одобряли его политики насилия и были настроены чрезвычайно миролюбиво. Однако, хотя они отказывались идти войной против государства, они в то же время не хотели и слышать ни о государстве, ни о церкви. Свое название—анабаптисты, перекрещенцы—они получили оттого, что отвергали крещение, которому церковь подвергала новорожденных младенцев. Они требовали повторного крещения или, точнее, крещения в более позднем возрасте, когда человек становится взрослым и мыслящим существом. И если для современных баптистов это требование является мертвым догматом, религиозной причудой, то тогда это была революционная программа, которая приводила господствующие классы в трепет.

Так как перекрещенцы были настроены мирно, то их миновала судьба Мюнцера; но их миролюбие не помешало тому, что евангелические и католические князья, подавив крестьянское восстание, открыли кровавую травлю перекрещенцев. Даже бессильная имперская власть приняла участие в этом недостойном гонении. В 1529 году собравшийся в Шпейере имперский сейм назначил за повторное крещение смертную казнь посредством сожжения на костре. Повсеместно в Германии запыхали костры, на которых захваченные перекрещенцы с героическим мужеством встретили мученическую кончину. Таким образом они были искоренены в Германии или изгнаны за ее пределы. Наконец, в нидерландских перекрещенцах пробудилось сознание, что они должны обороняться теми же средствами, которыми их мучают, т.-е. оружием. Вождями этого течения в перекрещенстве сделались Ян Матис, пекарь из Гарлема, и Йоганн Бокельзон, портной из Лейдена. В древне-католическом городе Мюнстере, главном центре римской церкви для северо-западной Германии, они нашли опору для того, чтобы вооружиться к сопротивлению преследователям их братьев. Город вел ожесточенную борьбу против своего епископа, и граждане, пользуясь содействием городских плебеев, суме-

ли отразить его наступление; благодаря этому плебеи сделали внушительной силой. Перекрещенскому движению удалось в совершенно законном порядке овладеть городскими должностями; оно оказывало такое упорное и такое героическое сопротивление нападениям епископа, что, в конце-концов, только подняв на ноги все государство, удалось сломить его.

После осады, продолжавшейся пять четвертей года, город пал, взятый голодом; жестоким избиением его мужественных защитников отпраздновал христианский епископ свою победу. Что касается тех рассказов, которые в течение четырех столетий буржуазные историки повторяют один за другим о мюнстерском режиме перекрещенцев, представлявшем, будто бы, отвратительную оргию нечеловеческой жестокости и скотских похотей, то они представляют плод наглой лжи или бесстыдных искажений.

6. Иезуитизм, кальвинизм, лютеранство.

Победа князей в великой крестьянской войне, больше всего обусловленная тем, что противоречие экономических интересов различных частей Германии препятствовало возникновению большой современной нации, еще более закрепились начавшимся упадком германских городов, основной причиной которого было то обстоятельство, что мировая торговля стала перемещаться с берегов Средиземного моря на берега Атлантического океана.

Завоевание Константинополя турками закрыло торговые пути на Восток, и потому все сильнее развивавшееся товарное производство было вынуждено искать новых рынков для сбыта и новых торговых путей. С эпохи великих географических открытий началась современная колониальная политика, от которой Германия была устранена своим географическим положением. Ее экономическое развитие связывалось все больше и больше, а вместе с тем уничтожалась возможность ее политической централизации. Постепенно, но неудержимо растущее обеднение Германии превращалось в новую опору господства князей и в то же время увели-

чивало невыносимость этого господства для германского народа: жестокость грабежей возрастала в той же мере, как повторные грабежи делались затруднительнее.

Из трех больших партийных группировок, сложившихся в начале германской реформации, плебейско-революционная была потоплена в реках крови крестьянской войны, а буржуазно-реформистская получила от этой войны такой удар, от которого она долго не могла оправиться. Но и для католическо-консервативной группировки бури эпохи не прошли бесследно. Образовались три новые партии, которые боролись друг с другом в Германии, но по своему европейскому значению, несомненно, далеко выходили за границы последней.

Этими тремя партиями были иезуитизм, кальвинизм и лютеранство. Все они носили религиозную окраску, но представляли экономико-политические организации в церковной форме. Несмотря на догматическо-религиозные противоположности, почва у них была общая. Они отличались от феодально-средневековой церкви так же, как капиталистический способ производства отличается от феодального. Иезуитизм был католицизмом, реформированным на капиталистических основаниях. Если папство превратилось в средство и орудие больших современных монархий, развившихся из потребностей капиталистического способа производства, то его следовало поставить на капиталистические ноги для того, чтобы оно стало действительным средством и орудием господства; как-раз эту задачу и взял на себя орден Иисуса, который приспособил католическую церковь к новым экономическим и политическим отношениям. Он реорганизовал все школьное дело, введя изучение классиков,—самое высокое образование для того времени,—и постольку воспринял наследство от гуманизма; он сделался величайшей торговой компанией в мире, у которой были конторы во всех открытых тогда частях земного шара; в виде исповедников он доставлял государям наиболее опытных и ловких министров.

Однако, современный абсолютизм только временно, только до тех пор, пока на очереди стояло образование сплошных крупных торговых и хозяйственных территорий, но от-

нюдь не длительно, не постоянно отвечал потребностям развивающихся городов. Для городов абсолютизм был не целью, а только средством к цели, и, поскольку он склонен был видеть в себе самоцель, они решительно напомнили ему, что он существует их милостью. Тем знаменем, под которым сначала восстали нидерландские города против испанского абсолютизма и французские города против французского абсолютизма, был кальвинизм. Кальвин проповедывал в богатом торговом городе Женеве, и, благодаря демократическому устройству церкви, кальвинизм соответствовал интересам наиболее прогрессивных горожан. Правда, в Голландии и во Франции часть дворян тоже перешла в кальвинизм, но эти дворяне переходили в кальвинизм только потому, что у них были более или менее общие интересы с мятежными городами. Вообще же кальвинизм превращался в экзальтированную и фанатическую силу только в тех случаях, когда на первый план выдвигались буржуазные интересы. Рядом с абсолютистско-капиталистическим орденом Иисуса он представлял, можно сказать, буржуазно-капиталистическую религию.

Наконец, лютеранство было религией экономически отсталых стран, которые сильнее всего эксплуатировались Римом, но всего меньше могли бы помышлять о том, чтобы подчинить себе или уничтожить Рим; им оставалось только порвать с Римом, но они не могли решающим образом вмешаться в великую мировую борьбу за наследие Рима. Лютеранство получило господство в северной и восточной Германии, в Дании, в Швеции. Это были страны с сравнительно слабо развитыми городами и с сильным преобладанием дворянства; в западной Германии, где города были сильнее и многочисленнее, перевес принадлежал кальвинизму. В странах, где господствовало лютеранство, капиталистическое развитие лишь медленно пробивалось из феодального хаоса. Оно еще не создало революционной буржуазии, но превратило сеньора в помещика, рыцаря—в товаро-производителя. Так было в особенности в земледельческих областях к востоку от Эльбы; церковь своими имуществами и крестьяне ростом эксплуатации, которой они подверглись, оплатили здесь «чистое слово господне».

В соответствии с этими отсталыми отношениями лютеранство было отсталой религией. С того времени, как Лютер предал крестьян, он превратился в холопа, пресмыкавшегося перед князьями; из своего перевода библии, который своим описанием простого первоначального христианства немало содействовал возбуждению масс, он сделал теперь княжеский катехизис, отвратительнее которого не создал бы ни один лизоблюд монархической власти. Князья, епископы, помещики были покровителями лютеранской церкви, и это несравненно больше отличало ее от демократического устройства кальвинистской церкви, чем все догматические хитросплетения и склоки из-за причащения; духовная жизнь лютеранской церкви производила на голландских кальвинистов впечатление «более чем скотской тупости».

Таким образом, после того, как революционный огонь был потоплен в крестьянской крови, германская Реформация превратилась в разбойничий и грабительский поход германских князей и повела к все возрастающему освобождению их от императорской власти. Князья «реформировали» таким способом, что они объявили себя верховными епископами своих государственных церквей, а придворные попы превратили лютеранство в религию ограниченных разумением подданных и помогли князьям прибрать к своим рукам богатые церковные имущества. При всем пестром разнообразии внешних условий все эти княжеские «реформации» сводились к одному и тому же, классическим примером чего может служить в особенности история Гогенцоллернов. Некоторая доля добычи досталась еще только помещикам и, может-быть, городским патрициям, которым при упадке городов это было очень кстати. И в ничтожнейшей мере расхищение церковных имуществ не пошло на пользу масс,—крестьянских и городских плебеев.

Таким образом, власть князей все более увеличивалась. Попытка императорской власти все же добиться своего, или, выражаясь идеологически, восстановить единство католической веры в Германии, окончилась полным крушением и только показала, что уже невозможно устранить власть отдельных князей, так как она слишком глубоко коренится в экономическом состоянии Германии. Правда, в 1545 году в

сражении при Мюльберге победу над несколькими протестантскими князьями одержал император Карл 5-й, но только потому, что ему из-за обещанных им своекорыстных выгод оказали поддержку другие протестантские князья. Однако, эти же самые государи немедленно выступили против него, как только он, одержав победу, обнаружил стремление фактически восстановить императорскую власть. Они купили союз с французским королем посредством постыдного предательства империи, — отдав Франции епископии Туль, Мец и Верден, — и благодаря этому им удалось справиться с императором. По договору, заключенному в Пассау, и затем по установлении религиозного мира в Аугсбурге (1555 год) была выговорена свобода религии для имперских сословий, что означало религиозную свободу провинциальных суверенов. Каждое имперское сословие (сейм), суверен каждой провинции получил право устраиваться с религией на своей территории, как ему вздумается. Аугсбургский религиозный мир был построен на принципе: *cujus regio, ejus religio*, или, другими словами: кто владеет страной, тому принадлежит право определять религию жителей этой страны. Религиозный мир предоставлял жителям только одно право: выселиться, если их совесть страдала от «душеспасительных» действий их государя. Такое «спасение душ», т.-е. насильственное обращение жителей в свою религию, протестантские государи совершали не менее рьяно, чем католические.

Таким образом, аугсбургский религиозный мир сохранил церковный раскол и суверенную власть князей. Но этот мир оставил нерешенными два важных вопроса. Правда, он приложил штемпель к разграблению церкви, произведенному до того времени германскими государями, но он не сказал о том, что делать с духовными территориями, которых в Германии было еще немало. Протестанты требовали, чтобы принцип: *cujus regio, ejus religio* не применялся в этих областях: пусть протестантские жители невозбранно сохраняют свою веру. Напротив, католики требовали, чтобы духовным князьям принадлежало такое же право «спасать» своих подданных, как протестантским князьям. Другое различие в мнениях касалось так-называемого «духовного изъя-

тия», которого требовали католики. Согласно их требования, каждое лицо духовного сословия: курфюрст, архиепископ, епископ или аббат, отправший к протестантскому учению, в силу этого утрачивает свою духовную должность и сан. Протестантские же князья не хотели и слышать об этом, так как это лишало бы их наиболее удобного способа прибрать к своим рукам церковные имущества.

По этим пунктам не удалось прийти к соглашению; это были вопросы реальной власти, слишком важные для того, чтобы здесь можно было убедить друг-друга религиозно-идеологическими доводами. С одной стороны, в течение шестидесяти лет после Аугсбургского религиозного мира протестантским князьям удалось, невзирая на «духовное изъятие», прибрать свыше сотни духовных областей, отчасти очень обширных: архиепископств и епископств, монастырей и аббатств; но, с другой стороны, духовные князья, оставшиеся верными своей религии, дали широкое применение принципу: *cujus regio, ejus religio*, и начали контр-реформацию, которой ловко руководили иезуиты. В результате в южной и в западной Германии католическая религия опять завоевала широкий простор.

Главным уловом иезуитов были баварские герцоги, которых они,—конечно, не столько своим духовным красноречием, сколько материальными выгодами,—сумели связать с интересами католической церкви. В 1607 году, когда герцог баварский Макс воспользовался религиозными распрями как предлогом для того, чтобы напасть на вольный имперский город Донауверт и присоединить его к своей территории, этот дерзкий акт насилия послужил сигналом к собиранию боевых сил. Часть протестантских князей соединилась в унию под предводительством курфюршества пфальцского, в ответ на что католические государи объединились в лигу под предводительством Баварии. Протестантская уния оказалась мертворожденным созданием, тем более, что в стороне от нее остался первый и наиболее сильный из протестантских государей, курфюрст саксонский,—отчасти вследствие ревнивого отношения к Пфальцу, отчасти из-за алчного стремления к захвату новых земель, при чем он рассчитывал на помощь католического императора. Напротив,

католическая лига превратилась в действительную силу. В лице герцога Макса баварского она имела своим вождем решительного и способного человека, а значительное количество духовных областей империи, прежде всего три духовных курфюршества, составляли ее крепкий костяк.

7. Тридцатилетняя война.

Таким образом, обе враждебные армии уже выстроились в боевом порядке, когда внутренний кризис в наследственных землях австрийской короны: Богемии, Моравии, Силезии, Верхнем и Нижнем Лаузице, Верхней и Нижней Австрии, повел к началу борьбы. В этих странах иезуитская контр-революция тоже сделала большие завоевания. В престолонаследнике эрц-герцоге Фердинанде Штирийском она нашла фанатического последователя, который, взяв управление в свои руки и избранный германским императором,— в соответствии с традицией, которая соединила германскую императорскую корону с Габсбургской династией,— в своей политике преследовал только одну цель: обуздать свои наследственные земли посредством единой католической веры. Однако, он натолкнулся на энергичное сопротивление, особенно в королевстве Богемии; протестантский сейм в последнем объявил даже, что он лишается короны за свои стремления к восстановлению католицизма, и избрал в его преемники курфюрста пфальцского Фридриха, рассчитывая найти таким образом поддержку со стороны унии. Но уния оказалась совершенно недееспособной. Тем энергичнее поддержала императора лига. Ее генерал Тилли 8 ноября 1620 года в битве на Белой горе, под Прагой, наголову разбил новоиспеченного и вообще совершенно неспособного короля. Богемия опять попала в руки императора, который приступил к беспощадной кровавой реставрации, политической и религиозной.

Казалось, что после этого пожар войны был совершенно потушен. Но союзники императора потребовали теперь платы из добычи, полученной после бежавшего из страны курфюрста пфальцского. В частности баварский герцог, как

глава лиги, претендовал на звание пфальцского курфюрста и на часть пфальцских владений, и император изъявил готовность уплатить долги, которые он сделал, как богемский король. На сейме, собравшемся в Регенсбурге, он, не обращая внимания на бессильный протест протестантских государей, удовлетворил все баварские домогательства. Вместе с тем сила императора настолько возросла, что иностранные державы Франция, Англия, Голландия поглядывали на дело подозрительными глазами, тем более, что австрийская и испанская ветви Габсбургов находились в тесном согласии между собою. Прежде всего, не жалея денежных средств, Англия и Голландия побудили датского короля сосредоточить на Эльбе и Везере значительное войско, которое должно было послужить ядром и опорой для протестантских государей Германии. Однако, император теперь тоже достаточно усилился для того, чтобы собрать большие вооруженные силы. Он принял предложение богемского магната Валленштейна нанять сильную армию, и этот испытанный полководец выполнил свое дело в более широких размерах, чем он обещал. В 1625 году началась война с Данией, и четыре года спустя, в 1629 году, по любекскому миру Дания обязалась впредь не вмешиваться в дела Германии; таким образом, и северная Германия была теперь подчинена императору.

Этими успехами император был обязан в первую очередь своему генералу. Альбрехт Валленштейн (1583 — 1634 г.) преследовал в Германии ту же цель, какую в это самое время Ришелье преследовал во Франции: создание чистой светской монархии, которая, свободная от вероисповедных противоположностей, должна возвышаться над князьями, предающимися склокам, смягчать классовые противоречия внутри и направлять все силы нации на внешние отношения. Валленштейн подчинял императорской власти католические части империи точно так же, как и протестантские. Это был не какой-нибудь фантазер в политике: у него была очень ясная цель, и, как показывает пример Франции, эта цель была не только достижима, но и лежала в направлении исторического прогресса. Валленштейн был глубоко равнодушен ко всем религиозным распрям; католик и воспитан-

ник иезуитов, он, тем не менее, полагал, что мир в империи наступит не раньше, чем у какого-нибудь епископа будет отрублена голова. Валленштейн потерпел крушение потому, что суверенитет отдельных областей слишком глубоко коренился в экономическом строе тогдашней Германии,—Валленштейн ничего не мог с этим поделать. Ему противодействовали не только государи,—католические в такой же мере, как и протестантские,—но и города. Ганзейские города Гамбург, Бремен, Любек и другие отказывались предоставить свои суда для подчинения Балтийского моря, и в то время как Валленштейн уже носился с самыми широкими планами: завоевать Константинополь и изгнать турок из Европы, ему оказывал победоносное сопротивление город Штральзунд, от которого Валленштейн потребовал принять гарнизон из императорских войск.

В то самое время, когда Валленштейн потерпел неудачу перед укреплениями Штральзунда, Ришелье после четырнадцати-месячной осады завоевал крепость Рошель, главный центр французских протестантов (гугенотов). У него теперь руки были развязаны,—он мог обратиться к своей иностранной политике и приступил к решительной борьбе против дома Габсбургов, чтобы обеспечить преобладание в Европе за французской монархией. Хотя Ришелье, подобно Валленштейну, был католик, даже кардинал римской церкви, однако, его политика оставалась свободной от всяких религиозных предрассудков. Он и натравливал католических князей Германии на императора и старался побудить протестантского короля Швеции к вторжению в Германию. Но самого активного союзника Ришелье нашел в лице самого германского императора. Ришелье не открыл жестоких гонений против побежденных гугенотов, а, напротив, предоставил им политические права, какие можно было им предоставить при существовавших тогда юридических отношениях. Благодаря этому, он мог все силы Франции направить против заграницы. Напротив, германский император, после того как Валленштейн любекским миром положил к его ногам северную, преобладающе протестантскую Германию, не нашел ничего лучшего, как раздуть новую вражду между вероисповеданиями. К величайшему негодованию

Валленштейна и в резком противоречии с политикой последнего, Фердинанд 2-й издал в 1629 году, одновременно с заключением любекского мира, «эдикт о восстановлении», которым предписывалось возвращение католикам всех духовных имуществ, отобранных у них со времени аугсбургского религиозного мира. Религиозные распри с новой силой вспыхнули в северной Германии как-раз в тот момент, когда ей угрожало вторжение иноземного врага.

Летом 1630 года король Густав-Адольф шведский (1594—1632 г.) с армией высадился на берегах Померании. Долго обрабатываемый Францией, он долго медлил, прежде чем с ресурсами маленькой Швеции, насчитывавшей тогда не более полутора миллиона жителей, решился напасть на большую Германию. Было бы великой фальсификацией истории утверждать, будто он пошел, наконец, на это трудное дело с той целью, чтобы спасти в Германии евангелие, протестантское вероисповедание. Он был чрезвычайно далек от таких мыслей. Вторгшись в Германию, он, конечно, постарался использовать для своих завоевательных целей раздутые императором вероисповедные распри. Но ему никогда и в голову не приходило,—что отнюдь не является постыдным для него,—поставить на карту судьбы своего королевства для того, чтобы спасти лютеранство в Германии. Исторически он был прав, руководясь исключительно экономическими и политическими интересами шведского государства, которым угрожала бы величайшая опасность, если бы Валленштейну удалось осуществить свой план и расширить господство императора за Балтийское море. Как монарх своего времени, Густав-Адольф, вторгшись в Германию, действовал совершенно последовательно и логично; напротив, у него нет никаких прав на сомнительную славу странствующего рыцаря лютеранства.

И современники видели в его нападении на Германию только то, чем оно было в действительности: войну, пачатую иноземным завоевателем. Поэтому, каковы бы ни были прежние прегрешения германских государей и городов перед императором и империей, даже протестанты отказались присоединиться к Густаву-Адольфу. Только в городе Магдебурге,—правда, в пункте, господствовавшем над северной

Германией,—нашлась шведская партия, и Густав-Адольф отправил к ней вождя в лице полковника Фалькенберга, надеясь потом собственноручно прибыть для ее защиты; но для этого ему еще приходилось преодолеть сопротивление протестантских курфюрстов бранденбургского и саксонского. Продвижение по Германии сделалось возможным для него только потому, что католические государи, подстрекаемые, подобно Густаву-Адольфу, Францией, предали императора и империю. То усиление императорской власти, к которому стремился Валленштейн, было для католических государей таким же бельмом на глазу, как для протестантских. На регенбургском сейме они потребовали от императора отставки Валленштейна, а также частичного распускания его армии, угрожая, что в противном случае они выберут в преемники императора не его сына, а французского короля. Императору пришлось уступить. Он должен был уволить Валленштейна и распустить часть его армии; остальная часть поступила под команду Тилли. Будучи генералом лиги, Тилли подчинялся приказаниям католических государей.

Таким образом, Густав-Адольф не встретил себе достойного противника в Германии. Тилли не был таким изувером, в какого его превратили протестантские историки, но это был посредственный генерал; после долгих колебаний, следует ли ему напасть на шведское войско или завоевать Магдебург, он бросился на этот город. И ему, действительно, удалось завоевать Магдебург, но только в виде груды дымящихся развалин. Шведский предводитель Фалькенберг, павший во время штурма, видя, что ему не удержать города, приказал поджечь его. Эта страшная катастрофа была приписана завоевателям города, и так как всему миру было известно, как свирепствовал император в Богемии после победы, одержанной Тилли на Белой горе, то все протестантские области были охвачены величайшим возбуждением. Курфюрсты бранденбургский и саксонский, в свою очередь, перестали сопротивляться Густаву-Адольфу, который усилился саксонскими войсками и 7 сентября 1631 года при Брейтенфельде нанес полное, уничтожающее поражение Тилли. Северная Германия попала в руки швед-

ского короля, и южная Германия лежала перед ним, как беспомощная добыча.

Он сделал попытку без всякого промедления овладеть этой добычей, хотя даже с точки зрения шведских интересов он должен был искать мира после того, как императорские войска были изгнаны из северной Германии. Грабительским походом, доставившим ему неизмеримую добычу, все опустошая и разрушая, двинулся он через богатые духовные области к Майну; зимой 1631—32 года он устроил свой пышный двор в Майнце; затем он вторгся в Баварию, где опять вел себя, как вандал. Даже Франция, его патрон, была недовольна слишком быстрым ростом его силы, но этот борец протестантского бога имел на своей стороне двух непоколебимых покровителей в лице турок и папы, которые искали в нем противовес власти Габсбургов. Тогдашний папа Урбан 8-й, который видел в себе итальянского государя и своими интересами связывался больше с французской, чем с австро-испанской стороной, смотрел на короля-еретика, как на спасителя, ниспосланного ему богом. Император, тщетно добивавшийся папского благоволения, поступил умнее, когда он снова назначил Валленштейна своим генералиссимусом. С поразительной быстротой Валленштейн собрал новую армию и принудил шведского короля к отступлению из южной Германии в саксонскую долину, где Густав-Адольф 6 ноября 1632 года пал в сражении при Люцене.

Его смерть ничего не изменила в общем ходе дел. Его завоевательная карьера уже давно клонилась к упадку. Упадок шведских дел определялся самой природой вещей. Швеция не могла подчинить себе Германию, и здесь Густав-Адольф ничего не мог бы изменить и при более продолжительной жизни. Но точно так же невозможно было и укрепить императорскую власть. Когда император вновь отказался от планов Валленштейна, и последний решил осуществить свои политические цели за собственный страх, ему отказалось служить то сильное орудие, которое, как ему думалось, он создал из своей армии. Он был покинут своими генералами и полковниками и пал под кинжалами убийц, подосланных императором. Из всех партий, боров-

шихся в германской земле, ни одна не могла довести дело до решительного конца, и, таким образом, Франции досталась решающая роль в войне. Шведские завоеватели превратились теперь просто во французских наемников, которым по существу был, впрочем, уже и Густав-Адольф. Как таковые, они производили в Германии наиболее страшные грабежи и опустошения.

По истечении тридцати лет война угасла вследствие всеобщего истощения. Ни один великий народ никогда еще не переживал подобной разрухи. Германия была отброшена в своем развитии назад сотни на две лет; двухсот лет потребовалось ей для того, чтобы снова достигнуть того экономического уровня, на котором она стояла в начале Тридцатилетней войны. По вестфальскому миру, которым в 1648 году закончилась Тридцатилетняя война, Франция захватила самые богатые области западной Германии; на севере Швеция отбила устья Одера, Эльбы и Везера; обе страны получили право вмешиваться в германские дела. Безвозвратно исчезли последние остатки императорской и имперской власти. Экономические причины, вызвавшие германскую реформацию, продолжали оказывать свое действие. «Вольность сословий», т.-е. суверенитет провинциальных властей, одержала победу по всей линии. Вестфальский мир предоставил им даже право заключать союзы с заграницей.

Источники. Наиболее обстоятельные и существенные сведения по предмету первых глав этого отдела,—о революционном перевороте, вызванном торговым капиталом,—дает опять-таки *Каутский* в первом отделе своей книги о Томасе Море. Точно так же второй том „Предшественников новейшего социализма“ *Каутского* (русский перевод в издании Госспздата) представляет наиболее содержательный источник относительно революционных движений в эпоху реформации. *Циммерман* дает обстоятельнейшее описание великой крестьянской войны, устаревшее в некоторых частностях, но в общем остающееся непревзойденным. Штуттгартское партийное книгоиздательство выпустило работу в новой переработке *Влоса*. Пользуясь фактическим материалом Циммермана, *Энгельс* в своей работе о крестьянской войне в Германии с историко-материалистической точки зрения изобразил важнейшие основные черты великого события. Написанная шестьдесят лет назад, эта работа, тем не менее, представляет превосходное введение в эпоху германской реформации. Недавно книгоиздательство „Vorwärts“ выпустило ее новым изданием. В том же книгоиздательстве появилась брошюра: *Mehring*, „Gustav Adolf. Eine Darstellung der deutschen Reformationsbewegung vom Schluss des Bauernkrieges bis zum Schluss des Dreissigjährigen Krieges“.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

Прусское государство и классическая литература.

1. Новая Европа.

Тридцатилетней войной закончилась германская реформация. С этого времени и до начала французской революции (1789 г.), в течение почти полутора столетий, германская нация стояла вне великих мировых событий. Сопровождавшиеся большими последствиями перемены, совершившиеся за это время в самой Германии: возникновение прусского государства и возникновение классической литературы, в большей или меньшей мере определились влиянием заграницы.

Перемещение мировой торговли с берегов Средиземного моря на берега Атлантического океана,—то самое всемирно-историческое событие, которое оказало решающее действие на обеднение Германии,—в первую очередь пошло на пользу королевствам Испании и Португалии. В 1492 году испанцы открыли Америку, а в 1498 году португальцы—морской путь в Ост-Индию. Таким образом, Испания сделалась мировой державой 16-го века,—государством, в котором солнце никогда не заходило. Ее колонии в Америке, Африке и Азии приносили ей неизмеримые сокровища. Но капиталистический ¹⁾ абсолютизм, господствовавший в Испании и Португалии, не понимал, что действительный источник на-

¹⁾ Вероятно, здесь опечатка в немецком оригинале. Здесь должно стоять скорее слово „феодалистический“ и т. п. Может-быть, „католический“?—И. С.

ционального благосостояния—в национальном труде. Он задал испанские города и искоренил мавров, искуснейших земледельцев и опытнейших ремесленников, в руках которых находилась культура хлопка и сахарного тростника, бумажная и шелковая промышленность государства. Все это совершалось под идеологическим оправданием религиозной нетерпимости, а в действительности—из стремления мировых деспотов и их придворных помещиков и попов к разрушению всего, что делало нацию трудолюбивой, независимой и потому вело к возмущению против правительства бездельников. С изгнанием мавров фабрики и искусства упали, и огромные пространства земли оставались необработанными. В 1598 году, когда умер испанский король Филипп 2-й, он оставил после себя обесчещенное имя, чудовищный груз долгов и обобранный народ, который хилел в нищете, грязи и невежестве и за время его управления уменьшился в численности с десяти до восьми миллионов.

В Голландии, которая тогда находилась под верховенством Испании, Филиппу не удалось искоренить зачатки буржуазной культуры в такой мере, как в Испании. Нидерландские города, объединившись под знаменем кальвинизма, восстали против него и завоевали для себя независимость. Расправившись с мировой политикой капиталистического ¹⁾ абсолютизма, они открыли эру мировой политики буржуазного торгового капитала, классическими представителями которой в 17-м веке были Голландия и Англия, в 18-м веке—Англия и Франция. Буржуазный торговый капитал возвысился над той дворянско-поповской глупостью, будто можно с пренебрежением относиться к труду собственной нации, если только господствующим классам принадлежит власть над богатствами других частей света. Захватив испанские и португальские колонии, голландские купцы не перестали развивать промышленность в собственной стране; трудолюбивые и интеллигентные работники, которых капиталистический ¹⁾ абсолютизм изгонял из других стран, находили в Голландии гостеприимное убежище. В каждом уголке страны кипела работа, как в пчелином

¹⁾ То же, что и к предыдущей странице.—И. С.

улье. Высокая земледельческая культура, многочисленные каналы, вечно работающие мельницы, бесконечные флоты и барки, большие и богатые города, переполненные бесчисленным количеством мачт гавани превратили Голландию в страну, подобной которой не было больше в 17-м веке. Вместе с промышленным трудом быстро развивались искусства и науки, о чем красноречиво свидетельствуют имена художника Рембрандта, философа Спинозы, правоведа Гроция.

Но если голландские купцы уже не относились с пренебрежением к национальному труду, то, с другой стороны, они еще не видали в нем источника богатства народов. Торговая прибыль оставалась Молохом, которому они все приносили в жертву. Требуя для себя свободной торговли хотя бы с самим дьяволом, по отношению к остальным народам Европы они проявляли узкое лавочническое стремление к монополии. Это заставляло их поддерживать колоссальные сухопутное войско и морской флот, поглощавшие все силы маленькой страны. С половины 17-го века Англия начала обгонять Нидерланды, и только в Англии мировая политика буржуазного торгового капитала достигла полного расцвета. Когда Англия начала свою мировую политику, национальный труд, земледелие, ремесло, мануфактура уже пустили в ней слишком глубокие корни; поэтому здесь было невозможно такое подавляющее разрастание крупного капитала, которое вызвало в Голландии блестящий подъем и быстрый упадок. Если голландская мировая политика начала с того, что отважные купцы сбросили иго испанского деспота и затем обратились к обдиранию собственной нации, то английская мировая политика начала тем, что сильные крестьяне и ремесленники свергли иго своего туземного деспота и создали неразрушаемые, несмотря ни на что, основы буржуазной свободы.

Это произошло в английской революции 17-го века. Она разразилась против тиранической диктатуры короля Карла 2-го и, после того как все закономерные формы сопротивления не привели ни к чему, вследствие неисцелимого упрямства этого деспота, в его казни (1649 год) достигла высшей точки своего подъема. С этого времени английской

парламент взял власть в свои руки. Никакой король не мог без его согласия снарядить флот или вооружить армию, и своей свободной буржуазной конституции англичане обязаны тем, что они внесли в мировую политику буржуазного торгового капитала новый, заключительный момент: они могли основывать не только торговые, но и земледельческие колонии, и их колонии могли существовать не только разрушительной эксплуатацией, но и творческим трудом. Заселением Северной Америки они совершили чреватое величайшими последствиями, важнейшее для человеческой культуры дело, какое только вообще совершалось мировой политикой буржуазного торгового капитала.

Во Франции эта политика получила иной характер, чем в Голландии и Англии. Франция отняла у своего соперника, Испании, преобладание на европейском материке в значительной степени благодаря тому, что французская монархия не облагала французские города контрибуциями и даними, а сумела использовать их, как ценные вспомогательные силы, против феодальных сословий,—против дворянства и духовенства. Но положение изменилось, когда после Вестфальского мира гегемония в Европе действительно досталась Франции. Юный король Людовик 14-й, получив власть в свои руки, был захвачен миродержавным зудом. Современному абсолютизму он придал такую выработанность, что, по его заявлению, государство составляла его высочайшая особа. Неспособный понять движущие силы национальной жизни, он примирился с феодальными условиями, которые теперь охотно пошли к двору; но в награду за это трудящиеся классы населения были отданы им на полное разграбление. Придворные паразиты-дворяне ради бессмысленнейшей роскоши разрушали достигнутое трудом благосостояние нации, в этом их поддерживали попы, придворные паразиты, по настояниям которых Людовик 14-й изгнал из страны наиболее трудолюбивых жителей, гугенотов, как Филипп 2-й изгнал из Испании мавров.

Тем не менее, Франция все еще оставалась преобладающей державой на континенте Европы. Достойного соперника она находила только в Австрии, которая, благодаря блестящим победам над турками, оправилась от пора-

жения Тридцатилетней войны; в начале 18-го века обе державы терзали друг-друга, в длинном ряде кровопролитных сражений решая вопрос, кому принадлежит право заместить испанский престол.

На севере Европы Швеция быстро утратила свое положение великой державы, которое она на короткое время приобрела разграблением Германии. Польша погибла среди феодальной анархии. Перемещение торговых путей с берегов Средиземного моря на побережье Атлантического океана отразилось на Польше еще тягостнее, чем на Италии и Германии. Правда, Польша превратилась затем в житницу для западно-европейских народов, но польские помещики сумели сами захватить торговлю хлебом и воспрепятствовать накоплению купеческого капитала, являющегося исторической предпосылкой современного развития. Они терзали польские города и насильственно удерживали страну в феодальном болоте, производя безумное расточение торговой прибыли, попадавшей в их собственные карманы. Но над Швецией и Польшей возвышалась новая держава, Россия, варварское завоевательное государство, настолько европеизированное царем Петром, что оно получило способность продвигаться со своими завоеваниями к Западу.

Между Францией и Россией, подвергаясь одинаково серьезной угрозе с той и другой стороны, лежала Германская империя со своим жалким государственным строем, ограбленная и охваченная разложением, разорванная на три сотни суверенных частей. У императора сохранилось только одно право: даровать звание дворянина. Имперский сейм в Регенсбурге был просто конгрессом посланников и расточал свое время на пустую болтовню и мелочи. Имперский суд в Вецларе превратился в учреждение, прославленное во всей Европе по царившей в нем волоките, имперское войско представляло разложившуюся орду огородных чучел.

2. Прусское государство.

В этот период господство Германии принадлежало областным суверенам, в первую очередь князьям, которые в одинаковой мере были неспособны и не хотели содейство-

вать национальным интересам или хотя бы только охранять их.

Во всей мировой истории, пожалуй, не найти другого класса, который столь долгое время обнаруживал бы такую бедность умом и силами и был бы столь расточительно богат всяческой низостью, как германские государи 17-го и 18-го века. Позорно выродившиеся, они буквально купались во всевозможных пороках и грехах. Своим суверенным правом вступать в союзы с иностранными государствами они пользовались для того, чтобы продавать заграничным деспотам, как пушечное мясо, тело и кровь своих подданных, и таким способом добывали средства для своей крикливой роскоши, для бессмысленной расточительности, в которой они хотели соперничать с королем Франции.

Но в Германии не было ни одного класса, который мог бы или хотел бы оказать действительное противодействие этой захолустной тирании князей. Помещики жили вместе с князьями, как их камергеры, или камердинеры, или даже как сводни. Крестьяне, на которых лежал страшный гнет, скорее прозябали, чем жили, а города падали по мере того, как падали германское ремесло, германская торговля и германская промышленность.

Конечно, были отдельные города, как, напр., Гамбург и Лейпциг, в которых сохранились остатки прежнего благосостояния, но в многочисленных столицах богатой государями Германии распущенности было не меньше, чем при дворах самих государей. Они существовали только затем, чтобы дать пышный фон для княжеского всемогущества. Лишенные всякого подобия коммунального самоуправления, они были переполнены пресмыкавшимися придворными, раболепными чиновниками, грубыми солдатами и иностранными авантюристами. Поэтому здесь нечего было и думать о самостоятельном возникновении буржуазного образования. Если же в Германии и были некоторые его зачатки, они были получены из-за границы и находились в полной зависимости от милости государей; чтобы добиться терпимого к себе отношения, князьям должны были льстить даже наиболее свободные умы своего времени, как, напр., Лейбниц и Томазиус.

Но вот буржуазные историки уверяют, будто пашлось одно германское государство и одна германская династия, которые указали нации спасительный выход из этого несчастного положения, и будто это были прусское государство и династия Гогенцоллернов. На этот счет существуют две легенды, из которых более древняя изображает в ослепительном свете национальную миссию Гогенцоллернов, а более новая—их социальную миссию. Более старая легенда была выдвинута приблизительно два поколения тому назад, в половине 19-го века, германской буржуазией, требовавшей в то время, чтобы прусским штыком было создано национальное единство, в котором она нуждалась для своих капиталистических целей, но для которого она не хотела жертвовать своими костями и кровью. Согласно этой легенде, прусское государство, в противоположность другим германским государствам, в особенности Австрии, всегда оказывало активную поддержку национальной идее и тем самым приобрело право на возглавление всей Германии. Новейшая же легенда,—легенда о социальном королевстве Гогенцоллернов, о «королях бедноты»,—вынырнула в то время, когда рабочий класс Германии начал сознавать свои классовые интересы; так как старая легенда уже сделала свое дело, и с ней можно было расстаться, то теперь, согласно прямому распоряжению прусского министра народного просвещения, отечественной истории в народных школах учат по этой легенде.

Обе легенды в одинаковой мере не выдерживают критики. Первая сфабрикована германской буржуазией в своих собственных интересах, вторая—господствующими классами вообще для того, чтобы водить пролетариат за нос. Единственная заслуживающая признательности сторона этих легенд заключается в том, что они уничтожают друг друга. Если Гогенцоллерны в течение нескольких веков до крайности напрягали все силы своей бедной страны для того, чтобы, преисполнившись национальной гордостью, выступить против заносчивости заграницы, то они никак не могли одновременно источать кровь своего сердца ради бедных и нищих. Если же, наоборот, они веками истекали кровью ради бедных и нищих, то невозможно понять, каким это

способом могли бы они по отношению к загранице разыгрывать роль благородных рыцарей национальной идеи.

В действительности одинаково измышлено и то, и другое. Прусское государство выросло благодаря постоянным предательствам по отношению к императору и империи, и не в меньшей мере выросло оно благодаря обиранию и обдиранью своих трудящихся классов. Нет ни одного германского государства, которое превзошло бы его в том и в другом отношении. Его главной базой искони были области к востоку от Эльбы. Бранденбургская марка первоначально была саксонской колонией,—землей, отвоеванной у славян,—как Мекленбург, Померания, Силезия, Восточная и Западная Пруссия. Все эти части составляли оплот против славянского мира, давление которого воспрепятствовало тому, чтобы они распались на такие мелкие осколки, как южная и западная Германия. По своему возникновению прусское государство было похоже на австрийское, которое сначала было баварской колонией, но как оплот против турецкой опасности развивалось много быстрее и с большей силой. Пользуясь враждебной противоположностью Австрии с другими великими державами Европы, в особенности с Францией, выросло прусское государство, которому оказывалось искусственное содействие, так как оно представляло кол, вбитый в тело Габсбургской династии, «элемент национального расстройтва». Уже в эпоху реформации бранденбургский курфюрст Иоахим 1-й был пенсионером французского короля; такое же положение занимал курфюрст Фридрих-Вильгельм после Вестфальского мира; единственно и исключительно благодаря помощи Франции, король Фридрих прусский отнял Силезию, наиболее ценную провинцию австрийского государства. Для французской политики этот «великий» прусский король был просто королемакулой, королема-марионеткой, которая беспрекословно танцевала под французскую дудку. Когда же однажды он отказался от этого и не хотел дать французскому королю затребованной военной помощи против Англии, Франция соединилась с Австрией и Россией, чтобы проучить зазнавшегося вассала. Так возникла в половине 18-го века Семилетняя война (1756—1763 г.), вновь самым жестоким образом

опустошившая Германию, которая едва лишь начала оправляться от страданий, порожденных Тридцатилетней войной. Семилетняя война окончательно уничтожила бы прусское государство, если бы король Фридрих не вступил в вассальную зависимость от России, еще более позорную, чем была вассальная зависимость от Франции.

Социальная миссия Гогенцоллернов представляет плод такого же измышления, как их мнимая национальная миссия. Когда они явились в страну, бренбургские крестьяне находились в сравнительно удовлетворительном положении. Чтобы заселить земли, отнятые у славян, приходилось заманивать фризских, саксонских, рейнско-франконских крестьян, ставя их в благоприятные условия. Но как-раз при Гогенцоллернах положение этих крестьян столетие от столетия все более ухудшалось, пока, наконец, после Тридцатилетней войны курфюрст Фридрих-Вильгельм не отдал крестьян на полный произвол помещиков, получив за то от них разрешение создать постоянную армию и взимать постоянные налоги. Но и это разрешение юнкера (помещики) ограничило таким образом, что сами они сохранили свободу от всех налогов, но зато оставили за собой все офицерские места во вновь создаваемой армии.

Если является развязной бессмыслицей говорить о народолюбивой политике Гогенцоллернов, то, хотя нельзя оправдывать их враждебную крестьянам политику, все же в ее извинение можно сказать, что не в их силах было защитить крестьян от помещиков. Эти слабые и в своем большинстве совершенно неспособные государи никогда не были господами по отношению к помещикам, а помещики всегда были их господами. Недаром второй же курфюрст из дома Гогенцоллернов в самоубийственном ослеплении оказал помощь помещикам в деле подавления и разграбления городов, которые и без того не были ни достаточно сильными, ни достаточно многочисленными. Точно так же помещики, дав курфюрсту Фридриху-Вильгельму разрешение на создание постоянного войска и на взимание постоянных налогов, без чего государство сделалось бы слишком легкой добычей соседей, позаботились о том, чтобы все это не повернулось к их невыгоде. Они бесстыднейшим образом обдирали армию

посредством пресловутых ротных хозяйств, и в то же время отвратительными средствами варварской дисциплины превращали ее в свое покорное орудие.

Даже при короле Фридрихе, всесильный и просвещенный деспотизм которого так превысренно прославляется прусскими историками, прусское государство не было действительной монархией, не было современным классовым государством. Это было средневековое сословное государство, втиснутое в рамки трех наследственных сословий: всесильного дворянства, не достигших зрелости городов и несвободных крестьян,—феодалная развалина, которую сохранить со всей ее феодальной гнилью никто не старался так усердно и неусыпно, как именно король Фридрих.

У этого государства не было никакой возможности самому себя реформировать,—о том же, чтобы оно сумело проложить путь для национальной реформы Германии, и говорить нечего. Сначала необходимо было растерзать его в клочья,—только тогда и могла вздохнуть германская нация, освобожденная от этого мучительного кошмара.

3. Зачатки буржуазного образования.

Но тут нам говорят, будто прусское государство дало толчок возникновению классической литературы и философии в Германии. Так утверждают буржуазные историки и ссылаются при этом на одно заявление старого Гёте, который говорил, что действительное, истинное и высшее жизненное содержание впервые внесено в германскую нацию прусским королем Фридрихом и подвигами Семилетней войны. Правда, Гёте не скрывал, что сам этот король с величайшим презрением относился к немецкой литературе и даже в свои старые годы, в 1781 году, обрушился на нее с грубым пасквилем и, в частности, злобно и несправедливо разносил юношеские произведения Гёте. Но Гёте полагал, что как-раз потому, что Фридрих не хотел и слышать о немецких писателях, они прилагали все свои силы к тому, чтобы чем-нибудь сделаться в его глазах.

Однако, это мимоходом брошенное, да и само по себе весьма курьезное замечание Гёте утрачивает всякое зна-

чение при сопоставлении с историческими фактами. По отношению ко всякому духовному творчеству у прусских государей было только издевательство варваров. Вот, напр., король Фридрих-Вильгельм 1-й, который захватил скудные доходы берлинской академии наук для того, чтобы оплачивать придворных шутов, и, угрожая палочными ударами, заставил профессоров франкфуртского-на-Одере университета разыграть перед ним фарс словесного турнира. Мы уже не говорим о грубом изгнании из Галле профессора Вольфа, который под страхом повешения должен был в 24 часа оставить прусское государство, потому что королю с злостными искажениями донесли об его философских воззрениях. Конечно, его сын Фридрих не был до такой степени груб, но он упивался французским образованием, притом исключительно в его придворных ответвлениях. Во французских остроумцах, которых он приглашал к своему столу, он видел исключительно занимательных собеседников, с Вольтером же, который был не только придворным поэтом, но и великим буржуазным писателем, он разошелся, как самый озлобленный враг.

Решающее значение имеет то обстоятельство, что сами классики нашей буржуазной литературы всегда проклинали прусское государство, как оплот варварства. Если Лессинг, саксонец по происхождению, называл прусское государство самой рабской страной в Европе, то пруссаки по рождению,—Клопшток, Гердер и Винкельман,—с бесконечно большей суровостью отзывались о прусском деспотизме и прусских палачах народов. Клопшток бежал в Данию, а Гердер—в Россию, чтобы спастись от прусских солдатских фухтелей. Винкельман же искал спасения сначала в Саксонии, а потом в Риме; он перешел даже в католицизм, чтобы под защитой папы развернуть дарования, которых он никогда не мог бы развернуть под покровительством короля Пруссии.

Саксонское государство скорее, чем прусское, может претендовать на то, что оно было местом рождения нашей классической литературы. Уже в дни реформации оно было экономически, а потому и интеллектуально наиболее передовой страной в Германии, и даже при господстве князей никогда не падало так низко, как другие германские госу-

дарства. Его государи были тоже люди безправственные и расточительные, но они не так уж целиком устранялись от культурных задач, как прусские государи. В частности саксонские школы не опускались ниже известного уровня. Если и они страдали от ортодоксального лютеранства, то все же они еще были способны уловить некоторые лучи буржуазного образования, доходившие до опустошенной Германии из-за границы. Подавляющее большинство носителей умственного развития Германии с конца семнадцатого и в восемнадцатом веке были уроженцы Саксонии или, по крайней мере, вышли из саксонских школ.

Саксонскими уроженцами были философ Лейбниц (1646—1715 г.), а также правоведы Пуфендорф (1632—1694 г.) и Томазиус (1655—1728 г.). Они стояли уже на буржуазной почве. В интересах буржуазных классов они стремились освободить светскую науку из оков теологии. Они учили, что индивидууму принадлежит право оказывать сопротивление явному бесправию, отрицали божественное происхождение власти государей, ввели в аудитории немецкий язык и боролись против постыдных процессов ведьм. Но стремления этих людей на находили в буржуазных классах ни опоры, ни отголоска. Лейбниц как-раз в своих незабвенных работах оставался больше европейским, чем германским ученым. Пуфендорф же и Томазиус сами признавали, что они почерпнули свои идеи у голландца Гуго Гроция и англичанина Гоббса. Все они еще были связаны с княжескими дворами, перед которыми они шли на постыднейшие уступки.

К этой группе принадлежит также Иоганн-Христоф Готтшед (1700—1766 г.), который около 1730—1750 годов, профессорствуя в Лейпциге, был папой германской литературы, но еще при своей жизни канул в пучину глубочайшего пренебрежения. С того времени его имя сделалось нарицательным для тупоголовых педантов; для буржуазных историков он является козлом отпущения за старое время, хотя в действительности он был предтечей новой эпохи. Кенигсбергский уроженец, он должен был бежать от прусских военных фухтелей в Саксонию. Это был не поэт, а преподаватель, но здесь-то как-раз его деятельность и была

плодотворной. И если литературные реформы, о которых он говорил, что они имеют в виду общую честь всей Германии, ему пришлось, при неописуемом упадке германской литературы, начать в известном смысле с азбуки, с очищения совершенно испорченного языка, с сухих правил, с иностранных образцов, то в этом не столько его вина, сколько вина его эпохи.

Скоро у Готтшеда началась жестокая борьба с цюрихскими профессорами Бодмером (1698—1783 г.) и Брейтингером (1701—1776 г.), которые сначала разделяли его стремления, но потом отпали от него. По существу это были такие же педанты, как сам Готтшед; следуя его примеру, они издали критическое руководство поэтического искусства, в котором поучали, как всякий, следуя определенным правилам, может изготовить безукоризненные стихи. Действительным яблоком раздора в этом споре между Лейпцигом и Цюрихом был вопрос, по каким иностранным образцам следует создавать поэтические произведения. Готтшед рекомендовал французских поэтов Корнеля и Расина, драматургов блестящей эпохи французского абсолютизма. Конечно, лейпцигский литературный папа так же погрязал в придворном сервиллизме, как раньше его—Лейбниц, Томазиус и Пуфендорф. Но соприкосновение с французской литературой приводило его к соприкосновению и с французским просвещением. К тому же в его интересе к театру был прогрессивный элемент: ортодоксальное лютеранство видело в театре кафедру дьявола; притом Готтшед работал не для придворных сцен,—распространителями его драматических стремлений сделались обесславленные пролетарии, бродячие трупы актеров, которые тогда пользовались наиболее дурной репутацией. В первой половине 18-го века для академического парика это было уже очень почтенным общественно-реформаторским шагом.

Напротив, Бодмер и Брейтингер предлагали подражать английскому поэту Мильтону, поэту английской революции, которая совершалась еще в религиозных формах и была воспета Мильтоном в религиозной поэме, в «Потерянном рае». Но так как Бодмера и Брейтингера привлекала религиозная, а не революционная сторона английского поэта, то

они сделались жертвами ограниченного и узенького благочестия, с которым так же невозможно было бы пойти вперед, как с готтшедовским трепетом перед государями. Во всяком случае, так как ни у одной из борющихся сторон не было творческих сил, то этот спор между педантами не мог привести ни к каким результатам; в конце-концов, он должен был заглухнуть, когда получил свое решение благодаря тому, что в 1748 году выступила крупная поэтическая сила с первыми песнями религиозного эпоса.

Фридрих-Готтлиб Клопшток (1724—1803 г.) родился в прусском городе Кведлинбурге, но образование получил в саксонских школах, сначала в средней школе, затем в Лейпциге. Уже в средней школе у него сложился план религиозной поэмы, «Мессиады». Он следовал совету цюрихских художественных критиков, которые, как только появились первые песни «Мессиады», пригласили его к себе, но быстро и решительно разошлись с ним, когда увидели в нем не ханжу с поникшей головой, а сильного, бодрого, революционно настроенного молодого человека. В настоящее время нас привлекает к Клопштоку именно то, что приводило их в ужас. Большая поэма Клопштока, составляющая более 20.000 стихов, давным-давно забыта. Клопштоку пришлось тяжело поплатиться за то, что он последовал совету Бодмера и Брейтингера и положил свою жизнь на такую школьную задачу, как религиозная поэма, которая в Германии, где религия в течение двух веков была идеологическим спутником тирании захолустных государей, никак не могла сделаться утренней песней современной буржуазии. Первые песни «Мессиады» произвели впечатление молнии только потому, что в них проявилась такая поэтическая сила, какой Германия не видела в течение ряда веков. Самое произведение скоро должно было наскучить даже современникам, а в настоящее время оно совершенно похоронено в складах истории литературы.

К тому же Клопшток был исключительно лирик; в нем нет никакого следа драматического и в особенности эпического дарования. Поэтому остаются незабытыми лишь немногие из его од. Какую бы роль еще ни играли здесь религиозные воззрения, они отступают на задний план перед

национальными, первосвященник—перед бунтовщиком. Буржуазное классовое сознание настолько сильно у Клопштока, что в этом отношении из наших классиков на-ряду с ним можно поставить только Лессинга и Шиллера. Он клеймил холопов своего времени, которые воспевали государей, и он мог бы сказать о себе, что его дух, достигнув зрелости, никогда не профанировал придворной лестью святое поэтическое искусство. Глубоко проникнутый такими настроениями, Клопшток, уже 65-летний старик, приветствовал французскую революцию. Он приглашал немцев последовать примеру своих французских братьев, и его национальные чувства никогда не проявлялись с большей красотой, чем в жалобе на то, что не немцы первые развернули знамя свободы. Французская республика признала его своим почетным гражданином, и, как бы ни поблекла его поэтическая слава, слава передового борца буржуазии остается за ним.

Под созвездием Клопштока возник и геттингенский кружок поэтов: Людвиг Гёлти, многообещавший поэт, умерший от чахотки, не достигнув тридцати лет; графы Штольберги, которые начали яростными песнями против тиранов, но затем повернули фронт; Иоганн-Генрих Фосс, внук мекленбургского крепостного, который навсегда остался непоколебимым просветителем и создал себе незабвенное имя классическим переводом поэм Гомера на немецкий язык. В более слабой связи с геттингенским союзом поэтов стоял даровитый автор песен Маттиас Клавдий и в особенности Готфрид-Август Бюргер (1747—1794 г.), превосходивший их всех, несравненный мастер баллады, превративший ее из лубочной песни в художественное произведение, и при всем том кряжистый, упорный человек, который не бросал слов на ветер и скорее умер бы от голода, чем стал бы тунеядствовать за княжеским столом.

4. Лессинг.

Ближе к современности, чем Клопшток, стоит Готгольд-Эфраим Лессинг (1729—1781 г.). Борьба и вся жизнь этого классика нашей литературы яснее всего показывают, что с

возникновением классической литературы и философии 18-го века начинается социальная эмансипация буржуазии; между тем как-раз его именем чаще всего злоупотребляют с той целью, чтобы возвеличить прусское государство, как истинного отца этой литературы и философии.

Лессинг—сын духовного лица, из лаузицкого городка Каменца. Подобно Клопштоку, он получил воспитание в саксонских школах,—в мейссенской княжеской школе и затем в лейпцигском университете. Ему предназначалась богословская карьера, но он скоро ушел от сухой кабинетной учености: это был жизнерадостный юноша, который хотел прежде всего научиться жить; а в этом отношении тогдашний город Лейпциг с его старым университетом и его широкими торговыми связями открывал более широкую возможность, чем какой бы то ни было другой пункт Германии.

Более ученый, чем поэт по своим природным дарованиям, он, тем не менее, с самых юных лет стремился к театру, в призрачной жизни которого мог развертываться буржуазный мир,—к этой единственной трибуне, с которой перед всем народом можно было ставить сокровеннейшие вопросы. При тогдашних условиях театр был для буржуазии профессорской и проповеднической кафедрой. Но так как этот класс был неразвит, то слабо сколоченными оставались и подмостки его сцены. Лейпцигская сцена, которой жил и одушевлялся юный студент Лессинг, внезапно крахнула и засыпала его под своими обломками. Лессингу не было еще и двадцати лет, когда ему пришлось спастись бегством из Лейпцига от своих кредиторов. С этого времени он более двадцати лет вел беспокойную, скитальческую жизнь,—первый писатель Германии, который хотел стоять на собственных ногах, но, несмотря на свои блестящие труды, никогда не мог создать устойчивой почвы под ногами. Наконец, ему пришлось поступить на службу к одному германскому деспоту, герцогу брауншвейгскому, у которого он сделался библиотекарем в Вольфенбюттеле. Здесь Лессинг в последнее десятилетие своей жизни до дна испил чашу злостных причуд этого маленького тирана.

Как писатель, Лессинг работал в разнообразнейших областях. Но решающим побуждением в его духовном твор-

честве, сознательно или несознательно, всегда оставалось для него буржуазное классовое сознание. Уже очень рано он возвысился над бесплодным спором, который завязался между лейпцигскими и цюрихскими литературными критиками, и в плену которого так и остался Клопшток. У Лессинга не было ничего общего ни с закостенелой ортодоксией Бодмера и Брейтингера, ни с придворным сервиллизмом Готтшеда. К Готтшеду он отнесся суровее, чем к швейцарцам, но не потому, что Готтшед был дальше, а потому, что стоял ближе к нему: он сочувствовал приближению Готтшеда к французской литературе буржуазного просвещения, но с тем большим жаром хотел бы искоренить придворные и холопские элементы из дел и теорий Готтшеда.

Точно так же Лессинг в споре между прусскими и саксонскими патриотами во время Семилетней войны стоял выше обеих сторон. Некоторые вообще отрицали в нем национальные чувства на том основании, что он, проникшись отвращением к этой склоке, как-то сказал, что его не прельщает слава патриота, из-за которой он мог бы забыть, что следует быть гражданином вселенной. Но именно потому-то Лессинг и был выразителем национальной германской точки зрения: он не хотел быть ни прусским, ни саксонским патриотом. И, конечно, столь же односторонне было бы утверждать, будто Лессинг, как германский патриот, боролся—в особенности в «Гамбургской драматургии»—против преобладания французской литературы в Германии. В действительности Лессинг боролся против придворных драм французской литературы, которые не могли бы служить назидательным образцом для германской буржуазии. К освободительной литературе французской буржуазии у него всегда было положительное отношение, и он прямо признавал, что ни от кого не научился больше, чем от Дидро, одного из главных ее представителей.

Не меньшее отсутствие предвзятости обнаруживал Лессинг по отношению к английской литературе. Примыкая к английским образцам, он написал мещанскую трагедию «Мисс Сара Сампсон»; какие бы эстетические возражения ни вызывала она, современники почувствовали, что это—социальный акт. Как драматические шедевры, и теперь еще

живы комедия Лессинга «Минна фон-Барнгельм» и его трагедия «Эмилия Галотти»: первая—солдатская драма, но глубоко проникнутая буржуазным духом, который мужественно показывает здесь зубы прусскому деспотизму; вторая—ужасающе меткое изображение заскорузлой германской тирании; но, чтобы поставить трагедию на германской сцене, Лессингу пришлось перенести ее действие в Италию.

Правильное понимание теологической борьбы, наполняющей последние годы жизни Лессинга, тоже возможно лишь при том условии, если оценить ее с социальной точки зрения. Как передовой борец буржуазии, Лессинг выступал против ложных и половинчатых, шатких и трусливых просветителей, которые, не решаясь произвести полное размежевание между философией и теологией, только тормозили действительное освобождение умов, так как они переплетали философию и теологию, и вместо старого ортодоксального лютеранства проповедывали разумное христианство, о котором Лессинг по справедливости говорил, что не знаешь, где же здесь христианство, и где разум.

Лессинг направил свои нападки в первую очередь не против Гёце, ортодоксального главного пастора в Гамбурге, как утверждают современные преемники половинчатых и ложных просветителей,—нет, борьба, которую Лессинг в ряде блестящих летучих листов вел против Гёце, вытекала из того, что Гёце вел ожесточеннейшую войну против Лессинга: этот главный гамбургский пастор был достаточно проникновенен для того, чтобы понять, насколько истинный просветитель Лессинг опаснее для ортодоксального лютеранства, чем половинчатые просветители. Лессинг исходил из того совершенно правильного воззрения, что ясное и последовательное развитие буржуазного просвещения несет гибель ортодоксии, но что, напротив, преднамеренное калечение этого просвещения должно замедлять подъем буржуазии.

Драма «Натан Мудрый» была вдохновенным аккордом, закончившим теологическую борьбу Лессинга. Он написал ее, когда герцог брауншвейгский с насильственными мерами вмешался в борьбу. Лессинг решил посмотреть, не может ли он беспрепятственно проповедывать хотя бы со своей

старой кафедры, посредством театра. В драме нет ни возвеличения иудейства, ни принижения христианства. Лессинг выступал только против нетерпимости, неизбежного элемента всякой религии, основывающейся на мнимом откровении, полученном, будто бы, из надземного мира. По Лессингу, религиозная вера—частное дело каждого индивидуума, и никто не может вмешиваться в это дело и ставить препятствия. Но по той же причине никто не должен докучать со своей религиозной верой другим людям. Положением, что религия—частное дело, предполагается другое положение,—что необходимо бороться со всякой религией, какова бы она ни была, если она захочет сделаться уздой для научного исследования, оружием социального угнетения.

5. Гердер. Молодые годы Гёте и Шиллера.

В ближайшей связи с Лессингом, и, однако, в своеобразной противоположности к нему, стоит Иоганн-Готфрид Гердер (1744—1803 г.). Он родился в Морунгене, маленьком городишке Восточной Пруссии, и был сыном нищенски бедного церковного служителя. Его юность была отравлена драчливым школьным учителем,—ортодоксальным духовным лицом, которое, надев на себя маску благодетеля, эксплуатировало рабочую силу детей,—и в немалой мере мучительным гнетом «красного галстука», которым прусский военный деспотизм отмечал свои жертвы уже с детского возраста.

Гердер избежал этой беды, когда один хирург из русских войск, во время Семилетней войны занявших Морунген, взял его с собой в Кёнигсберг. Здесь Гердер решил обратиться к изучению богословия, не по каким-либо внешним побуждениям, а по внутреннему влечению. Как у Лессинга была глубоко светская натура, так у Гердера—глубоко религиозная: недаром библия в дни одинокого и туманного детства была для него единственным источником духовного ободрения. В двадцатилетнем возрасте Гердер получил место учителя в соборной школе Риги,—города в русской Прибалтийской провинции, которая в то время еще сохра-

няла известную независимость от русского деспотизма. Перед отъездом Гердер должен был принести присягу, что он возвратится в Пруссию, как только будет призван в качестве рекрута; но он полагал, что эта вынужденная присяга его ни к чему не обязывает, и уже никогда не возвращался на свою гостеприимную родину.

Живя в Риге, Гердер впервые выступил, как писатель, сначала следуя в критике по стопам Лессинга. Но скоро обнаружилось то, в чем у него был плюс перед Лессингом: его исторический гений. Если эстетическая критика была для Лессинга средством к определенной цели, если он производил чистку в литературной области только затем, чтобы усилить и двинуть вперед буржуазное сознание, которое только и могло проявиться в этой области, то Гердер видел свою задачу в том, чтобы связать литературу с духом соответствующего времени. В поэзии он видел не достояние отдельных избранных умов, а общий дар всех народов и времен, который только у каждого народа и в каждую эпоху получает своеобразное развитие. Таким образом он подошел к народной песне, как первоначальному источнику всей поэзии, между тем как Лессинг только случайно и мимолетно останавливался на ней.

Пробыв в Риге четыре года, Гердер отправился в путешествие по Европе, сначала в Париж, затем в Страсбург. Здесь он познакомился с еще неизвестным тогда Гёте и открыл перед складывающимся поэтом новый мир,—как-раз благодаря своему историческому пониманию сущности поэзии, которое позволяло ему повсюду проследить ее доподлинные источники. Планы дальнейшего путешествия были расстроены тем, что он был назначен старшим священником в Бюккебург, где он, однако, лишь в течение нескольких лет сумел выдерживать мучительный гнет удивительного маленького тирана. В 1776 году Гердер перешел в Веймар генерал-супер-интендентом. Это назначение устроил Гёте, который, как любимец герцога, за год перед тем тоже переселился в Веймар. В Веймаре Гердер прожил еще около тридцати лет и издал здесь две работы, которые можно считать зенитом труда всей его жизни: «Die Stimmen der Völker in Liedern» и «Die Ideen zur Philosophie der Geschi-

chte der Menschheit» («Голоса народов в песнях» и «Мысли по философии истории человечества»). В первой работе Гердер собрал народные песни из всевозможных, не только европейских, языков и диалектов, и с глубоким пониманием перевел их на немецкий язык; во второй работе он дал первый опыт всеобщей истории культуры, при чем самым широким образом понимал свою задачу. Если состояние научных вспомогательных средств, какими он мог располагать в то время, не позволило ему достигнуть этой цели, то все же в общих чертах он раскрыл путь, по которому, как показывает всякое новое завоевание исторической науки, действительно шло и идет человечество.

Гердер оказал решающее влияние на Гёте (1749—1832 г.), наиболее зрелого поэта и художника нашей классической литературы. В отличие от других пионеров этой литературы, Гёте по своему рождению принадлежал к господствующим классам. Его отцом был состоятельный человек, который приобрел титул императорского советника и в созерцательной праздности вел жизнь ученого-любителя; его дедом с материнской стороны был высший чиновник маленькой городской республики Франкфурта-на-Майне, где и родился Гёте. Счастливое детство вело его по ровной дороге вперед; в его воспитании горячая любовь его молодой матери, — красивой женщины, цветущей здоровьем, — играла еще большую роль, чем тщательно обдуманная, хотя несколько педантические приемы отца, сравнительно старого человека.

Подобно Клопштоку и Лессингу, Гёте учился в Лейпциге, где молодая любовь вызвала у него первые звуки той несравненной лирики, которая сопутствовала ему всю его жизнь. Но он еще оставался в оковах французского вкуса. Его оригинальный гений начал разворачиваться лишь после того, как он продолжил свое учение в Страсбурге, познакомился здесь с Гердером и попал в то умственное течение, которое известно в истории германской литературы под именем периода бури и натиска.

Эти буря и натиск, получившие свое название от одной драмы, написанной Клингером, другом молодости Гёте, были своего рода духовной революцией, все деятели которой, за исключением Гёте и впоследствии примкнувшего к ним

Шиллера, совершенно забыты; это было неистовое брожение умов,—и, тем не менее, всего лишь отдаленный отблеск солнца, которое начинало подниматься на Западе: движение, в одно и то же время крепкое и сентиментальное, но лишенное почвенности, а потому осужденное на быстрое умирание.

Гёте уплатил свою дань и его силе, и его сентиментальности: в драме «Гёц фон-Берлихинген» и в романе о страданиях молодого Вертера. В образе плутоватого рыцаря, предавшего восставших крестьян во время крестьянской войны, Гёте увидел революционера в нравственной области, который, не находя помощи в закостенелых положениях писаного рассудка, сам помогал себе своим железным кулаком. Это произведение—убедительное доказательство, насколько оторваны были немцы от преданий своего прошлого, но в то же время изумительное свидетельство гениальной силы поэта, который из волнующихся туманов сумел создать художественную картину, оживляющуюся избытком образов, которые как бы дышат перед нами.

В «Страданиях молодого Вертера» Гёте уже освободился от нездоровой чувствительности, отличавшей период бури и натиска. В героя романа он перенес все, что мучило его самого, что было больного и нездорового в движении эпохи. К груди природы увлекал поэт изуродованное поколение. Ни в каком другом культурном поэте не жила природа с такой непосредственностью, как в Гёте. Он не описывает ее явлений, но в его произведениях клубятся пары над землей, сияет солнце, мерцают звезды, шумит море. Успех «Страданий молодого Вертера» был колоссальный. Продукт сентиментализма той эпохи, они в то же время были лекарством от него.

Но этому несравненному гению угрожала опасность сделаться жертвой германских злосчастий. Гёте никогда не знал лессингова здорового отвращения к придворной жизни. В 1775 году он охотно последовал приглашению молодого веймарского герцога Карла-Августа, который звал его на свою службу и к своему двору. Возможно, что Карл-Август по своим духовным и физическим силам превосходил всех остальных германских карликовых деспотов, но это еще далеко не делает его тем преисполненным высоких

чувств хранителем нашей классической литературы, каким его изображают лакействующие историки. В первые десять лет, которые Гёте прожил при веймарском дворе, он тяжело страдал от всего безобразного и отвратительного, чем характеризовались такие карликовые резиденции; все его великие плапы оставались невыполненными, и казалось, что поэт, так славно начавший Гёцем и Вертером, навсегда потерян для нации. Но в 1786 году Гёте спасся быстрым решением и отправился на 2 года в Италию.

Несравненно тяжелее опускалась рука бессовестного деспота на молодого Шиллера (1759—1805 г.). Подобно герцогу брауншвейгскому, отравившему старость Лессинга, герцог вюртембергский, отравивший молодость Шиллера, принадлежал к числу позорнейших для своей эпохи торговцев людьми. Шиллер родился в вюртембергском городишке Марбахе и был сыном одного лейтенанта, который со скрежетом зубным должен был покориться тому, что деспот отнял у него единственного ребенка и запрятал его воспитанником в школу Карла,—«питомник рабов», в котором герцог был намерен давать дрессировку рабым орудиям своих тиранических причуд. Таким образом у юного Шиллера было отнято восемь драгоценных лет жизни. С двенадцатилетнего до двадцатилетнего возраста он был отдан здесь на произвол «старого Ирода», как впоследствии он называл княжеского палача своей юности. Но затем его тяготение к драматической поэзии повело к тому, что он, судорожно цепляясь, начал взбираться кверху. Еще находясь в школе Карла, Шиллер написал свою первую трагедию, «Разбойники», в которой революционный дух восстал против недостойных оков. Подвергшись за это новым преследованиям со стороны герцога, Шиллер бежал из швабской тюрьмы и в дни тревожных скитаний написал свою трагедию «Коварство и любовь», в которой буржуазная драма поднялась на такую революционную высоту, какой она еще не достигала в Германии ни раньше, ни позже.

Не удержалось на таком уровне его драматическое произведение «Дон Карлос», главный герой которого, маркиз Поза, проповедывал поверхностное просвещение; для самого Шиллера оно было, несомненно, только переходной ста-

дией, но не окончательным результатом его духовного развития. В течение десятилетия и даже больше он усиленно занимался историей и философией и только после того снова обратился к драматическому искусству.

6. Кант.

Наша классическая философия начала развиваться несколько позже, чем наша классическая литература. Первым ее представителем был Иммануил Кант (1724—1804 г.), родившийся в Кенигсберге, где его отец был шорником. О его жизни можно мало сказать. Это было однообразное и монотонное существование ученого, целиком протекавшее в рамках тогдашнего немецкого мещанства. Кант никогда не выходил за черту своего родного города за исключением случая, когда он несколько лет прожил домашним учителем в восточно-прусских имениях.

Кант был совершенно несоциальной натурой, — несоциальной в том смысле, что ему была противна всякая форма общественной жизни, включая брак и семью. Ему были совершенно чужды политические и национальные интересы. Он так же верноподданически почитал своего наследственного короля, как и царицу Елизавету, когда русские войска во время Семилетней войны заняли Кенигсберг. Когда на закате его жизни к нему стала придираться цензура, он далеко не мужественно вел себя в этом конфликте.

Насквозь пропитанный филистерством в своей частной жизни, Кант был замечательным ученым, который обогатил историческое развитие наук тремя крупными работами. Безнадежны попытки изобразить его мыслителем, который будто бы стоит «вне времени», не превзойден в настоящее время и никогда не может быть превзойден; но столь же педантно было бы отрицать, что для своего времени он был пионером. Его первой незабвенной заслугой была его «Всеобщая естественная история», в которой он хотел изобразить строй и механическое происхождение всего мироздания. Он показал, что солнце и все планеты возникли из вращающейся туманной массы, и таким образом сделал чрезвычайный последствием шаг.

Эта первая работа Канта появилась уже в 1755 г. Четвертью века позже, в 1781 году, он издал свою «Критику чистого разума», которой он совершил освободительный акт. Он разрушил догматическую философию, пышно разраставшуюся в германских университетах. С возникновением капиталистического способа производства у западно-европейских культурных народов вновь воскресало материалистическое миропонимание и с блеском, особенно во Франции, вело борьбу против придворного, феодального и клерикального деспотизма. Между тем, догматическая философия представляла не что иное, как замаскированную теологию,—была даже много опаснее, чем доподлинная и открытая теология, которая просто требовала, чтобы, не спрашиваясь рассудка, веровали в бога и бессмертие; догматическая же философия, будто бы, доводами разума хотела показать то, что лежит вне человеческого познания. В свои молодые годы и сам Кант был приверженцем этой философии, но английский скептицизм,—философия, которая вообще сомневается в познаваемости вещей,—возбудил в нем сомнения, которые повели к тому, что он обратился к исследованию вопроса о границах человеческого познания.

Ядро его нового учения заключается в том, что весь мир явлений, воспринимаемый нашими чувствами и нашим умом, вполне определяется устройством наших чувств и нашего разума, что мы не можем поэтому познать истинного существа вещей («вещь в себе»), но что наше познание от этого отнюдь не делается двусмысленным и не имеющим никакой ценности: напротив, оно регулируется непреложными законами, оно необходимо и неотделимо от нашего существа. Это эмпирическое познание (познание посредством опыта) есть единственный способ узнать что-нибудь о вещах, как и вообще оно показывает нам вещи не такими, каковы они суть, а такими, какими необходимо должен видеть их человек, вследствие своей организации. Философия, которая захотела бы перешагнуть через эти границы, неизбежно впадает в заблуждения,—например, если бы она хотела доказать, что нашим идеям о боге, свободе и бессмертии соответствует некая вне лежащая действительность.

Разрушение догматической философии, которое таким

образом произвел Кант, представляло крупный исторический прогресс, но его теория познания отнюдь не была новой. Основная ее идея,—что мы знаем вещи, не каковы они суть, а каковыми они являются для наших чувств,—была высказана задолго до Канта другими философами, даже мыслителями древней Греции; оригинально было только применение, которое Кант дал той идее, что мы знаем мир не непосредственно, а через посредство наших несовершенных чувств. Тем самым он уничтожил претензии догматической философии, идя путем разума, доказать бытие бога, свободы и бессмертия. Но он делал это по соображениям, которые совершенно открыто выразил словами: я должен уничтожить знание, чтобы получить место для веры. Если в своей «Критике чистого разума» он выпроводил бога, свободу и бессмертие через переднюю дверь, то в своей «Критике практического разума» он опять впустил их через заднюю дверь. Именно, он говорил: хотя мы и не можем познать вещи в себе, мы должны их мыслить для себя, и, таким образом, бог, свобода и бессмертие становятся необходимыми выводами практического разума, который выше чистого разума.

Поскольку Кант своей «вещью в себе» хотел просто указать на предельное понятие, поскольку он хотел только сказать: существуют границы человеческого познания, и какие бы исполинские успехи ни делал ум человеческий в познании природы, он никогда не проникнет во все ее тайны,—постолюк можно было бы не возражать против этого. То же говорили и многие другие, напр., Гёте. Но поскольку своей «вещью в себе» Кант указывал на общую ограниченность нашего знания с той целью, чтобы получить более широкий простор для веры, его теория познания имеет лишь историческое, но отнюдь не всеобщее значение.

К своему положению, согласно которому бога, свободу и бессмертие невозможно познать, но можно мыслить, Кант приурочил свое учение о нравственности, свою этику. Здесь, по его собственному признанию, дело для него сводилось не к выяснению оснований того, что происходит, а к выяснению законов того, что должно происходить, хотя бы это никогда не происходило в действительности. Эти законы

Кант измышляет совершенно произвольно, хотя и под влиянием того половинчатого буржуазного просвещения, которое господствовало в Германии.

Этика Канта одной ногой еще стоит на почве христианской религии. Его учение о том, что человеческая природа зла в самом корне, есть не что иное, как теологическая догма о прирожденной человеку наследственной греховности; точно так же его категорический императив, т.-е. безусловность нравственного закона, велений которого никто не должен избегать, заимствован из десяти заповедей Моисеевых с их императивной, т.-е. повелительной, формой: ты должен. Кант полагал, что действия человека лишь при том условии имеют действительную моральную ценность, если они совершаются исключительно по чувству долга, без какой бы то ни было склонности к ним. Ценность характера обнаруживается лишь там, когда кто-нибудь, не питая никакой сердечной симпатии, холодный и равнодушный к страданиям других, далекий от всякого человеколюбия, совершает благодеяния исключительно и единственно в силу долга. Таким образом, скряга, подающий нищему копейку, поступает добродетельно, но не рабочий, который с пламенной преданностью жертвует за благо своего класса здоровьем и жизнью. Эти истинно-филистерские курьезы достаточно были высмеяны даже почитателями Канта Шиллером и Шопенгауером.

Но другой ногой этика Канта, во всяком случае, стоит на почве французской революции, которую он признавал еще и после эпохи террора, хотя не был свободен от того противоречия, что в принципе отвергал право на сопротивление деспотизму. И как-раз то положение, ради которого безусловные почитатели Канта признают его «истинным и действительным отцом германского социализма», целиком входит в круг идей французской революции. Это положение гласит: действуй таким образом, чтобы человечество, как в твоем собственном лице, так и в лице всякого другого, никогда не являлось просто средством, но всегда было также и целью. Для исторически изошренного взгляда в этом положении Канта тотчас же раскрывается идеологическое выражение того экономического факта, что буржуазия, желая получить пригодный для ее целей объект

эксплоатации, должна была не просто пользоваться рабочим классом, как средством, но и поставить его, как цель, т.-е. во имя человеческой свободы и человеческого достоинства освободить его от цепей вассальной и крепостнической зависимости. Ничего иного и не думал Кант, потому что он требовал свободы и самостоятельности только для граждан государства, а не для членов государства, к которым он причислял весь трудящийся класс—подмастерьев ремесленника или купца, частных служащих и поденщиков, всю прислугу и даже крестьян, которых, однако, должна была освободить и освободила буржуазная революция.

История более или менее опередила этику Канта уже уже при самом ее появлении. В настоящее время достаточно будет просто сказать, что ее узкие и мелкие критерии и в отдаленной мере не идут в уровень с великими нравственными требованиями классовой пролетарской борьбы.

Напротив, большой заслугой Канта остается еще его обоснование современной эстетики. Между миром явлений, подчиняющим человеческую волю законам природы,—царством того, что есть,—и моральным миром, в котором господствует свободная воля человека,—царством того, что должно быть,—в своей «Критике силы суждения» он поставил в качестве посредствующего звена царство искусства.

Если прежняя эстетика отводила для искусства область плоского подражания природе или сливала его с моралью, или видела в нем прикровенную форму философии, то Кант показал, что здесь мы имеем дело со специфической и изначальной способностью человека. Он сделал это в глубоко продуманной, а потому художественно построенной системе, богатой широкими и далекими перспективами.

Источники. Историко-критическое изображение прусского деспотизма в его связи с классической литературой см. *Меринг*, „Легенда о Лессинге“: Изложения классической литературы и философии с историко-материалистической точки зрения, к сожалению, еще не существует. *Mehring*, „Schiller“, в лейпцигском партийном издании. За недостатком более обстоятельных работ следует указать *Mehring*, „Johann Gottfried Herder“, „Neue Zeit“ 221, 321 ff., и „Immanuel Kant“, там же 221, 553 ff., а также „Kant und Marx“ там же 221, 658 ff. (статьи, написанные по поводу столетия со смерти Гердера и Канта). Подробную критику национального и социального королевства Гогенцоллернов дает *Maurenbrecher*, „Die Hohenzollern-Legende“, изд. „Vorwärts“. Два тома содержат много материала, заимствованного, главным образом, из работ школы Шмоллера, но у автора нет уверенности в применении историко-материалистического метода.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.

Французская революция и ее последствия.

1. Французская революция.

Великая французская революция, разразившаяся в 1789 г., благодаря ее воздействию на Европу, опять возвратила историческую жизнеспособность Германии, пропавшей в болоте феодализма.

В этой революции боровшиеся между собою классы и партии впервые отбросили всякое религиозное облачение и сражались в чисто-светских формах, открыто заявляя о своих чисто-светских целях. Благодаря этому христианство, как всемирно-историческое явление, вступило в свою последнюю стадию. Утратив способность служить идеологическим знаменем для какого бы то ни было исторически-прогрессивного класса, оно все более переходило в монопольное владение господствующих классов. С этого времени они пользовались им исключительно как орудием господства, при чем не составляет никакого различия, веровали ли они сами в ту религию, которую хотели сохранить народу, или нет.

В эпоху 1648—1789 г., в то самое время, когда абсолютная монархия в Германии представляла только отпугивающую карикатуру, во Франции она развилась до высшей формы, какой только вообще достигала в истории. Здесь государственная власть представлялась не непосредственным орудием классового господства, а вела по видимости самостоятельное существование над экономическими клас-

сами и политическими партиями, из которых ни один (или ни одна) не был достаточно силен для того, чтобы захватить господство. Абсолютная монархия подчиняла себе каждый из существующих классов угрозой остальных, всем им предлагала состояние перемирия, всех их заставляла служить себе.

Однако, ее независимость была только кажущаяся. Пользуясь феодальными классами против современных и современными—против феодальных, она должна была считаться то с одними, то с другими. Она не могла допустить, чтобы какой-нибудь из них сделался слишком сильным, но именно потому ни один из них не могла осудить на полное бессилие. Она должна была оказывать содействие земледелию, торговле, промышленности, коротко говоря, всем капиталистическим производительным силам хотя бы из-за того, чтобы получить средства на содержание своего административного аппарата и постоянного войска, но она не могла порвать с феодальными сословиями, которые были необходимы для нее, как противовес буржуазии, и в особенности не могла порвать потому, что абсолютный монарх обыкновенно являлся крупнейшим землевладельцем страны, а следовательно, связывался общими интересами с другими крупными землевладельцами—с дворянством и духовенством.

Таким образом, в груди абсолютной монархии в известном смысле жили две души: одна просвещенная, буржуазная, которая старалась по возможности развивать капиталистический способ производства, а другая феодальная, средневековая, которая помышляла только о том, чтобы как можно больше выжать из нации и добытое потребить в интересах феодальных классов общества. Но эти две души не могли жить в постоянном мире между собою. Абсолютная монархия не могла удовлетворять требований дворянства, не нарушая интересов буржуазии, и наоборот; чем более с ходом исторического развития нарушалось равновесие между дворянством и буржуазией к невыгоде дворянства и к выгоде буржуазии, тем более шаткой становилась абсолютная монархия, которая основывалась как раз на равновесии между господствующими классами.

Совершенно нестерпимым сделалось существование абсолютной монархии для подчиненных классов. При французском абсолютизме сельские и городские рабочие жили в ужасающей бедности. Буржуазные историки уверяют, будто абсолютная монархия возникла благодаря тому, что она давала защиту слабым против сильных. Но под этим они подразумевают исключительно вмешательство абсолютной монархии в экономические отношения, при чем задачей этого вмешательства было развитие так-называемого национального богатства, т.-е. товарного производства. Это вмешательство шло на пользу не трудящимся классам, а капиталистическому способу производства, отчасти прямо—посредством монополий, таможенных пошлин, финансовой поддержки, отчасти косвенно—посредством уничтожения или смягчения крепостных отношений, посредством улучшения школ и т. д. Абсолютизм никогда не заботился о трудящихся классах, как таковых. Поскольку он проявлял к ним видимость некоторого интереса, он имел целью не сделать из раба человека, а всего лишь превратить объекты феодальной эксплуатации в объекты капиталистической эксплуатации.

Осужденные на пожизненный голод, крестьяне скоро научились закладывать руки за спину. Все новые обширные пространства земли превращались в пустоши. Уже в 1750 году вышло из обработки более четверти пригодной к возделыванию земли. В таких же принижающих условиях жили и городские рабочие. Промышленность и торговля на всем протяжении государства находились в оковах строжайшего цехового принуждения. Мало-по-малу самые незначительные отрасли промышленности превратились в цеховые ремесла. Монополизация ремесла сделала невозможным для многочисленных подмастерьев достижение звания мастера. Они бродили по всей Франции, не находили места, где им позволили бы поселиться, и, наконец, возвращались на родину, чтобы потихоньку и крадучись, гонимые и преследуемые полицией, жить трудами рук своих. В конце-концов приходилось мириться с тем, что в этой несправедливой и бессмысленной организации национального труда постоянно прокладывались новые и новые бреши, и это

многим служило выходом. Как для должников и даже для преступников существовали убежища, в которых прекращалось действие законов, так и здесь приходилось создавать своеобразные убежища для бесприютных и бесправных рабочих. В Париже были два таких прибежища: округ Тампль и пригород Сент-Антуан. В последнем пригороде накануне революции жило до 70.000 рабочих. Каждый уголок и каждый закоулок были переполнены отверженными, для которых уже не находилось места на официальной арене общества. Пригород Сент-Антуан был истинным очагом революции. Из его недр вышли толпы осаждавших Бастилию, и он же был тем валом, о которой разбились удары контр-революции.

Если таким положением сельских и городских работников достаточно характеризуются, будто бы, отеческие попечения абсолютизма, то оно делает совершенно понятным, почему все более расшатывалась приверженность буржуазии к этой государственной форме. Растущий развал земледелия препятствовал развитию так-называемого национального богатства, между тем как его постоянный рост—вопрос жизни для буржуазии; все усиливающееся окостенение цехового строя мешало ей свободно распоряжаться рабочими силами, из которых она могла бы высасывать прибавочную стоимость. И в то самое время, как она встречала помехи развитию своих производительных сил, требования, предъявлявшиеся абсолютной монархией к денежному кошельку буржуазии, увеличивались в беспримечной, в неслыханной для тогдашних условий степени. Чем дальше, тем менее понимали французские короли буржуазную сторону абсолютной монархии. Они оказались в полном плену у феодальных сословий дворянства и духовенства и до того довели придворную расточительность, что французское государство пришло к полному банкротству.

Чтобы избежать этого банкротства, королевская власть была вынуждена весной 1789 года созвать генеральные штаты,—представителей дворянства, духовенства и буржуазии. Но здесь буржуазии принадлежал уже такой перевес, что она быстро сумела превратить эту феодально-сословную корпорацию в буржуазное национальное собрание, при

чем ей очень пошли на пользу расколы внутри дворянства и духовенства. Старинный опыт вообще показывает, что чем дальше заходит внутренний распад реакционных классов и партий, тем больше и их внешнее разложение, а это обыкновенно облегчает дело революционных партий. В ночь с 4-го на 5-е августа 1789 года национальное собрание покончило со всем феодальным и цеховым хламом,—с крепостными отношениями, господскими судами, десятинами, побочными доходами, куплею должностей и т. д.

Эта ночь сделалась знаменитой в истории, и эта слава заслуженная, поскольку здесь в несколько часов был устроен мусор, на расчистку которого в Германии потребовалось не менее шестидесяти лет ¹⁾. Напротив, было бы совершенно неправильно говорить о «самопожертвовании», будто бы проявленном привилегированными сословиями в ночь 4-го августа. Они отказались только от того, что было уже совершенно уничтожено сотнями крестьянских восстаний, бушевавших летом 1789 года во Франции, и они сделали это лишь с той целью, чтобы сохранить хотя бы только свои притязания на вознаграждение.

Конечно, сил одного крестьянства было недостаточно для того, чтобы обеспечить буржуазии победу; крестьяне были слишком разбросаны, слишком неорганизованы, слишком далеки от Парижа, где сосредоточивалось политическое движение, так что они были не в состоянии определять исход своим внезапным вмешательством. Главным лагерем революции сделались пригороды Парижа: здесь были тесно сгущены наиболее решительные и активные элементы страны, которым уже нечего было терять, по которые могли приобрести все: мелкие буржуа, рабочие, а также босяцкий пролетариат, который еще сохранял достаточно нерастраченных сил для того, чтобы с энтузиазмом броситься в водоворот революции.

¹⁾ Меринг не совсем прав, утверждая, будто слава ночи 4-го августа „заслуженная“. Только якобинский режим реализовал не совсем определенные декларативные постановления 4-го августа и покончил с мечтами о выкупе феодальных прав. См. Г. К у н о в, „Борьба классов и партий в великой французской революции“, глава третья.—И. С.

С тенденциозными целями эту революционную массу сравнивали с современной социал-демократией. Само по себе это—полная бессмыслица, так как для пролетарского рабочего движения в современном значении этого слова тогда отсутствовали все необходимые предпосылки. Но социал-демократии нечего стыдиться этого сравнения. Если сапюлоты, как они назывались по своему пролетарскому костюму, или якобинцы, как они назывались по своей наиболее сильной организации, и не были современными социалистами, они были во всяком случае настоящими революционерами.

Они уничтожили все контр-революционные покушения двора и феодальных сословий,—они спасли Францию, когда европейские державы пошли на нее войной, чтобы задушить революцию.

2. Революционные войны.

Революционные войны разразились в 1792 году и в течение последующих двадцати лет перевернули всю Европу.

Их первоисточником были постановления, принятые в августовскую ночь 1789 года. Эти постановления одним ударом устраняли также феодальные привилегии германских имперских сословий, духовных и светских князей, у которых в Эльзасе были обширные владения; между тем пострадавшие могли бы сослаться на то, что при аннексии Эльзаса Францией международным договором им были гарантированы их феодальные права.

Как бы то ни было, у французского национального собрания не было никаких вызывающих намерений. Конечно, оно не намеревалось сохранить за германскими помещиками и попами то, что во всем государстве отняло у французских помещиков и попов, тем более, что как-раз уничтожение феодальных оброков, повинностей и барщины наконец-то действительно спаяло Эльзас с Францией. Оно заявило, что готово дать какое угодно денежное вознаграждение за отменяемые права, и потому не было бы ничего проще, как уладить этот международный конфликт. Если этого не было

сделано, то вина падает исключительно на немецкие имперские сословия в Эльзасе, упорствовавшие в своем невозможном требовании восстановления их феодальных прав.

Они встретили предупредительность и поддержку у германских карликовых деспотов, которые попробовали теперь по-своему переть против рожна французской революции. Именно духовные князья церкви на Рейне, вопреки всякому международному праву, позволили эмигрирующей дворянской сволочи, бежавшей из Франции от революции, вооружаться на германской территории к войне против изгнавшей их Франции. Хотя эти приготовления не представляли опасности, они тем более возмущали французское национальное собрание, что французский король и в особенности французская королева, австрийская принцесса, предательскими интригами старались подстрекнуть иностранные державы к вооруженному вторжению во Францию. Когда же летом 1791 года королевская чета сделала неудачную попытку побега, стихийное возмущение охватило Францию. Предполагали—и были совершенно правы,—что король намеревался возвратиться во Францию во главе иностранных войск и восстановить абсолютную монархию. Ему пришлось теперь перенести самые чувствительные унижения.

Это привело в движение крупные державы Германии, прежде всего германского императора Леопольда 2-го, брата французской королевы, а затем и прусского короля Фридриха-Вильгельма 2-го, который сначала кокетничал с французской революцией и при посредстве своего посланника в Париже завязал даже секретные сношения с демократической партией французского национального собрания,—конечно, не из восторженного отношения к целям революции, а из завистливого злорадства по случаю ослабления французской монархии; он рассчитывал, что на огне революции ему удастся сварить яйца династической политики Гогенцоллернов. Когда же он увидел, что нельзя шутить с огнем, он был охвачен противоположными настроениями и начал разыгрывать из себя странствующего рыцаря, со своим заржавевшим копьём выступившего против дракона революции. Правда, можно было еще не особенно серьезно относиться к тому бряцанию саблей, которое начали

австрийский император и прусский король. Но жажда войны пробудилась теперь и во французском национальном собрании, которое в 1791 году было переизбрано, и в котором преобладание принадлежало жирондистам — республиканской буржуазной партии. Главной ее областью были торговые города юго-западной Франции; она была до чрезвычайности недовольна ростом влияния парижских якобинцев. Она раздувала воинственные настроения, порожденные во французской нации вызывающими действиями Германии. При этом она питала надежду и стремилась к тому, чтобы оторвать от горячей почвы революции и кинуть в войну наиболее активные элементы мелкобуржуазно-пролетарского населения и таким образом отделаться от них. 1-го марта 1792 года она заставила короля объявить войну германскому императору.

Ни та, ни другая сторона не была единственной и исключительной виновницей войны; глубочайшая причина возникновения революционных войн коренилась в том, что буржуазная и феодальная Европа не могли существовать одна подле другой — и не сцепиться друг с другом по тому или иному поводу более или менее быстро. Сначала, когда опасность угрожала только французской монархии, другие монархии, и прежде всего прусская, с известным злорадством посматривали на злополучие своей страшной соперницы. Но затем, когда чувствительное унижение, которое пришлось претерпеть французскому королю за его изменнические происки, возвестило об опасности, угрожающей всем европейским тронам, монархии начали спланиваться в «реакционную массу». В первое время на стороне феодальных держав был колоссальный перевес сил; но, исторически изжив себя, охваченные разложением, они слишком сильно разъедались обоюдной ненавистью и завистью, так что были неспособны сомкнутыми рядами выступить против общего врага. Их интересовала не столько самая победа, сколько та доля, которая достанется им от добычи, полученной вследствие победы. Они хотели поделить шкуру неубитого медведя, и потому Австрия и Пруссия, приготовившись в июле 1792 года к первому общему прыжку на революционную Францию, посматривали друг на друга

с легким рычанием, как два не доверяющие друг другу хищника.

Жалкий характер всей этой феодальной авантюры обнаружился с полной ясностью, когда главнокомандующий прусской армией, герцог Брауншвейгский, издал манифест, обещавший сравнять Париж с землею. Бесстыдная угроза заставила воспрянуть весь французский народ. В Страсбурге впервые прозвучали бессмертные звуки «Марсельезы», призывавшей всех граждан к оружию, и прежде чем прусская армия достигла французской границы, французская королевская власть 10-го августа 1792 года была низвергнута, и король со своею семьей был взят в плен. Правда, затем прусская армия вторглась во Францию, но трусливо повернула назад, когда при Вальми натолкнулась на войско, которое могло оказать ей серьезное сопротивление, хотя она далеко превосходила его численностью; благодаря суровой осенней погоде, непроходимой грязи Шампани и вследствие заразных болезней, она потеряла половину своего состава, прежде чем, совершенно разложившаяся, возвратилась на Рейн.

Во Франции по свержении королевской власти был избран национальный конвент, который, являясь теперь единственным сувереном, с беспримерной энергией развернул все силы страны, чтобы низвергнуть изменников внутри и врагов вне Франции. Он начал процесс против виновного короля и приказал казнить его 21-го января 1793 года; красным террором он подавил все феодально-реакционные элементы и, призвав под ружье массы, отбросил вражеские армии, которые в 1793 году почти вся Европа выдвинула против юной республики. Военно-техническое превосходство феодального войска было компенсировано новым способом ведения войны, усвоенным французскими добровольцами. Это были рабочие, крестьяне, ремесленники, которые боролись за свои собственные жизненные интересы, которых не приходилось палкой гнать в бой, как войска наемников, держать в закрытых лагерях, продовольствовать из складов. Они могли быстро продвигаться вперед, сражаться рассыпным строем, вести борьбу во всякой местности; они могли сами продовольствовать себя, так как

получали средства существования непосредственно от самого населения. Им была совершенно неведома язва всех наемных армий—массовое дезертирство.

Этот новый способ ведения войны дал французской революции способность к победоносному сопротивлению феодальной Европе. Прусское государство, смертельно истощенное, прежде всего вышло из страшной борьбы. Оно уже вполне разложилось, духовно и материально вконец обанкротилось, когда 5-го апреля 1795 года заключило в Базеле мир с Французской республикой.

Этим миром прусское государство предало своих феодальных союзников, и прежде всего—своего брата-союзника, австрийцев. Оно отказалось от своих владений на левом берегу Рейна, который уже был завоеван французами, но на случай всеобщего мира обеспечило себе компенсацию; с этой целью, как молчаливо предполагали обе стороны, следовало ограбить церковные государства на правом берегу Рейна. Наконец, по Базельскому миру была установлена так-называемая демаркационная линия, которая охватывала северную и среднюю Германию; французы обещали считаться с этой линией, если признавшие ее германские государства, в свою очередь, будут соблюдать строгий нейтралитет.

В составе той феодальной коалиции, которая выступила против революционной Франции, дух испустило прежде всего прусское государство. Пруссия отошла в сторону от великих мировых событий, чтобы предаться призрачному существованию под охраной трусливого нейтралитета, всеми ненавидимая и презираемая; после короткой схватки с революцией она была окончательно убита в интеллектуальном и моральном, в финансовом и военном отношениях, между тем как остальные феодальные державы еще долго могли продолжать борьбу.

3. Разгром Германской империи.

Господство якобинцев в Париже рухнуло еще раньше Базельского мира. Война возвела их к власти, но у них не было никакой склонности вести войну ради общества,

враждебно относившегося к ним. Чем беспощаднее устранили они феодальную эксплуатацию, тем сильнее давила их капиталистическая эксплуатация, которая с величайшей пышностью развертывалась по низвержению феодализма. Придушить ее и устранить ее устои сделалось на-ряду с отражением внешнего врага главной целью парижских революционеров.

Но таким образом они подходили к задаче, которая исторически еще не могла быть решена. Капиталистический способ производства шел еще по восходящей линии своего развития; еще отсутствовала всякая возможность заменить его высшим способом производства. Таким образом, якобинцы были вынуждены ограничиться насильственными вторжениями в экономическую жизнь, гильотинированием эксплуататоров, биржевых игроков и спекулянтов. Однако, чем больше голов отсекали они у гидры, тем больше выросло новых. Нисколько не помогло делу, когда якобинцы объявили революцию непрерывной и все сильнее обостряли красный террор, вынужденный у них войною. Благодаря этому только обострялась их противоположность со всеми остальными классами нации. Когда победа над внешними врагами была обеспечена, когда красный террор перестал представлять необходимость для спасения революции, он стал делаться все более невыносимым, как помеха экономическому развитию.

При таких обстоятельствах невозможно было предотвратить падение якобинцев. В июле 1794 года и в мае 1795 г. они понесли решительные поражения, от которых уже не могли оправиться. Но за ними навсегда останется та всемирно-историческая заслуга, что они спасли революцию и смели феодальное государство столь основательно, как это не удавалось ни в какой другой стране в мире.

Теперь у французской буржуазии руки были развязаны. Она организовала свое господство таким образом, что управление государством передала директории из пяти членов. Однако, так как уже не было людей, которые таскали бы для нее каштаны из огня, так как, напротив, ей надо было самой действовать, то она оказалась политически несостоятельной, что угрожало дать перевес феодальным силам.

Быстрый распад внутренних и внешних отношений был характерной чертой этого режима буржуазии.

Поэтому вся нация с великим восторгом приветствовала генерала Наполеона Бонапарта (1769—1821 г.), когда он совершил государственный переворот 18-го брюмера (9-го ноября) 1799 года, разогнал неспособное правительство директории и сделался военным диктатором, сначала в качестве первого консула Французской республики, а с 1804 года—императора Франции. Было бы поверхностно, следуя за ходячим либерализмом, называть государственный переворот 18-го брюмера попросту изменой делу свободы и считать его пружиной исключительно честолюбие гениального авантюриста. Свою силу Бонапарт почерпал из наследия французской революции, которое он начал ликвидировать во внешних и во внутренних отношениях. Как ни велик был его военный гений, он не обманывался на тот счет, в чем коренится его историческое право на завоевания: повсюду, где прошли его победоносные орлы, он проводил буржуазные реформы.

Прежде всего, в 1801 году ему удалось принудить германского императора к заключению мира. По этому миру, который был заключен 9-го февраля 1801 года в лотарингском городке Люневиле, император от имени Германской империи отрекся от левого берега Рейна, от которого уже отреклась Пруссия по Базельскому миру. Путь, пролегающий по долине Рейна, впредь должен был сделаться границей между Французской республикой и Германской империей. Территория в 1150 квадратных миль почти с 4 миллионами жителей,—около одной седьмой населения империи, была потеряна Германией. Далее Люневильский мир возложил на императора обязательство пожертвовать существовавшим до того времени строем империи; светские государи левой стороны Рейна должны были получить компенсацию внутри империи за счет церковных областей.

Здесь между германскими государами начался позорный торг из-за областей. Употребляя выражение Трейчке, рой голодных мух набросился на кровавые раны родины. Утратив всякий стыд и совесть, они спешили в Париж, чтобы, подкупив французских министров, обеспечить себе по воз-

возможности крупные клочки земли. Прусское государство приняло алчное участие в этом отвратительном торге, между тем как Австрия, которой хотелось по возможности больше спасти от духовных государств, предложила бросить в распределяемую массу и имперские города. Сволочные монархи с великим восторгом встретили это предложение, но оно не утолило их алчности, возбуждавшейся церковными имениями.

После того, как Бонапарт свыше года наблюдал этот отвратительный шабаш, и после того, как германский имперский сейм в Регенсбурге оказался совершенно неспособным усмирить стаю рыскающих волков, Бонапарт договорился с Россией относительно нового устройства германских дел. По франко-русским предложениям, регенсбургский сейм так называемым главным постановлением имперской депутации от 23-го февраля 1803 года уничтожил не менее 112 германских государств; от церковных областей и имперских городов сохранились только жалкие остатки,—три государства и шесть имперских городов. Из добычи Австрия получила ровно столько же, сколько она потеряла; с большей щедростью отнеслись к Пруссии, так как франко-русские интересы требовали сохранить занозу в теле Австрии. Больше всего получили Бавария, Вюртемберг и Баден, из которых Бонапарт хотел создать для себя послушные вассальные государства, чтобы с их помощью господствовать над южной Германией.

В том же 1803 году французские войска уже заняли часть и северной Германии, именно курфюршество Ганноверское, связанное личной унией с королевством Англией. Прерванная на короткое время Амьенским миром (11-го октября 1801 года), жестокая война между Англией и Францией все еще продолжалась. Как нации, наиболее развитые в экономическом отношении, Англия и Франция вели борьбу за господство на мировом рынке. Никаким мирным договором нельзя было устранить эту противоположность интересов: ее могла устранить только победа той или другой нации. Захват Ганновера французскими войсками преследовал ту цель, чтобы блокировать эту страну, являвшуюся воротами, через которые английские товары ввозились на

европейский континент; но тем самым нарушалась демаркационная линия, соблюдать которую обязалась Франция по Базельскому мирному договору с Пруссией. Однако, в Берлине не нашлось мужества для того, чтобы заявить серьезный протест против этого вызывающего нарушения договора.

Напротив, английскому правительству удалось подстрекнуть Австрию и Россию к войне против Франции. В апреле 1805 года составилась новая коалиция, которая по реакционности не уступала своим предшественницам. Однако, три державы по прежним урокам уже знали, насколько трудно было победить Францию, и потому они старались привлечь к своему союзу прусское государство в качестве четвертого члена. Прусское правительство почувствовало себя в самом затруднительном положении. Оно не хотело портить своих отношений с Францией, но не хотело портить отношений и с англо-австро-русской коалицией. По-прежнему неспособное вести ясную и последовательную политику, оно хотело извернуться посредством жалких мошеннических приемов.

Когда царь пригрозил, что он прикажет своим войскам двинуться через территорию Пруссии, оно мобилизовало армию, а когда Наполеон, не спрашиваясь у Берлина, сделал то самое, чем царь только грозил, когда он, действительно, приказал своим войскам маршировать по прусской территории, прусский король обещал царю свою помощь. Он отправил к Наполеону графа Гаугвица с угрозой войны, но когда посол прибыл на место, Наполеон в битве при Аустерлице 2-го декабря 1805 года уже нанес решительное, полное поражение соединенным австрийцам и русским, и прусский посол поспешил заключить с Наполеоном оборонительный и наступательный союз, на что прусский король дал свое согласие. Более жалкой, трусливой и недостойной политики еще не вело ни одно государство.

Ее первым следствием было то, что 26-го декабря 1805 года Австрия была вынуждена заключить Шенбрунский мир. По этому миру Австрии пришлось согласиться на уступку территории в 1140 квадратных миль с населением почти в 800.000 человек. Большую часть получили опять-

таким Бавария, Вюртемберг и Баден; вдобавок к этому Наполеон милостиво даровал Баварии и Вюртембергу королевскую корону; им, а также курфюршеству Баденскому, был предоставлен полный суверенитет, как в этих новых территориях, так и в прежних владениях.

Это было начало Рейнского союза, конец Германской империи. Наполеон оставил свои войска в южной Германии, чтобы в зародыше задавить всякую попытку противодействия со стороны Австрии и Пруссии. Затем он приступил к тому, чтобы уничтожить последние остатки устройства империи, еще сохранявшиеся согласно постановлению имперской депутации; он решил, в интересах небольших южно-германских государств, которые никогда не могли представлять опасности в качестве противников Франции, но могли быть очень полезны в качестве ее вассалов, смести с лица земли множество мелких имперских князей, графов, сеньоров и рыцарей на юге и западе Германии. Снова начались поездки германских государей в Париж за милостивыми подачками, и некоторым мелким, карликовым деспотам удалось спастись путем подкупа французских министров. Но массу их постигла суровая судьба. Крошечные государства, еще сохранявшиеся на юге и западе, должны были прекратить свое существование. Территория общей площадью в 550 квадратных миль почти с 1¼-миллионным населением была поделена между шестнадцатью германскими государями, которые в 1806 году отреклись от империи, объявили все имперские законы аннулированными для себя и образовали Рейнский союз, протектором (покровителем) которого они признали французского императора. Во главе этих государств стояли Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт. Таким образом, древняя Германская империя приказала долго жить; 6-го августа 1806 года германский император Франц, объявив себя австрийским императором, возвестил, что «звание верховного главы империи» перестало существовать.

За разгромом империи последовал разгром старо-прусского государства. Оно стяжало такое презрение, что весь мир наделял его пинками, в том числе и его теперешний союзник Наполеон. После одного особенно грубого удара

В лицо прусский король решил, что мобилизацией войск он запугает своих мучителей, но вместо того только уготовал свою собственную погибель. Уже приготовления к войне в ужасающей мере раскрыли полное разложение прусского государства; оно было окончательно уничтожено двойным поражением 14-го октября 1806 года при Иене и Ауэрштедте.

Последовала постыдная капитуляция крепостей. Почти повсюду, за совершенно ничтожными исключениями, коменданты из помещиков обнаружили трусливый и изменнический дух. Бюрократия государства пережила такой же позорный крах, как офицерский корпус; в письмах, преисполненных собачьего пресмыкательства, король умолял победителя о пощаде, но это не остановило неукротимого победоносного шествия французских войск.

Приговор постиг прежде всего мелких государей северной Германии, как ни клянчили они о пощаде. Правда, с ними обошлись все же лучше, чем перед тем с государями южной и западной Германии. Присоединившись к Рейнскому союзу, почти все они спасли свое существование; Наполеон, захваченный мировыми планами, которые он преследовал в неокончившейся войне с Англией и Россией, мало интересовался этим второстепенным делом. Впоследствии он полагал, что здесь он был впервые обманут; если бы он знал, что выйдет из Липпе, Рейса и Вальдека, он все их уничтожил бы, благодаря чему у него, несомненно, было бы больше одной лишней заслугой перед германской нацией.

Из этих северо-германских государей благополучнее всех вышел из беды король Саксонии; он во-время отпал от Пруссии и таким образом снискал благоволение Наполеона, который милостиво наградил его королевским саном.

4. Прусские реформы и освободительные войны.

Внутренне прогнившее и неспособное само себя реформировать, под ударами французского завоевателя прусское государство бесповоротно рухнуло. Так завершалось иноземное господство над Германией; но оно оказалось благо-

детельнее для Германии, чем все прусские победы при Фер-беллине и Седане. Оно ввело Германию в ряды современных культурных народов.

Тем не менее, буржуазные историки просто прикрашивают, когда они уверяют, будто прусский король и помещики были охвачены раскаянием и стыдом, увидя ужасающие последствия своих многолетних и многовековых грехов, и по свободному решению приступили к так-называемому Штейн-Гарденберговскому законодательству, которое, будто бы, сверх всего прочего имеет перед бурной чисткой, произведенной французскою революцией, еще и все преимущества мирной и легальной реформы. В действительности не было ничего подобного. Напротив, король, бежавший до самого Мемеля, 3-го января 1807 года с ругательствами и позором выгнал со своей службы барона Штейна, единственного из своих министров, который еще до Иены настойчиво требовал внутренних реформ и затем, когда разразилась катастрофа, держал себя, как разумный и мужественный человек.

А пока-что прусский деспот положился на русскую помощь, которую царь и предоставил ему, конечно, не ради короля, а ради себя самого. Царь имел все основания встретиться, когда французская армия в победоносном преследовании прусских войск продвинулась до русских границ; он вел войну в Восточной Пруссии только затем, чтобы превратить прусскую пограничную провинцию в пустыню и таким образом помешать французской армии перейти через русскую границу. С другой стороны, Наполеон, одержав победу над целой Германией, достиг зенита своей военной карьеры. Он победоносно прошел через область старой европейской культуры и теперь остановился перед границами колоссального царства, первобытное варварство которого еще невозможно было сломить. Наследник французской революции стоял перед грехопадением, и он сделал роковой шаг, который отныне должен был повести его по нисходящей линии: по Тильзитскому миру (7-го июля 1807 года) он вступил в союз и дружбу с царем, чтобы поделить с этим представителем азиатского деспотизма господство над миром.

Издержки по этой дружбе пришлось нести в первую очередь прусскому королю. Он был в одинаковой мере и предан своим русским союзником, и наказан французом-врагом. По Тильзитскому миру он должен был отдать половину своей территории: части прежней Польши, из которых Наполеон создал герцогство Варшавское, отданное им саксонскому королю, и провинции к западу от Эльбы, которые составили ядро нового королевства Вестфалии, отданного брату Наполеона Жерому. Это были две острые шпоры, которые завоеватель вонзил во ввалившиеся бока старопрусского государства. В обоих вновь созданных государствах были проведены буржуазные реформы, и в частности было покончено с вассальными и крепостными отношениями. В связи с этим Наполеон приказал прусскому королю возвратить барона Штейна, только-что прогнанного со службы с ругательством и позором, и поручить ему верховное руководство прусскими делами.

Штейн (1757—1831 г.) лишь немногим более года, с октября 1807 до ноября 1808 года, стоял во главе прусского государства. Это не был революционер и не был даже просто либерал в современном значении слова; это был в сущности не только дворянин, но и друг дворянства. Но он пришел с более культурного запада и кое-чему посмотрелся в мире. Свой идеал аристократического управления он нашел в Англии; понятно, что Штейн далеко возвышался над юнкерством (помещиками) к востоку от Эльбы. И если его реформы не отличались широким размахом, у него было достаточно энергии и сил для того, чтобы вообще провести эти реформы вопреки тупоумию короля и упорному классовому эгоизму помещиков.

Это были две главных реформы: новое городское устройство и так-называемый октябрьский эдикт,—эдикт 9-го октября 1807 года. Городское устройство для своего времени представляло значительный шаг вперед; оно отдавало городам управление их финансовыми делами, их школьное дело и попечение о бедных. Центром городского управления оно сделало собрание городских гласных, которых должны были избирать граждане на основе хотя и не всеобщего, но ограниченного незначительным цензом избирательного пра-

ва, притом равного и тайного, и свело наблюдение со стороны государства в сущности к проверке правильности городских выборов. В этих важнейших для Штейна пунктах его городское устройство превосходит даже современное, которое за сто лет пересматривалось лишь с целью попятных шагов: пересматривалось и таким образом, что государственные функции надзора разработаны в направлении большей придирчивости, и таким образом, что горожане при всем их прославленном самоуправлении все еще не завоевали всеобщего избирательного права, а, напротив, допустили надувательство в отношении равного и тайного избирательного права.

Что касается октябрьского эдикта, в нем два главных пункта. Во-первых, он устранил в прусском государстве прежние перегородки между наследственными сословиями, разрешив помещикам заниматься промышленностью и торговлей, а горожанам и крестьянам—приобретать дворянские имения; благодаря этому было достигнуто превращение кастового государства в классовое государство, в котором основой классов является тождественность экономических интересов. А затем октябрьский эдикт устранил так называемое наследственное подданство крестьянства; это было не столько освобождением сельского работника от феодальных цепей, сколько превращением его из объекта феодальной в объект капиталистической эксплуатации. В то время, как законодательство французской революции дало крестьянину не только личную свободу, но и свободу собственности, октябрьский эдикт ограничился свободой личности, да и ту чувствительно сузил, с одной стороны, уставом о прислуге, который скандальным образом существует еще и в настоящее время, а с другой стороны, сохранением помещичьих судов и полиции. Напротив, крестьянская собственность по-прежнему должна была оставаться в тисках всех реальных повинностей, всех этих барщин и служб, всех денежных и натуральных оброков, коротко говоря, всей бездны феодальной грязи, которой помещики в течение столетий силой и хитростью облекли существование крестьянского класса.

Если рассматривать октябрьский эдикт под углом зрения

освобождения крестьян, он плелся в хвосте за английским, итальянским, голландским, швейцарским, датским, а в пределах Германии за австрийским, шлезвиг-голландским, баденским законодательством. И прежде всего он не шел ни в какое сравнение с законодательством французской революции. Это робкое начало освобождения крестьян было скорее на пользу, чем во вред помещикам. Недаром один новейший историк говорит, что эдикт поставил крестьян в самое опасное положение, в каком они находились когда бы то ни было. Крестьяне могли лишь в скудной мере воспользоваться свободой передвижения; напротив, помещики могли прогнать их с земельного участка и присоединить его к своему рыцарскому имению; зависимые крестьяне, продолжает тот же историк, благодаря эдикту, превратились в неимущих поденщиков.

Все же помещики при своем тупом своекорыстии встретили эдикт ненавистью, тем более, что они узнали, что Штейн не думает остановиться на этом. Штейн был заклятым врагом сноса крестьянских дворов. Замки восточно-прусских благородных людей, прогнавших своих крестьян с земли вместо того, чтобы улучшить их положение, он часто сравнивал с логовищами хищных зверей, которые все опустошают вокруг себя и наслаждаются тишиною кладбища. Следовало устранить министра с такими опасными воззрениями, и помещики устранили его самым низким способом: они передали французской полиции письмо, в котором он говорил о своей вражде к французам. Прикрываясь на этот раз гневом Наполеона, жалкий король вторично дал отставку министру, которого он боялся не менее, чем помещики.

Таким образом, победа опять осталась за помещиками, но в конце-концов оказалось, что лбом стены не прошибешь. Министерство посредственностей, назначенное после второй отставки Штейна, в течение года дошло до полного банкротства. Оно было не в состоянии достать средства на военную контрибуцию, которую приходилось выплачивать Франции, а королевство Вестфалия, благодаря проведенным в нем буржуазным реформам, сделалось слишком опасным соседом и соперником. В июне 1810 года Гарденберг

(1750—1822 г.) сделался главным министром. Подобно Штейну, он не был пруссаком по происхождению и обладал некоторым буржуазным образованием; его скорее, чем Штейна, можно было бы назвать либералом в современном значении слова. Поверхностный и гибкий, он в открывшийся теперь второй период буржуазных реформ просто копировал образец, каковым для него являлось королевство Вестфалия. Его промышленное и налоговое законодательство, его эдикт о жандармерии, его эмансипация евреев и т. д., иногда в уродливом виде, подражали вестфальскому законодательству. Король Жером сделался образцом для этого прусского реформатора. Гарденберг тоже был бельмом на глазу для помещиков; один раз он без всякого приговора и не считаясь с законами отправил в Шпандау некоторых из их вождей, но они примирились с ним, потому что либеральными приемами он устраивал их же дела.

Такое значение имел в особенности эдикт о регулировании 14-го сентября 1811 года, который, будто бы, должен был урегулировать крестьянско-помещичьи отношения. Он нисколько не посягал на политические привилегии рыцарских имений, и хотя дал крестьянам обещание несколько упорядочить их имущественные отношения, но дал исключительно с той целью, чтобы поднять их на борьбу против французов. Как только удалось выбить врага из страны, крестьяне были жестоко ограблены посредством 121 статьи, которые 29-го мая 1816 года были изданы в «разъяснение» эдикта 1811 года о регулировании. Согласно этим статьям, все безлошадные крестьяне, т.-е. подавляющая масса, бесправные и беззащитные, были отданы на произвол помещиков, а меньшинство, имеющие лошадей крестьяне, принесли колоссальные жертвы земель и деньгами, могло приобрести некоторую долю той земли, которою их предки владели, как свободные люди. Потребовалась революция 1848 года для того, чтобы уничтожить, наконец, все феодальные привилегии, и все это устройство прусских крестьян фактически закончилось только в 1865 году. Потребовалось два поколения, чтобы в бесконечно более жалкой мере достигнуть того, что французская революция во вся-

ком случае провела в одну ночь. Величайшая прибыльность операции, сделанной помещиками посредством эдикта о регулировании 1811 года и декларации 1816 года, вполне достаточно объясняет, почему они с известной спиходительностью смотрели на либеральные прегрешения автора этих законов.

Но как бы жалки и частичны ни были прусские реформы, проведенные после битвы при Иене, ни один атом из того, что было в них хорошего, нельзя отнести на счет свободного решения и дальновидности королевской власти и помещиков. Они, скрежеща зубами, подчинялись неумолимому давлению обстоятельств. Иноземное господство и их душило своей тяжестью. В 1807—1812 годах Пруссия выплатила Франции более миллиарда военной контрибуции: прямо сказочная сумма для нищенски бедного народа в три миллиона душ. Но если приходилось помышлять о том, чтобы как-нибудь сбросить иностранное господство, то для этого требовались военные реформы, необходимой предпосылкой которых были опять-таки буржуазные реформы.

Главным сторонником военной реформы был Шарнгорст (1755—1813 г.). Он, как Штейн и Гарденберг, не был прирожденным пруссаком и не был даже помещиком. Он был родом из одной ганноверской крестьянской семьи; как у крестьянина, у него было, так-сказать, прирожденное понимание современного способа ведения войны. Юнкера тоже не выносили его, хотя и не в такой степени, как Штейна. Далеко не такой гибкий, как Гарденберг, Шарнгорст должен был с настойчивостью ниже-саксонца проводить свои планы и, среди неопикуемых трудностей, во всех частях реорганизовать прусскую армию по образцу французского войска.

С большей основательностью, чем в Пруссии, были проведены буржуазные реформы в странах Рейнского союза и всего основательнее на левом берегу Рейна, который находился непосредственно под французским господством. Но по мере того, как иноземное господство приводило к буржуазным реформам, оно утрачивало историческое оправдание. С того времени, как Наполеон вступил в союз с русским деспотом, чтобы поделить с ним господство над миром, он сам

потерял право называться освободителем народов. На долю обоих досталась роль обманутых обманщиков. Когда, наконец, они уразумели это, возникла франко-русская война 1812 года, которая потом поведет к освободительным войнам. В них объединившаяся Европа сломила, наконец, военную диктатуру Наполеона. Он был лишен престола в первый раз в 1814 году, вторично и окончательно—в 1815 году. Франция должна была расстаться со всеми его завоеваниями, и двадцатилетняя эра революционных войн завершилась победой старой Европы.

Конечно, несмотря ни на что, это была уже не старая Европа. Плуг революции слишком глубоко вскопал ее почву вплоть до снежных русских полей. Возврат к тому положению, которое господствовало до 1889 года, был невозможен. Самым убедительным свидетельством в этом отношении были те ошеломляющие фразы о свободе, которыми как прусский, так и русский деспоты гнали на борьбу свои армии. В калишском воззвании они обещали создать свободную и самостоятельную Германию, а прусский король посулил своим подданным, если они спасут его корону, даже настоящую конституцию.

Если же государи, добившись победы, сумели бесстыднейшим образом нарушить свои обещания, то это показывает, что характер войн был двойственный. Если народы низвергали в них иноземного деспота, то государи—преемника буржуазной революции, и если затем последовало не восстановление старой Европы, то во всяком случае наступила гнилая и давящая реакция.

5. Реставрированная Германия.

Своей социальной эмансипацией, поскольку она была достигнута, буржуазный класс Германии был обязан иноземному господству, разрушившему его национальное существование. Буржуазия должна была вести борьбу против своего освободителя, но могла вести ее, только служа своим угнетателям; она помогла реакции одержать победу, но ничего не получила от плодов этой победы.

Вместо свободной и самостоятельной Германии, кото-

рую русский царь и прусский король обещали в своем калишском воззвании, получился Германский союз, истинное издевательство над германским единством. Германия осталась расколота на тридцать деспотий, из которых самая мелкая была столь же суверенна, как самая крупная. Союзный сейм во Франкфурте-на-Майне, в который государи посылали своих представителей и который заставил замолчать германскую нацию, как немую, выполнял только одну национальную задачу: он был для деспотов общим палачом по отношению к народу и быстро стяжал презрение всего цивилизованного мира.

Некоторые попытки мужественного сопротивления исходили только из рядов буржуазной молодежи, которая создала буршеншафт (студенческий союз) при германских университетах. Но буршеншафт оставался аванпостом, за которым не было никакой армии, да и у него самого не было ясного классового сознания. В буршеншафте переплетались средневековые грезы об императоре и империи с яростью якобинца, который сжимает в руке кинжал мстителя, направленный против вероломных государей и их пособников. При такой туманности воззрений член буршеншафта Занд убил кинжалом русского шпиона Коцебу, который был бесстыдным, но совершенно неопасным оружием царя. Политически бессмысленный акт пришелся очень кстати деспотической реакции, которая уже давно была настороже. Карлсбадские постановления (1819 г.) положили начало разнузданной позорной травле против так-называемых демагогов, и эта травля задушила все зародыши политической жизни в пределах Германии.

Чрезмерность политической реакции, душившей германскую буржуазию, находит объяснение в недостаточности ее экономического развития. В городах жило еще менее трети всего населения, и, как ни упало ремесло, ему все еще принадлежала здесь преобладающая роль. До 1830 года оно находилось все на той же ступени, как и в 1800 году. Во второй половине этого периода оно кое-как залечило раны, нанесенные ему в первой половине бедствиями бесконечной войны. Оно по примеру праотцев работало на местных потребителей, чуждое всякому техниче-

скому прогрессу, в производствах настолько карликовых размеров, что мастеров было почти столько же, как подмастерьев; поэтому здесь не было напряженных социальных противоречий.

Правда, среди подмастерьев все же пробуждалось нечто в роде смутного классового сознания. Суровость, с какою—в особенности прусский—ремесленный устав противодействовал всякому проблеску их самостоятельной жизни, превращала их в беспокойный педовольный элемент, а благодаря цеховому принуждению к странствованиям они знакомились с передовыми заграничными странами, которые достаточно ярко отличались от отечественного гнилья. Многие подмастерья так и оставались за границей, другие возвращались на родину с более широкими воззрениями. Что касается ремесленных мастеров, то новое городское устройство в прусском государстве не могло разом пробудить их от летаргического сна, в который их погрузило многовековое угнетение. Привыкнув к эксплуататорской практике цехов, они видели в городском устройстве просто компенсацию за то, что отняла у них свобода промышленности, и грабили городские имущества ради своекорыстных целей.

Южно-германские мелкие буржуа казались более подвижными, чем северо-германские, но это была скорее видимость, чем действительность. Небольшие южно-германские государства сохраняли верность Наполеону, своему основателю, пока они могли сохранять ее под угрозой немедленной гибели, а по его падении они постарались посредством конституционного устройства укрепить свои наскоро сколоченные и все еще очень шаткие троны. Однако, как бы широко вещательно ни выступал этот южно-германский конституционализм, с ним нельзя было далеко уйти. За его словами не следовало и не могло последовать никаких дел. Он был просто своего рода погремушкой. В своих ландтагах южно-германские государи хотели создать противовес влиянию Австрии и Пруссии на союзный сейм, но в то же время они могли уверенно рассчитывать на содействие союзного сейма в том случае, если бы ландтаги вдруг проявили несговорчивость. Эти при-

Значные учреждения породили в южно-германской мелкой буржуазии партикуляристскую, мелко-государственную, кантональную политику, которая, несмотря на все ее демократические жесты, ничего не изменяла в том, что внутренне она была реакционной политикой: все ее усилия клонились к тому, чтобы обособить развитие Германии от великого исторического потока.

Правда, на-ряду с ремеслом, которому принадлежал перевес, в Германии не было недостатка и в зачатках капиталистического способа производства. Несмотря на всеобщее обеднение, в старых торговых и приморских городах еще сохранились более или менее значительные остатки капитала. Затем ненасытная потребность деспотизма в деньгах, растущие налоговые тягости, растущие государственные займы, хозяйство, построенное на монополиях, привилегиях и протекционизме, а ко всему этому еще неисчислимые миллионы, которые доставались более крупным деспотам от массовой продажи сынов их отечества в иностранные армии,—все это сделалось рычагом капиталистического способа производства; а пролетаризация крестьян, драконовские меры против обычая понедельничанья, решительное общее сокращение количества церковных праздников доставили человеческий материал, необходимый для превращения мускулов и нервов в прибавочную стоимость.

Но германский капитализм далеко отставал от французского и в особенности от английского. Он мог выдерживать подавляющую конкуренцию последнего на мировом рынке только благодаря голодной заработной плате и мелкому торговому надувательству. Его широким базисом оставалась домашняя промышленность, которая является и старейшей и наиболее отсталой формой капиталистического способа производства. Капитал или внедрялся в трещины цехов и разрушал их прогнившее здание,—отдельные ремесленники превращались в капиталистических скупщиков, а большинство—в наемных рабов домашней промышленности; или же капитал кидался в деревню, где он находил свободу от стеснительных ограничений, все еще налагаемых цехами, набрасывался на независимых

крестьян, которых помещики уже лишили способности к сопротивлению, на карликовых крестьян, которые жили на жалких участках в областях с малоплодородной почвой и сильным феодальным землевладением и, не имея возможности существовать одним земледелием, уже давно искали подсобных заработков в прядении и ткачестве, в производстве из дерева более или менее художественной домашней утвари. Вершины и склоны всех гор Германии были в особенности густо усеяны домашне-промышленными рабочими с их страданиями.

В восточной Германии провинция Силезия и королевство Саксония были средоточиями капиталистического способа производства. Силезское льняное производство было организовано, как домашняя промышленность, построенная на феодальной основе. Все ткачи, свободные и несвободные, должны были уплачивать помещикам ткацкой оброк. Но свободные составляли меньшинство, подавляющее большинство были прикрепленные к поместьям крестьяне, и, кроме ткацкого оброка, они должны были отбывать еще феодальные оброки и службы. Уже в 18-м веке их начала давить британско-ирландская конкуренция, а в 19-м веке с этой стороны им стал угрожать второй, еще более сильный удар: борьба уже не только свободного рабочего против несвободного, но и борьба машины против руки. Надвигались времена, когда силезские ткачи, по словам автора одного официального донесения, сделались, «может-быть, самыми злополучными обитателями во всей Европе».

Королевство Саксония тоже еще крепко было опутано феодальными цепями. В саксонских городах еще не было устранено цеховое устройство. Саксонский король, как добровольный союзник Наполеона, сумел оберечь свою страну от благотворной встряски, связанной с французским завоеванием; когда же он, в наказание за свою верность французам, должен был половину своей территории отдать Пруссии, он и его преемники помышляли о чем угодно, но только не о буржуазных реформах, как бы настоятельно ни требовало их капиталистическое развитие страны. Лейпцигские ярмарки сделались для всей Европы

крупным рынком сначала французских, а затем и английских мануфактурных товаров, и разнообразнейшие отрасли текстильной промышленности достигли высокого расцвета. Мелкие прядильные машины для хлопка вводились уже с конца 18-го века, но еще долго, до половины 19-го века, совершенно не применялось механических ткацких станков. Преобладание принадлежало домашней промышленности, и господствовавшая в ней голодная заработная плата пользовалась широкой и позорной известностью; картофель и пикорный отвар составляли всю пищу домашних рабочих в Рудных горах.

Но если промышленные центры восточной Германии все еще более или менее сидели в феодальном болоте, то центры промышленности в западной Германии почти достигали уровня современного буржуазного общества. В Рейнской провинции Пруссии промышленность была более развитая и разнообразная, чем в Силезии и даже в Саксонии; эта провинция превосходила Силезию и Саксонию и в том отношении, что, начиная с 1795 года, она проделала буржуазно-освободительное законодательство французской революции. На Рейне были представлены почти все отрасли промышленности, и они давали работу населению настолько плотному, как ни в какой другой части Германии. Рейнская промышленность выделялась и в том отношении, что в ней уже рано стало распространяться мануфактурное и машинное производство. Первая для Германии механическая прядильная машина, поставленная в 1783 году одним эльберфельдским фабрикантом, приводилась в движение силой воды.

Быстро растущий пролетариат на Рейне уже начал испытывать все страдания, которые несет современная крупная промышленность для эксплуатируемых ею слоев рабочих; приносила она между прочим и самое страшное избиение младенцев. Но берлинское правительство ко всему этому было глухо и слепо. Оно только по мере своих сил старалось низвести более развитую Рейнскую провинцию на уровень провинций к востоку от Эльбы, и потребовалась повторная французская революция для того, чтобы пробудить в Германии общественную жизнь.

б. Царство эстетической видимости.

В годы революционных войн, но в резком антагонизме с ними, классическая литература и философия достигли своего высшего уровня. По возвращении Гёте из Италии, в которую он бежал от гнетущей узости германской жизни, на него опять навалилась тяжесть скудоумного филистерства, в особенности когда он по чувству долга вступил в брак с одной работницей,—здоровой и красивой дочерью природы,—что послужило поводом к отвратительным сплетням придворного общества.

Но скоро выдвинулись более глубокие конфликты, которые затронули его существо до самых сокровенных глубин. Когда вспыхнула французская революция, бури внешнего мира ворвались в искусственно отгороженный мир красоты, который он построил для себя, и он с отвращением отвернулся от революции, не обнаружив ни малейшего следа исторического понимания, которым обладали и несравненно более мелкие люди из числа его современников в Германии. Пошлые фарсы, в которых Гёте хотел высмеять французскую революцию, еще более омрачают его поэтическую славу, чем даже маскарады и бессодержательные вирши, которые он сочинял к придворным торжествам в Веймаре.

Но что в половине восьмидесятых годов сделало для Гёте путешествие в Италию, то в половине девяностых годов сделала дружба с Шиллером. После своих юношеских революционных драм Шиллер усомнился в своем поэтическом призвании и первым делом набросился на изучение истории, что дало ему место экстраординарного профессора в иенском университете, со скудным окладом в 200 талеров в год. Занимая эту нищенскую должность, он женился на бедной девушке дворянского происхождения. Благодаря непрестанному чрезмерному труду, его здоровье в 1791 году окончательно надломилось, и он был бы потерянный человек, если бы к нему не пришла помощь извне, из Дании: наследный принц Августенбург-

ский и министр Шimmelман выбросили ему на три года содержание по тысяче талеров в год, под тем единственным условием, чтобы Шиллер основательно оправился от своей болезни.

Несколько месяцев спустя, к нему пришло другое известие из-за границы: в августе 1792 года парижское национальное собрание даровало ему, одновременно с Вашингтоном, Песталоцци, Клопштоком и другими, права почетного гражданина Французской республики. Это ужаснуло герцога веймарского, что не произвело особенного впечатления на Шиллера. Но когда в Париже началось господство якобинцев, революционный дух оставил и Шиллера. В первое время он хотел написать сочинение в защиту взятого в плен короля Франции, странным образом воображая, будто он произведет таким образом некоторое впечатление на «беспутные» головы в Париже. Когда же, — прежде чем он закончил свое сочинение, — виновная голова короля пала под ножом гильотины, Шиллер заявил, что у него остается только отвращение к этим жалким палачам. Таким образом, самый смелый представитель бури и натиска в Германии поник в ужасе, когда он увидел перед собой подлинную, живую буржуазную революцию.

Неспособный понять французскую революцию, Шиллер бросился в объятия ее бледного отражения, кантовской философии. Он не был безусловным поклонником Канта и в частности не хотел и слышать о его нравственном учении; он дал философии Канта такой своеобразный оборот, что подобно тому, как Кант поставил царство искусства в качестве связующего звена между царством природы и царством свободы, так он из абсолютистско-феодального стихийного государства по мосту эстетической культуры хотел достигнуть государства буржуазной свободы.

С очень большой силой Шиллер изложил эти мысли в своих письмах об эстетическом воспитании. Нельзя не признать, что он с радикальной решительностью делал здесь выводы из прав буржуазного разума, клеймил господство насилия, упрекал трусливо подчиняющихся ему в том, что они отвергают человека в себе, выступал против та-

кого расширения права собственности, при котором части человечества может угрожать голод, открывал перспективу будущего общества, в котором позднейшие поколения, пользуясь блаженством досуга, могут заботиться о своем моральном здоровье и содействовать свободному росту своей человечности.

Однако, Шиллер не хотел и слышать о борьбе между «низшими и более многочисленными классами» с «их грубыми и незаконными инстинктами» и между «цивилизованными классами» с их беспринципностью и вялостью, представляющей еще более отталкивающую картину; разносторонняя культура человеческих сил представлялась ему единственной возможностью для того, чтобы создать счастливых и совершенных людей, и он окончательно потерял почву, стараясь открыть путь, который привел бы от эстетически прекрасного к политической свободе. Он полагал, что перед судом опыта этот вопрос не находит решения. Его богатые мыслями рассуждения не приводят к политическому государству,—они не выводят из царства эстетической видимости, в котором только и осуществляется идеал равенства, между тем как мечтатель хотел бы осуществить его и в действительности. А на вопрос, где же существует такое царство эстетической внешности, Шиллер мог ответить только одно: подобно чистой церкви и чистой республике, его можно найти только в некоторых избранных кругах. Следовательно, по признанию самого Шиллера, этот эстетико-философский идеализм был только забавой, которая дает возможность избранным умам позлащать печальные стены своей тюрьмы.

Но вот теперь в царстве эстетической видимости Гёте и Шиллер встретились после того, как они, не приходя в ближайшее соприкосновение, шесть лет прожили по соседству: Гёте—министром в Веймаре, Шиллер—профессором в Иене. Жизненные пути обоих долго шли с двух совершенно противоположных сторон, пока, наконец, не привели к встрече. Гёте принадлежал к господствующим классам своего времени. Его бунт против бедственного положения Германии был бунтом гениального художника против тупого мещанства; даже когда он бунтовал, он не

потрясал социальных отношений своего времени. Шиллер же, как поэт, вырос именно в борьбе с этими отношениями и, когда он перестал чувствовать то недостойное иго, против которого восставал снова и снова, он усомнился в своем поэтическом призвании. Гёте всегда оставался великим художником, который мог жить и творить только в атмосфере искусства. Шиллер, в конце-концов, принадлежал к числу тех буржуазных просветителей, которые в области эстетики, истории, философии, поэзии искали острого оружия против феодального мирозерцания. Один буржуазный историк литературы метко говорит об обоих поэтах: Гёте находит свой материал, Шиллер ищет его.

Первая дружеская встреча обоих поэтов произошла летом 1794 года, когда Шиллер предполагал приступить к изданию большого ежемесячника, который должен был объединить первоклассные литературные силы Германии, и просил Гёте о сотрудничестве. Журнал назывался «Die Horen», и характерно для той эпохи, что он исключал со своих столбцов все, что напоминало о политике или религии. В известном смысле он должен был осуществить царство эстетической видимости. Но немедленно обнаружилось, что это царство действительно ограничивалось лишь немногими избранными умами. Хотя «Die Horen» привлекли лучшие литературные силы,—кроме Гёте и Шиллера таких людей, как Фихте и Гердер,—однако, они совершенно не пошли у большой публики и уже по истечении трех лет должны были прекратиться. В свое время Лассаль говорил о буржуазном классе Германии, что великие поэты и мыслители пролетают над ним, как журавли; это было правильно уже для того времени, когда Гёте и Шиллер создавали свои шедевры. В этот же период они повели борьбу при помощи эпиграмм, превратившуюся в уничтожающий суд над литературной нищетой Германии. После этого безумно-смелого дела они, как говорил Гёте, решили отдаться созданию только великих и достойных художественных произведений. Последовало соревнование в творчестве баллад, затем Гёте выступил со своей прекрасной поэмой «Герман и Доротея», а Шиллер—со своей величавой трагедией «Валленштейн».

Стихи Гёте в полном совершенстве слили античную форму с современным духом. Поэт вступил в гущу мелкобуржуазных сфер, которые в течение столетий были средоточием германской жизни, и раскрыл здесь доподлинные неиссякаемые силы, которые, среди всех бедствий и смут своего времени, спасали немецкое имя для великого будущего.

В «Валленштейне» Шиллер создал свой драматический шедевр. Он намеревался, покинув старый путь, от буржуазной жизни подняться на более высокую арену. Можно было бы спорить, разыгрывается ли действие «Валленштейна» на более высокой арене, чем действие «Коварства и любви». Буржуазная драматика, почвенно развившись и развернувшись, могла бы превзойти всякую историческую драматику. Но Шиллер испытал на самом себе, до какой степени отсутствовали в Германии необходимые материальные предпосылки для того, чтобы поднять буржуазную драму на классическую высоту. Так как обновление германской нации совершилось только благодаря тому, что европейские войны вторглись в пределы Германии, то на подмостки, которые, по собственным словам Шиллера, представляют мир, он выдвинул великую историческую борьбу.

Нередкое утверждение, будто в «Валленштейне» Шиллер хотел изобразить Наполеона, нельзя признать правильным. В то время, когда он писал свою драму, генерал Бонапарт еще не пользовался известностью. Поэт был бесконечно далек от того, чтобы постараться произвести впечатление материалом драмы. Чем дальше уходил Шиллер от своей революционной юношеской драматургии, тем более его героическая драматургия утрачивала гениальную непосредственность, но выигрывала в развитом художественном вкусе. В «Валленштейне» Шиллер определенно старался достигнуть объективизма, характеризующего художественное творчество Гёте, и устранить те субъективные настроения, которые он вкладывал в свои прежние художественные образы. Это удалось ему в такой высокой степени, что полагали, будто Гёте является со-автором «Валленштейна», хотя сам Гёте заявлял, что драма на-

столько великая, что невозможно указать что-либо равноценное ей.

«Валленштейном» Шиллер, которому в то время было сорок лет, достиг вершин своего поэтического творчества. Теперь он признал, что драматическое творчество—его истинное призвание, и он отдавался этому творчеству с тем большей неустанностью, что, постоянно мучимый тяжелыми физическими страданиями, не мог рассчитывать на сколько-нибудь продолжительную жизнь. Чтобы быть ближе к театру, он переселился в 1799 году в Веймар.

7. Гёте и Шиллер. Романтическая школа.

Таким образом начались золотые дни Веймара, о которых так много поет и говорит буржуазная история литературы. В фразе о золотых днях есть известное преувеличение. В то время, как Гёте и Шиллер начали жить бок-о-бок, общность их работы уменьшилась, и снова выступила прежняя противоположность между прирожденным художником, который, ожидая благоприятного момента, медленно вынашивал в себе поэтические образы, и между поэтом-просветителем, который после того, как блестящий боевой опыт с «Валленштейном» пробудил в нем сознание полководческих дарований, приказывал поэзии идти на штурм. Шиллер жаловался на «безмятежную лень» Гёте, а Гёте довольно сдержанно относился к драматическому творчеству Шиллера, который ежегодно давал по новой пьесе.

Совсем нетерпимыми сделались отношения обоих поэтов к Гердеру. Однако, вопреки буржуазным историкам литературы, вина за то падает отнюдь не на личное тщеславие и раздражительность Гердера, хотя, возможно, и он сделал некоторые промахи; но и Гёте с Шиллером не всегда были справедливы по отношению к Гердеру. Нерасположение, какое универсальный ум Гердера всегда питал к односторонне эстетической культуре, выдвигаемой Шиллером и Гёте, по существу дела было вполне основательно.

Гердер умер в 1803 году, а два года спустя, 5-го мая 1805 года, окончилась и жизнь Шиллера, преисполненная работы и славы. Он успел выпустить еще четыре драмы, из которых, однако, ни одна не может равняться с «Валленштейном»,—даже «Вильгельм Телль», в котором шиллеровский освободительный пафос еще раз ярко вспыхивает в великолепной сцене при Рютли, но который страдает всевозможными эстетическими и историческими недостатками.

По смерти Шиллер сделался наиболее прославленным и любимым национальным поэтом. Буржуазный класс поднял его на щит не столько за то, что он говорил и воспевал в действительности, сколько за то, что сам этот класс вкладывал в его произведения. Шиллер сделался либеральным, национальным, идеальным поэтом, милостию буржуазного класса и в духе его тенденций. Худосочному либерализму этого класса льстило то обстоятельство, что Шиллер выступил против буржуазной революции, даже поносил ее и искал спасения в том эстетическом идеализме, который, по его собственному мнению, останется сокровенным достоянием только узкого круга избранных умов; а теперь этот идеализм, совершенно не понятный, сделался опорой германского мещанства со всей его половинчатостью и трусостью.

Он содействовал в частности возникновению тупого предрассудка, с которым нам приходится вести борьбу и в настоящее время, а именно, будто философский идеализм, т.-е. миросозерцание, для которого изначальным является не природа, а бог, предполагает веру в нравственные цели, между тем как философский материализм,—миросозерцание, которое ищет первоначального не в боге, а в природе,—ведет к обжорству, пьянству, жажде зрелищ, похотливости, суетности. Таким образом, всякий бравый филистер, нахватавшись отрывков из произведений Шиллера, чувствует себя превознесенным над такими людьми, как Дарвин и Геккель, Фейербах и Маркс. Этот идеализм, искаженный буржуазной литературой, производил величайшие опустошения в сороковых годах прошлого века, когда начали сгущаться облака мартовской револю-

ции. Карл Маркс гневно писал тогда, что бегство Шиллера в царство идеала только подменяет простые бедствия бедствиями превыспренними, и к тому же времени относится начало той антипатии, которая, несомненно, обнаруживается каждый раз, когда Маркс и Энгельс упоминают о Шиллере.

Неверно, когда говорят, будто дух Шиллера одухотворял мартовскую борьбу 1848 года. Самое элементарное чувство справедливости не позволяет ссылаться на него, как на присяжного защитника буржуазной революции. Шиллер видел такую революцию во Франции, но не понял ее; она наполнила его душу ужасом, как только двинулась вперед железною поступью. Современное рабочее движение не может считать Шиллера своим учителем и путеводителем. Оно идет по совершенно иным путям, чем шел Шиллер. Но оно воздает должное тому, что является пригодным для него из оставленного Шиллером наследия. Призывы Шиллера к борьбе против тиранов всегда найдут отклик в его рядах, и оно всегда восторженно будет оглядываться на эту жизнь труда, борьбы и страданий, неустанно творившую до тех пор, пока не угасла последняя искра физических сил.

Гёте пережил Шиллера почти на целое поколение, на 27 лет, и все это время непрерывно работал. Гениальнейшее его произведение, «Фауст», впервые появилось в законченном виде в 1808 году, через три года по смерти Шиллера. Уже раньше Гёте издал отрывки этого бессмертного произведения, представляющего труд всей его жизни. Они не привлекли тогда внимания, но, когда теперь, в дни величайшего угнетения, появилось все произведение, оно оказало воспламеняющее действие; немцы почерпали из него более гордое доверие к своим силам, чем из тех жалких реформ, к которым иноземное господство принудило германских деспотов.

С этой поры Гёте в течение своей долгой старости стоял над нацией, возвышаясь подобно одинокой вершине. Его не затрагивала даже борьба, которую она вела за свое национальное существование; он с полным безучастием относился к войнам с Наполеоном, за что на него па-

дали несправедливые, но отчасти и справедливые упреки. Несправедливые—поскольку он был слишком культурный человек для того, чтобы находить какое-либо удовольствие в пошлом французестве; справедливые—поскольку он в эпоху борьбы, потрясавшей весь мир, находил удовольствие сидеть в жалкой маленькой клетке, какою был крошечный двор германского государя. Великий поэт теперь слишком часто и слишком уж далеко скрывался за маленьким министром; в то же время великий мастер слова впал в напыщенно пустой старческий стиль.

Но Гёте оставался силой в жизни Германии, как величайший и в то же время последний представитель классической литературы, которая при его жизни только и давала германскому народу право на звание современной культурной нации. Так-называемые освободительные войны против наследника французской революции велись в союзе с русскими варварами, а за этими войнами последовала беспросветная реакция. Ценность классической литературы была создана ею самой, и именно это имел в виду Гёте, когда он в следующих словах отверг велеречивые претензии романтической школы, возникшей под влиянием реакционного толчка, данного феодальным Востоком буржуазному Западу: классическое—это здоровое, романтическое—это больное.

Иначе обстояло дело с той оппозицией Гёте, которая нашла выразителей в жизнеспособных элементах буржуазии, бодро глядевших вперед. Гёте умер 22-го марта 1832 года, когда июльская революция в Париже положила конец мрачной эпохе европейской реакции, и народы начали приходить к пониманию своих прав по отношению к монархам. Немецкая молодежь, приходившая к политическому мышлению и политической деятельности, знала только старого Гёте, да и в его юношеских произведениях находила мало того, что заставляло бы биться ее сердце; она должна была холодно и даже враждебно относиться к Гёте. При этом не было недостатка в обидных, суровых и несправедливых суждениях: стоит только припомнить, что писали о Гёте даже Берне и Гейне. Но это еще не основание присоединяться к воплям о не-

справедливости, будто бы, проявленной нацией к одному из своих величайших сынов. В нации всегда много больше величия, чем в величайшем из ее сынов; она должна развивать свои дарования и силы во всех областях человеческого творчества, между тем как это недостижимо для индивидуума, который несравненно более ограничен уже в пространстве и времени. Какие бы суровые и несправедливые суждения ни раздавались тогда о Гёте, их источником была историческая необходимость; для того, чтобы германский народ мог притти к национальному самосознанию, необходимо было разбить некогда животворное, а теперь мертвящее чарование великого имени Гёте.

Глупее всего делают те, кто, желая умалить значение оппозиции, которая с развитием политической жизни в Германии выступила против Гёте, говорят, будто она путем смещения с политическими тенденциями уничтожает искусство. Политическая поэзия Гейне, Гервега, Фрейлиграта и других—это, будто бы, безобразие в эстетическом отношении, не выдерживающее испытания перед судищем хорошего вкуса. Конечно, верно, что поэзия и политика представляют отдельные области, и что поэзия, которая хочет оказывать действие не художественными приемами, а спекулирует на политические страсти и симпатии, выдвигающиеся на передний план политической жизни,—примером чего могут служить посвященные Гогенцоллернам драмы Вильденбурга,—является неприемлемой тенденциозной поэзией. Однако, из этого вовсе не следует, что поэзия вообще не должна трактовать политических проблем или социальных катастроф. Это требование разбивается уже о свою внутреннюю невозможность. Поэты и художники не падают с неба, не витают в облаках. Напротив, они живут среди классовой борьбы своего народа и своего времени. Последняя оказывает на различные умы различное действие, но от этого влияния не может уйти ни один поэт и мыслитель.

Так и наша классическая литература представляла не что иное, как начало борьбы германской буржуазии за эмансипацию. Было бы нелепо воображать, будто счастли-

вая случайность или неисповедимый промысел провидения создали во второй половине 18-го века большое количество литературно-талантливых голов как-раз в пределах Германии. Важно то, что экономическое развитие той эпохи дало сильный толчок буржуазным классам в Германии. Но эти классы не были достаточно сильны для того, чтобы, подобно Франции, начать борьбу за политическую власть, и потому они создали для себя идеальный образ буржуазного мира в литературе. Буржуазно-революционный дух достаточно ясно и отчетливо заявил о себе в Клопштоке и Лессинге, и в молодом Шиллере; но так как он не нашел отклика в народных массах, то именно в период расцвета нашей классической литературы, отмеченный дружбой Гёте и Шиллера, он нашел удовлетворение в царстве эстетической видимости, которое преднамеренно ограничивало себя узким кругом избранных умов и озабоченно отгораживалось от всяких политических и социальных тенденций,—и это в эпоху, когда революционные войны снизу доверху перевернули феодальную Европу.

Само собою понятно, что это царство эстетической видимости должно было бледнеть и блекнуть по мере того, как в буржуазных классах все больше пробуждалось политическое и социальное самосознание. То, что прежде представляло прогресс,—высшее развитие эстетической культуры у Гёте и Шиллера,—теперь, когда явилась возможность политической и социальной борьбы, стало попятным шагом; что прежде было идеалом выдающихся умов,—гармоническая красота и совершенство в царстве эстетической видимости,—превратилось теперь в плоскую фразу реакционного филистера, который хочет спокойствия для себя и не желает ничего знать об историческом прогрессе,—превратилось в фразы тенденциозной политической поэзии, не имеющей ничего общего с действительным искусством. В противовес таким реакционным фразам следует раз навсегда запомнить, что эстетически неприемлема не открытая и честная, не политическая и социальная тенденция, а только ее выражение эстетически неудовлетворительными способами. И в особенности должен помнить это рабочий класс, который иначе пришел бы к

тому бессмысленному воззрению, будто все, дающее его жизни наивысшее содержание, не может быть предметом поэтического и художественного изображения.

Если посмотреть на оборотную сторону медали, то придется признать, что Гёте, благодаря односторонности своего чисто-эстетического миросозерцания, попал в руки педантов и филистеров; на это в грубых выражениях указывал уже Готфрид Келлер, которого не без основания называют швейцарским Гёте. В мировой литературе нет другой фигуры, которая в такой мере, как Гёте, влекла бы к культу героев; но кто предается культу Гёте, тот, отчужденный от мира, будет отчужден от современности, не сумеет ориентироваться в ней. Классический пример этого дает книга Виктора Гена о Гёте, в которой имеются удивительные отделы, раскрывающие самое сокровенное в Гёте; но она вместе с тем высказывает и самые ограниченные, проникнутые величайшей враждебностью суждения о Шиллере, Лессинге, Бюргере, Гейне и вообще о тех выдающихся представителях германской литературы, в которых с наибольшей силой проявлялось ее буржуазно-революционное существо; она осуждает мартовскую революцию, как политическое ребячество, коротко говоря, обнаруживает абсолютнейшую глупость во всем, что касается современных политических и социальных проблем. К таким последствиям приводит безусловный культ Гёте. Он осуждает на полное бесплодие во всех великих вопросах современности и становится смешным, когда начинает жаловаться на тупоумие масс, которые ничего не знают или не хотят знать о Гёте.

На эти жалобы возможен только один ответ: человек жив не одним хлебом; но он жив и не одним искусством: прежде чем создать для себя красивую жизнь, он должен обеспечить для себя самую жизнь. Современный рабочий класс обладает, по крайней мере, одним элементом экономической и политической свободы, которого еще не было у буржуазного класса 18-го века: он может наступать непосредственно на врага и не пуждается для этого в каких-либо обходных путях. И не вредом, а выигрышем является для пролетарской освободительной борьбы, что

ее силы могут концентрироваться в первую очередь в политической и социальной области,—а потому и должны концентрироваться в этой области,—и что, не пренебрегая требованием эстетической культуры, пролетариат может выдвигать его лишь во вторую очередь.

Озлобленные и близорукие, как всегда, наши противники делают из этого тот вывод, что искусство—привилегия выделившегося меньшинства, и для своего вящего прославления они пришли даже к надменной догме, будто для масс навсегда останется невыносимым полный солнечный свет искусства,—что массы могут вынести самое большее несколько полуприкрытых лучей этого света. Эта догма может распространяться лишь до тех пор, пока существуют господствующие классы, пока угнетенные классы вынуждены вести борьбу за свободное существование и, лишь обеспечив его, могут помышлять о том, чтобы создать для себя красивое существование. Но нет ничего глупее той фантазии, будто, когда падут господствующие классы, падет и искусство. Оно, конечно, падет тогда, но падет не как искусство, а как привилегия. Только сбросив с себя скорлупу, осуждающую его на хилость, оно сделается тем, чем должно быть по своему существу: непосредственной способностью рода человеческого. Тогда—и вообще только тогда—Гёте будет воздано должное; день, когда германская нация экономически и политически освобождает себя, будет днем торжества ее величайшего художника, потому что искусство сделается тогда общим достоянием всего народа.

К дням старости Гёте относится расцвет романтической школы в поэзии,—к ним же относится и ее упадок. В ней отразилась все та же двойственность национальных и социальных интересов буржуазии, созданная иноземным господством. Национальные идеалы можно было найти только в средневековье, когда классовое господство помещиков и попов приобрело самые рельефные формы. И вот поэты-романтики спасались бегством к «волшебной ночи средневековья, освещенной луною»; но после того, как революционная буря прошла по Европе, нельзя было и думать о восстановлении средневековых идеалов в их

полном великолепии, и потому к феодальной вину, добытому из погребов замков и монастырей, эти поэты при-
мешивали изрядное количество трезвенной воды буржуаз-
ного просвещения.

За романтической школой нельзя не признать извест-
ных заслуг. Она открыла сокровища средневековой поэ-
зии,—не только придворных поэтов и поэтов рыцарства,
но и «Нибелунгов»: национальную поэму, которая, несо-
мненно, могла бы соперничать с песнями Гомера. И пре-
жде всего романтическая школа поэтов открыла драго-
ценные сокровища народной поэзии. Напомним сказки
братьев Гримм и «Des Knaben Wunderhorn» («Чудесный
рог мальчика») — собрание старинных народных песен, из-
данное Арнимом и Brentано. Кроме того, мы обязаны этой
школе чрезвычайным расширением нашего поэтического
кругозора. Так как у нее не было под ногами твердой
почвы, то она устремлялась к художественным сокрови-
щам всех народов и времен и принесла нам много хоро-
шего, напр., классический перевод Шекспира Шлегелем.

Конечно, из собственных произведений романтиков со-
хранилось не особенно много,—меньше всего сохранилось
из произведений Тика, который считался истинным главой
школы и ставился ею рядом с Гёте, даже выше Гёте. Из
Арнима и Brentано еще читают сказки первого и новеллы
второго; читают также некоторые рассказы Гофмана о
привидениях, в первую же очередь—лирические произве-
дения Эйхендорфа, которому часто поразительно удавался
тон народной песни. К романтической школе в известном
смысле следует отнести и певцов освободительных войн:
Эрнста-Морица Арндта, о котором надо упомянуть не
столько за его стихи, сколько за его в высокой степени
антимонархический солдатский катехизис, и Теодора Кер-
нера, посредственные стихотворения которого, благодаря
его мужественной смерти на поле сражения, стяжали
большую славу, чем они сами по себе заслуживали бы.

Но самым гениальным поэтом романтической школы
был Генрих фон-Клейст (1776—1811 г.), происходивший
из одной старинной дворянской фамилии, жившей к вос-
току от Эльбы. Согласно традициям семьи, ему уже очень

рано было предназначено сделаться прусским офицером, но эта профессия ему скоро опротивела, и уже в двадцатилетнем возрасте он вышел в отставку. Жизнь, которую ему пришлось вести с этого времени, представляется страшной историей болезни. Сомнения в собственном призвании, хронические страдания тела и души, несправедливая холодность современников, препятствия, которые ставил ему его собственный помещичий класс, гнет иноземного господства, вечные заботы о хлебе насущном и, наконец, самоубийство в припадке ужасающего отчаяния,—все это дает потрясающую картину.

Но среди этих бедствий Клейст создал ряд драм, свидетельствующих о такой силе изобразительности, какую не обладали ни Лессинг, ни Шиллер: «Der Zerbrochene Krug» («Разбитый кувшин») — комедия, подобной которой нет в нашей литературе, «Das Käthchen von Heilbronn» («Кэтхен из Гейльбронна» или «Испытание огнем»), рыцарская пьеса, не свободная от романтического приукрашивания средневековья, тем не менее, на протяжении уже нескольких поколений обнаруживает неиссякающую жизненность; «Hermannsschlacht» — тенденциозная драма, которая фактически направлена против иноземного господства французов, но оперирует художественными приемами и с захватывающей жизненностью изображает борьбу древних херусков против завоевателей-римлян и их победу в Тевтобургском лесу; и, наконец, «Der Prinz von Homburg», материал для которого взят из истории Пруссии,—единственное поэтическое прославление династии Гогенцоллернов, которые вознаградили поэта тем, что предоставили ему умирать от голода. Клейст не отделался от сидевшего в нем восточно-эльбского помещика: на то он и был поэт-романтик; однако, юнкерское упрямство облагорожено в нем, превратившись в борьбу права против моральной испорченности мира; это следует сказать и о «Michael Kohlhaas», крупнейшем из его прозаических рассказов.

Почти во всем противоположность Генриху фон-Клейсту представлял другой поэт романтической школы, Людвиг Уланд (1787—1862 г.), произведения которого остаются живыми до настоящего времени. Происходя из одной

швабской буржуазной семьи, он всю свою жизнь вел спокойное существование швабского мелкого буржуа. От большинства поэтов романтической школы он отличался строгостью формы своих произведений и ясной оценкой своих поэтических способностей. Но уже Гёте отмечал, что ему недостает страсти, и его баллады, на которых, главным образом, основывается его поэтическая слава, не могут равняться с балладами Гёте и Бюргера. И если к его заслугам принадлежит возрождение политической поэзии, то, с другой стороны, и в ней он платил дань романтике, потому что «доброе старое право Швабии», за которое он вел борьбу, было феодальное и исторически изжитое право.

8. Фихте и Гегель.

Нам остается теперь проследить развитие нашей классической философии в эпоху 1789—1830 г. Иоганн-Готлиб Фихте (1763—1814 г.) примыкает к теории познания Канта, согласно которой мы знаем вещи не такими, каковы они суть вне нас, а такими, какими они представляются нашим чувствам; следовательно, весь мир явлений,—весь мир, каким он представляется нашим чувствам, до созерцания пространства и времени включительно,—существует лишь в человеческом представлении, между тем как за ним в непроницаемом мраке скрывается абсолютная сущность вещей, вещь в себе. Если Кант как бы разрушил объективный мир, сведя его существование к деятельности человеческого сознания, то Фихте, напротив, вновь построил его из человеческого сознания. Для Фихте действительная вещь в себе—«я», т.-е. не индивидуум, не отдельный человек, а человек, как род; человеческое самосознание для него—не зеркало, а творец вещей.

Фихте говорит: «Вещи создаются только нашим я. Нет никакого бытия, существует деятельность; нравственная воля есть единственно действительное». Мышление для Фихте—самостоятельный процесс, совершающийся с внутренней необходимостью. Каждым положением дана его противоположность, и, постоянно преодолевая это постоян-

ное противоречие в высшем единстве, мысль движется вперед. Таким образом Фихте примыкает к диалектическому методу древнегреческой философии.

Нам незачем подробнее останавливаться на игре Фихте философскими понятиями. Он уже сам обломал острее своих бесчисленных удачных и неудачных острот, приуроченных к его «я» и «не-я», выдвинув положение: какую философию выбирают, зависит от того, что за человек ее выбирает. Как философия Канта в конечном счете вытекает из того, что Кант никогда не вылезал из шкуры филистера, так философия Фихте, который был сыном нищенски бедного ткача лент из Верхнего Лаузица, в конечном счете объясняется тем, что этот сын пролетария с головы до пяток был революционер. Фихте ясно и недвусмысленно провозгласил атеизм и право на революцию, которое отрицалось Кантом. Для Фихте была понятна национальная идея, о которой у Канта не было ни малейшего представления. Он, в противоположность Канту, не различал полноправных граждан государства и членов государства, у которых было лишь половинное право: он возвестил, что призвание немцев—создать истинное государство права, построенное на равенстве всего, что имеет человеческий образ.

Как ум Канта питался естественными науками, так ум Фихте—историческими науками. И если для Канта историческая жизнь народов была книгой за семью печатями, для Фихте она была открытой книгой. Таким образом, Фихте сумел поднять на историческую высоту этику, зараженную у Канта теологией. Учению о зле, лежащем в корне человеческой природы, он придал боевой оборот: люди тем хуже, чем выше их сословие. И в то время, как Кант, по завоевании Кенигсберга русскими варварами, ходатайствовал перед царицей о повышении, Фихте, когда наследник французской революции начал командовать в Берлине, в пламенных «Речах к германской нации» призывал ее воспрянуть из своего умственного и морального разложения.

Кант очень скоро отрекся от своего ученика, после чего Фихте напал на своего учителя, как на «голову в

три четверти», которая, начав, не знает, что делать дальше. В такой же резкой противоположности стоял Фихте к той односторонне-эстетической культуре, которую хотели развивать Гёте и Шиллер. Шиллер обрушивался на «чуждого эстетике» Фихте и высмеивал в нем «обновителя мира», но в ответ на это Фихте в своих «Речах к германской нации» ставил вопрос: что же такое представляет литература народа, лишенного политической самостоятельности? К чему иному может стремиться умный писатель, как не к тому, чтобы вмешаться в общественную жизнь, чтобы всю ее воссоздать по своему образу? Если он не хочет так делать, все его речи—пустые звуки на потеху праздных ушей.

В виду этого представляет полную бессмыслицу, когда буржуазные историки говорят об идеализме Фихте и Шиллера. Конечно, философия Фихте была идеалистическая, так как она ставила мышление выше бытия, но идеализм Фихте отличался от идеализма Шиллера, как политическая революция отличается от эстетической культуры. Они не представляют противоположностей, неизбежно исключаящих друг-друга, и в особенности не являются они таковыми в современном рабочем движении; но раз они уже разделились, их нельзя попросту сопрягать под какой-нибудь общей вывеской, иначе получится безнадежная путаница. Именно в своих столкновениях с Шиллером Фихте вырабатывается в то, чем он был исторически: в революционного мыслителя, который отважился на бесконечно трудное дело,—силой своего духа пересоздать целую нацию.

Фихте не был социалистом, которым его хотят представить. Эти притязания основываются в особенности на его работе «*Der geschlossene Handelsstaat*» («Замкнутое торговое государство»), однако, она не имеет ничего общего с социализмом. Она скорее обрисовывает старопрусское государство в том виде, как оно должно быть устроено по требованиям буржуазного разума. В ней Фихте обнаруживает еще полное непонимание даже потребностей современного буржуазного общества.

Как Фихте за Кантом, так за Фихте пошел третий из наших классических философов, Георг-Фридрих-Вильгельм

Гегель (1770—1831 г.). Его философский язык стал теперь непонятным для нас; достаточно будет раскрыть историческое ядро его философии. Если Кант своей теорией неба внес развитие в природу, то Гегель внес его в историю. Если Фихте примыкает к диалектическому методу древнегреческой философии, то для Гегеля этот метод превращается в источник всей жизни. Понятием бытие дано и понятие ничто, а из борьбы между ними возникает высшее понятие становления (процесса развития, *Werden*). Все в одно и то же время существует и не существует, потому что все течет, постоянно изменяется, постоянно возникает и преходит.

Гегель видел в истории человечества процесс постоянного движения, изменения и преобразования, восходящий от низших к высшим формам, и мощным напряжением ума старался проследить в разнообразнейших отделах исторической науки внутреннюю связь, постепенное развитие этого процесса среди всех кажущихся отклонений и случайностей. Так как он считал вещи отображениями понятий, то, конечно, он приходил к очень произвольным историческим построениям, но так как не столь-то легко впрячь в ярмо понятий такие упрямые вещи, как исторические факты, то он приходил и к гениальным воззрениям на общую связь истории человечества.

Более скромный, чем Кант,—а может-быть, потому, что он был поклонником Канта,—Гегель не заявлял притязаний на то, будто он—«мыслитель вне времени»: его философия для него—его эпоха, раскрытая в ее идеях. Уже из этого следует явно исторический характер его учения. Со своей исторической диалектикой Гегель завоевал многочисленные области духа и в высокой мере оплодотворил исторические науки принципом развития, на что совершенно неспособна была философия Канта.

С 1815 года до смерти Гегеля в 1831 году и даже позже его философии принадлежало господствующее положение в умственной жизни Германии. Так как это была эпоха политической и социальной реакции, то более выдвигалась консервативная сторона этой философии. Идеал правового государства, построенный Гегелем в его «Фи-

лософии права», был точно так же отражением прусского государства 1821 года, как «Замкнутое торговое государство» Фихте отражало прусское государство 1801 года, с той понятной разницей, что под гнетом карлсбадских постановлений Гегель много меньше идеализировал свой прообраз, чем Фихте, находясь под воспламеняющим воздействием французской революции, идеализировал свой прообраз. «Философия права» Гегеля шла дальше прусского государства двадцатых годов почти лишь в том отношении, что она требовала гласного судопроизводства и судов присяжных.

И вот его философию права объявили в известном смысле прусской государственной философией, так как разум прусского государства не имел никакого понятия о революционном существе диалектики Гегеля. Но это существо должно было раскрыться, когда июльская революция во Франции вызвала новую жизнь и в Германии; и как только эта революция впервые вызвала на всемирно-историческую арену новую силу, современный рабочий класс, из философии Гегеля зародился научный коммунизм.

Источники. Популярное изложение великого переворота 1789 года дает Блос, „Французская революция“. Познакомившись с фактическим ходом революции, с большой пользой можно обратиться к Каутскому, „Противоречия классовых интересов в 1789 году“. Еще более обстоятельное и действительно исчерпывающее изложение классовой борьбы того времени дает Кун в „Борьбе классов и партий в великой французской революции“. Кто внимательно проработает эти работы, может уже не обращаться к буржуазной литературе о французской революции.

О катастрофе 1806 года см. небольшую работу Mehring, „Jena u. Tilsit“, вышедшую в лейпцигском партийном книгоиздательстве, и более подробное изложение у Eisner, „Das Ende des Reichs“, в изд. „Vorwärts“. Для Геге и Шиллера следует обратиться к уже упомянутой биографии, написанной Мерингом, для Фихте—к двум работам, посвященным Лассалем революционному мыслителю, о Гегеле—Энгельс, „Анти-Дюринг“ и „Фейербах“.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Между двух революций.

1. На повороте.

Реакция, тяготевшая с 1815 года над Европой, была логическим следствием того исторического факта, что аристократическое правительство Англии в союзе с феодальными державами европейского континента низвергло наследника французской революции. Но столь же логично, что все попытки восстановить феодальный общественный строй, в конце-концов, должны были разбиться о сопротивление новых общественных классов, которые сделали буржуазную революцию. Эти классы не могли примириться с реставрацией, которая вплотную добиралась до них.

Конечно, в восточной Европе они были развиты пока настолько слабо, что не могли стоять на собственных ногах. Мы не будем говорить о русском колоссе, от первобытного варварства которого вообще отскочил удар революции. Габсбургский деспотизм в том виде, как он был представлен Меттернихом, удерживался благодаря тому, что он натравливал друг на друга различные нации и народцы многоязычной Австрии и, пользуясь своим влиятельным положением в германском союзном сейме, подавлял всякое сколько-нибудь свободное движение в Германии. Услужливого помощника себе он нашел в гогенцоллернском деспотизме, который при своей прирожденной ограниченности не понимал, насколько он таким образом терзает свое собственное тело.

Не таково было положение западно-европейских культурных народов. Парижская июльская революция 1830 года разбила вдребезги старую королевскую власть, в которой французский народ всегда видел прикрытое иноземное господство, и которая хозяйничаньем помещиков и попов до крайней степени раздражала национальные чувства. Следом за тем, в 1832 году, в Англии прошла избирательная реформа, которая не становилась менее революционным актом от того, что она совершилась без пролития хотя бы единой капли крови и без единого разбитого окна. Более умное, чем французское, английское правительство в решительный «двенадцатый час» уступило «давлению извне»: угрожающей позиции английских рабочих было достаточно для проведения того, что французским рабочим пришлось завоевывать на баррикадах.

В Англии, как и во Франции, революция была обязана своей победой кулакам рабочих, которые поддержали борьбу буржуазии,—подобно им, современного общественного класса,—против попыток феодальной реставрации. Но в Англии, как и во Франции, буржуазия захватила все плоды победы: она помышляла только о том, как бы надуть рабочих, которым она прежде всего была обязана победой. Тем самым она вызвала против себя пролетарскую оппозицию. С 1830 года начинается новая эра для мира,—всемирно-историческая борьба современного пролетариата.

Вместо республики, которую, как воображали рабочие, завоевали они, французская буржуазия создала буржуазное королевство, посадив на трон под именем короля Луи-Филиппа герцога Орлеанского, побочного родственника старого королевского дома, на том условии, что он будет послушным слугою ее классовых интересов. Верная своему происхождению, новая королевская власть, пользуясь ложью и обманом, бесстыдной системой провокации, преднамеренно сфабрикованными ужасами, начала отнимать у масс политические права, которые, думалось им, навсегда обеспечила за ними июльская революция, и прежде всего—свободу печати и собраний. Лишенные законных способов политической борьбы, мелкая буржуазия и пролета-

риат стали организовывать тайные общества и, устраненные от устного и печатного слова, начали хвататься за кинжал и ружье. Так как они не могли открыто делать законное, то они начали тайно делать незаконное: мы употребляем известные слова лейтенанта Мольтке, от которых к собственному посрамлению отрекся фельдмаршал Мольтке в дни закона против социалистов.

Правда, все попытки с оружием в руках свергнуть торгашески-жадное господство, навязанное буржуазией французской нации, сначала оканчивалась неудачей. В этих попытках мелкая буржуазия и рабочий класс шли еще рука-об-руку. Буржуазия была еще настолько близорука, что она бесконечно меньше боялась «простых конфликтов» между фабрикантами и рабочими, чем якобинских традиций, которые все еще оставались живучими среди мелкой буржуазии. С такой точки зрения она рассматривала даже первое пролетарское восстание, попытку которого уже весной 1831 года сделали голодающие лионские шелкоткачи, выступившие с лозунгом: «Жить, работая, иль умереть, сражаясь!».

Это восстание было голодным бунтом без ясной программы. Подавляющие военные силы быстро справились с ним. Не больше удачи было во втором восстании, которое весной 1834 года начали опять-таки лионские шелкоткачи, сообщая с парижскими мелкобуржуазными республиканцами. После того, они, во главе с Барбесом и Бланки, организовали тайное «Общество времен года», с определенной программой и определенной тактикой. Но коммунизм, проповедуемый этим обществом, строился лишь на буржуазно-идеологическом требовании равенства, и столь же несостоятельным оказалось предположение, будто достаточно горсточки решительных заговорщиков для того, чтобы овладеть государственной властью. 12-го мая 1839 года, когда Барбес и Бланки сделали попытку восстания, она, после нескольких часов кажущейся удачи, была разбита. Так как трехкратное поражение ослабило силы революционной партии действия, то буржуазное королевство в дальнейшем было избавлено от повторений

вооруженного восстания, но зато тем быстрее пошло его внутреннее разложение.

В Англии победоносная буржуазия также обманула рабочий класс, как во Франции. Избирательная реформа 1832 года обеспечила вступление в парламент только за средним классом. Буржуазия решительно противилась расширению избирательного права в интересах рабочего класса. Крупная промышленность, развивавшаяся в Англии с конца 18-го века несравненно быстрее, чем во Франции, принесла английскому рабочему классу небывалые страдания. Пока сохранилось строгое воспрещение коалиций, он организовался в тайные заговорщические союзы и оборонялся, пуская в ход все средства отчаянного сопротивления. Затем, когда предоставленная в 1824 году свобода коалиций дала ему некоторый простор, он начал организовывать крупные профессиональные союзы, которые в начале тридцатых годов составили сильное объединение, но вследствие преждевременно начатых забастовок скоро потерпели тяжкое поражение. Английские рабочие тоже поддерживали буржуазию в борьбе против крупного землевладения, пока и она, лишив их завоеванного ими избирательного права, не толкнула их к политической классовой борьбе.

В 1835 году в Лондоне собрался один рабочий союз, который набросал в качестве программы так-называемую народную хартию, состоящую из шести пунктов: всеобщее избирательное право каждому мужчине, который находится в здравом разуме и не изобличен ни в каком преступлении; ежегодные парламентские выборы; диеты для членов парламента; тайное голосование; избирательные округа равной величины; право каждого избирателя быть избранным. Чартизм (от слова «хартия») был первой попыткой современного пролетариата завоевать власть с той целью, чтобы воспользоваться ею в своих интересах. Однако, он не был чисто-пролетарским движением, так как к нему примкнули многие мелкобуржуазные элементы, и еще не охватывал все более передовые слои пролетариата, так как в стороне от него остались профессиональные союзы,

упавшие духом вследствие неудачи своей первой крупной попытки выступления. Тем не менее, чартизм дал много: он поднял английский пролетариат в умственном, нравственном и физическом отношениях и произвел сильное действие даже на господствующие классы. Он, подобно первым освободительным попыткам французского рабочего класса, потерпел крушение только вследствие отсутствия ясного представления о конечной цели.

Напротив, социализм, возникший во Франции и в Англии в начале 19-го века, иссяк вследствие недостаточного понимания исторической роли рабочего движения. Он был делом просвещенных людей, которые стояли в центре крупного капиталистического производства, но рано открыли его оборотную сторону. Исторически этот социализм предшествовал классовой пролетарской борьбе. Прежде, чем захватить в свои руки политическое господство, буржуазия должна была достигнуть высокой ступени экономического развития, но она могла подняться на нее, только создав широкие массы неимущих наемных рабочих, только лишив всякой собственности целые слои населения.

В этом—объяснение существа современного социализма в том его виде, как он представлен Сен-Симоном и Фурье во Франции, Оуэном—в Англии. Они видели, что, чем богаче становится буржуазия, тем более многочисленный пролетариат порождает она и тем в более глубокую пропасть нищеты сбрасывает этот пролетариат,—в такую глубокую пропасть, какой еще не бывало в истории. Поэтому они справедливо полагали, что историческое развитие, которое всякое повышение общественного благосостояния покупает ценою растущей массовой нищеты, необходимо должно повести к гибели всей человеческой культуры. Но им далека была,—и, пока в возникающем пролетариате еще нельзя было открыть признаков самостоятельной жизни, должна была оставаться далекой,—та мысль, что массы, численность которых росла одновременно с уменьшением их силы, в конце-концов, сами окажутся в состоянии помочь себе. Отсюда непреодолимая антипатия этих социалистов ко всякому политическому выступлению пролетариата, которое неизбежно вызовет раздражение

в господствующих классах, в то время как задача сводится к тому, чтобы убедить их в необходимости нового общества.

Сен-Симон, Фурье и Оуэн составляли в своих головах планы нового общества, являющиеся гениальными утопиями. Это были революционные мыслители, которые с изумительной проницательностью умели раскрыть зло капиталистического общества; они, как засвидетельствовали Маркс и Энгельс в «Коммунистическом Манифесте», дали научному социализму много плодотворных идей. Но их непосредственные приверженцы тем более упорствовали в реакционном сектантстве, чем сильнее развивалась пролетарская классовая борьба, которой они не понимали и даже не хотели понять.

Таким образом, пролетарская классовая борьба и утопический социализм на английской и французской почве двигались в порочном кругу. Революционное рабочее движение попадало на ложные пути, потому что у него не было генерального штаба, который мог бы твердо и уверенно набросать для него план похода и руководить его битвами, между тем как утопический социализм терялся в бесплодной игре мысли и невозможных фантазиях, потому что он не видал исторической силы, которая выросла в современном рабочем движении.

2. Новая жизнь в Германии.

Французская июльская революция оказала на Германию в первое время очень слабое непосредственное действие. Буржуазные классы в общем еще сохраняли полное спокойствие, а рабочие обнаруживали признаки жизни в первое время в такой форме, которая свидетельствовала об их большой политической и социальной незрелости: в некоторых рейнских округах они разрушали машины и фабрики.

Тем не менее, в отдельных мелких и средних государствах северной Германии произошли беспорядки, которые, в особенности в королевстве Саксонии, повели к некоторым реформам, а в герцогстве Брауншвейгском даже

к изгнанию местных карликовых деспотов. Наибольшее возбуждение обнаружило население по ту сторону Майна, в южно-германских государствах, особенно в рейнском Пфальце, баварской провинции на левом берегу Рейна. Гамбахское торжество 27-го мая 1832 года, соединившее в мировой манифестации несколько тысяч человек, и нападение маленькой кучки студентов на гауптвахту во Франкфурте-на-Майне послужили для германских правительств не столько действительным толчком,—ведь, и эти происшествия по существу свидетельствовали о безобидности всего движения,—сколько желанным предлогом для того, чтобы приступить к новым актам насилия, которые покончили с этими первыми зачатками политической оппозиции.

В последний раз революционное пламя вспыхнуло в великом герцогстве Гессенском, где его раздували священник Вейдиг в Буцбахе и студент естественно-исторического факультета Георг Бюхнер. Бюхнера неправильно называли первым германским социалистом, предшественником Лассаля; в действительности он не хотел и слышать о социализме, который в то время стал зарождаться во Франции. Но он был приверженцем и почитателем великой французской революции и для своего времени—политически очень ясная голова. Напротив, Вейдиг, честный и по своему разумный человек, по существу оставался христианско-германским энтузиастом, воспламенявшимся за императора и империю.

Между обоими возродилось то противоречие, которое разделяло уже Буршеншафт; оно нашло себе выражение в «Гессенском Вестнике» («Hessischer Landbote») —единственном революционном листке, порожденном этим гессенским движением. Бюхнер поднимал в нем крестьян, приглашая их сбросить ярмо феодальных угнетателей подобно тому, как некогда крестьянские восстания послужили началом великой французской революции; но Вейдиг жестоко изуродовал красноречивое, пламенное воззвание, вставив в него библейские тексты. Листок не имел сколько-нибудь заметного успеха. Запуганные крестьяне сами отдавали правительству попавшие к ним экземпляры, и пра-

вительство поспешило наложить свою руку на авторов. Бюхнер в решительный момент скрылся и скончался в Цюрихе в 1837 г., когда ему не было еще и 24 лет. Вейдиг был арестован, и следственный судья, страдавший от пьянства белой горячкой, подверг его в тюрьме таким истязаниям, что Вейдиг предпочел добровольную смерть и осколками стакана вскрыл себе жилы.

Но в то же время германские правительства подготовляли переворот, более решительный, чем могли бы совершить все демагоги, перед которыми дрожали правительства, тревожимые своей нечистой совестью. В 1834 году вступил в жизнь прусско-германский таможенный союз, который открыл для свободных внутренних сношений территорию в 8.000 квадратных миль с населением почти в 30 миллионов и тем самым противопоставил ее, как единое целое, иностранным торговым державам. Таможенный союз был продуктом горькой необходимости. Нельзя было до бесконечности удерживать то положение, когда Германия при всей ее раздробленности была открыта для подавляющей конкуренции заграницы, между тем как почти все остальные европейские государства были защищены таможенными пошлинами, и когда внутренний рынок Германии был разрезан бесчисленными таможенными линиями. Уже в 1818 г. финансовые соображения заставили прусское государство уничтожить на своей территории все внутренние таможенные заставы и, напротив, защитить таможенными своєю территорию от заграницы. И немолимая же финансовая нужда заставила средние и мелкие государства присоединиться к прусскому таможенному союзу, как ни сопротивлялась тому суверенная ограниченность маленьких тиранов, которые совершенно правильно предчувствовали, что здесь закладывается начало прусской гегемонии.

Постройка железных дорог дала экономическому развитию Германии не менее сильный толчок, чем основание таможенного союза. При бедности страны хорошими сухопутными и водными дорогами, крупнейшие торговые города быстро поняли, насколько в их интересах новые способы сообщения. Правительства и в этом случае про-

явили присущую им близорукость. Их суверенное недомыслие довольно часто тормозило развитие железнодорожной сети. Но в конечном счете и они не могли приостановить его. Железные дороги проложили первую широкую брешь в китайской стене партикуляристских предрассудков. Они раскрыли богатство германской земли залежами каменного угля и железной руды и оказали мощное содействие развитию крупной промышленности, которая начала теперь проникать и в мелкобуржуазную южную Германию.

С экономическим развитием литературная жизнь Германии пережила новый подъем. Романтическая школа мало-помалу впала в полное ничтожество. Правда, швабские поэты, примыкавшие к Уланду, последнему сильному отпрыску романтики, в своем швабском своеобразии, сохраняя тесную связь с прекрасным ландшафтом своей родины, остались более здоровыми натурами, но как-раз это своеобразие вызывало в них отчуждение от великих интересов, двигающих жизнью народов. Это относится и к самому талантливому из них, к Эдуарду Мёрике, которого именно потому, что он держался далеко от всякой политической и социальной борьбы, современные историки литературы из буржуазного класса чтут, как величайшего немецкого лирика, и ставят его следом за Гёте или даже на одном уровне с ним.

Как швабская школа поэтов все еще находилась под влиянием романтики, так и Шамиссо (1781—1838 г.) вышел из романтической школы. Француз по происхождению, он, сделавшись отставным прусским офицером, медленно сживался с особенностями немцев, но затем глубоко пропитался ими. Материал для творчества он отыскивал во всех частях земного шара, но его наилучшие стихотворения касаются современной жизни, которая все повелительнее заявляла о своих правах. Шамиссо написал несколько сильных боевых песен, а его «Песня ночного сторожа»: «Пусть будет король абсолютен, если он творит нашу волю» («Und der König absolut, wenn er unsern Willen tut»), била французских иезуитов и прусских помещиков. От слуха этого поэта не укрылось также, как массовая нищета уже

стучится в ворота буржуазного общества. В своих песнях о старой прачке и собаке нищего он нашел трогательные тоны для того, чтобы воспеть жизнь бедноты.

Шамиссо ввел в немецкую литературу Фердинанда Фрейлиграта (1810—1876 г.). В своих первых стихах он тоже скользил своим упоенным от восторга взором по отдаленнейшим и наиболее чуждым областям земного шара и с ярким, красочным великолепием описывал область мировой торговли в том самом 1835 году, когда в Германии возникла первая железная дорога. Глубокое впечатление, которое произвели уже эти первые стихотворения Фрейлиграта, объясняется тем, что они как бы распахнули окна в темной больничной палате со спертым испорченным воздухом, и перед глазами больных предстал сияющий широкий мир. Впоследствии Фрейлиграт высказывал небезосновательное мнение, что уже его первый период, время воспевания львов и пустынь, представлял революционную оппозицию трусливому обществу. Но ни он сам, ни его многочисленные поклонники еще не сознавали этой стороны его поэзии. Он принял небольшую пенсию, предложенную ему прусским королем и освободившую его от забот, и вел безмятежно-радостное существование поэта на смеющихся берегах Рейна.

Ближайшим земляком вестфальца Фрейлиграта был Христиан-Дитрих Граббе (1801—1836 г.), по своему дарованию наиболее выдающийся драматург тридцатых годов и один из тех великих талантов, которые были загублены жалкими германскими условиями. Таких талантов очень и очень много: все они представляют потрясающий протест против той несчастной филистерской мудрости, будто талант сумеет пробиться, как бы неблагоприятны ни были внешние условия. Если в стихотворении, посвященном своему покойному земляку, Фрейлиграт говорит, будто огонь поэзии во все времена был проклятием, то в подобной форме это неверно: Фрейлиграт, несмотря на всю борьбу, какую ему пришлось вынести, и несмотря на всю давившую его нужду, был счастливым человеком как-раз в этой борьбе. Действительным проклятием, послужившим причиной гибели Граббе, была жалкая мелкогосудар-

ственность и мелкий масштаб городов, был гнет общественных отношений, от которого он никогда не мог освободиться, был упадок германской сцены, который ему, прирожденному драматургу, не давал возможности плодотворного творчества, была, наконец, его невосприимчивость к бодрому призыву июльской революции, объясняемая тем, что он, подавленный и нищий с самого детства, рано стал предаваться пьянству, благодаря которому окончательно опустился и умер преждевременной смертью. Граббе написал ряд драм, из которых каждая свидетельствовала о блестящем таланте, но ни одна не могла приобрести национального значения.

Последнее прибежище Граббе нашел у Иммермана. Иммерман (1796—1840 г.), член одного прусского окружного суда, попытался устроить в Дюссельдорфе маленькую образцовую сцену. Она не пошла дальше экспериментов, тем более, что сам Иммерман в своих многочисленных, давно забытых драмах еще находился в полном плену у романтики. Значительнее его романы, прежде всего «Мюнхгаузен», который в одной части представляет жестокую сатиру на тогдашнюю германскую литературу,—эта часть в настоящее время будет не вполне понятна; в другой же части, в истории деревни Обергофа, Иммерман создал ряд здоровых фигур, заимствованных им из деревенского мира Вестфалии. Менее известен, но высокий исторический интерес представляет другой роман Иммермана, «Эпигоны», изображающий возникающую классовую борьбу между феодализмом и индустриализмом. Однако, Иммерман был не революционной натурой, а всю свою жизнь усердным старо-прусским чиновником.

3. Революционная литература. Гейне.

Если у этих поэтов еще совсем нет или имеются лишь слабые проблески революционной мысли, то у других она светилась уже настолько ярко, что они—добровольно или невольно—должны были жить за границей, потому что их свободное и смелое слово было невозможно в Германии.

Граф Арним фон-Платен (1796—1835 г.) происходил из

юнкерского рода, получившего известность в истории германских дворов своими, часто довольно бесславными, деяниями. Сам он был баварским офицером по профессии и всю свою жизнь должен был пользоваться милостями баварского короля Людвига. Тем не менее, он проложил в германскую литературу дорогу политико-революционной лирике. Он начал бунтом против несказанного упадка романтической школы,—бунтом в литературных формах, но только потому в литературных формах, что политический бунт был еще невозможен, потому что, как говорил Платен, Аристофана достоин только свободный народ.

Испытывая отвращение к состоянию Германии, Платен в конце двадцатых годов отправился в Италию; сюда его влекли не только прелести природы и сокровища искусства: здесь он жил среди народа, который, отбросив покорность, начал ломать свои цепи. С июльской революции Платен начал неустранимо выступать против насильников, царствовавших в Европе. В стихотворениях железной силы он клеймил петербургский кнут и берлинские фухтели. Крылатым словом о путешествующем рубле он бичевал продажность, которой царский деспотизм угрожал замучить Западную Европу. Одинокий в жизни, Платен был одинок и при смерти. Он умер в Сиракузах, не достигнув и 40 лет,—за несколько лет до того времени, как развилась политическая поэзия, почти все представители которой—Фрейлиграт, Гервег, Пруц, Дингельштедт—почитали в нем своего учителя.

Не поэтом, как Платен, но значительным писателем был Людвиг Бёрне (1786—1837 г.). Он родился во Франкфурте, на Юденгассе (Еврейской улице) и в свои юные годы испытал все бедствия, которые угнетали евреев в Германии, пока не пришли французы и не улучшили их положения. Бёрне тоже начал литературным бунтом; сначала он выступил, как остроумный театральный критик, но потом резко разошелся с господствующими классами своего родного города, который хотя и назывался вольным городом, но наполовину все еще был окутан гнилью средневекового мещанства, а наполовину уже сделался современным денежным рынком, которого несколько не каса-

лись духовные интересы. Чтобы избежать преследований, которые могло навлечь на него свободное слово, Бёрне уже в 1822 году уехал в Париж, откуда он своими «Парижскими письмами» объявил германским деспотам беспощадную войну, которая тем чувствительнее поражала их, чем больше сарказма было в насмешках Бёрне.

Но идейный мир Бёрне был ограничен. Он сжился с мелкобуржуазно-демократическими воззрениями, и его политическое понимание не шло дальше определенных границ. У него не было сколько-нибудь глубокого понимания ни германской философии, ни французского социализма. В этом отношении его далеко превосходил человек, которого еще и теперь, как-будто он жив, государи, помещики и попы чтят дикой ненавистью.

Генрих Гейне (1797—1856 г.) занимает совершенно исключительное и ни с кем несравнимое положение не только в германской, но и в мировой литературе. Нет другого современного поэта, в произведениях которого краски и формы трех великих мирозерцаний, сменявших друг друга в течение столетия, так гармонически сливались бы в целостное единство художественной индивидуальности. Сам Гейне называл себя последним королем красочной романтики, и, однако, романтика исчезала из мира от звука его ясного смеха. Гейне всегда вел борьбу за идеи буржуазной свободы, и, однако, он же раскаленным железом заклеил всю половинчатость и двойственность буржуазного либерализма. Гейне немало сделал в том направлении, что он открыл коммунизм в его живой реальности и всегда предсказывал неизбежность его будущей победы; и, однако, он никогда не мог преодолеть внутреннего содрогания перед коммунизмом.

Подобно Бёрне, Гейне был тоже еврей по происхождению. И если оба рано перешли в христианство, то сделали это не ради внешних выгод, а потому, что, по меткому выражению Гейне, свидетельство о крещении было тогда входным билетом, открывавшим доступ к европейской культуре: ни в какой иной форме невозможно было освободиться от иудейства, которое в Германии того времени еще глубоко захватывалось средневековым варварством.

Так же обстоит дело и с культом Наполеона, которому Гейне предавался в свои юные годы, и который навлекал на него частые обвинения в том, что для него нет отечества. Сняв с плеч иудеев ярмо, которое пригнетало их к грязи и пыли, Наполеон открыл перед ними ворота к современному образованию, и они были бы глупцами, если бы вдохновились не Наполеоном, а каким-нибудь прусским Фридрихом-Вильгельмом и другими германскими королями-багюшками.

Гейне начал в двадцатых годах своими «Reisebilder» («Путевыми картинами»), смело набросанными эскизами, в которых он из неистощимого колчана своей сатиры посылает стрелы в уродства германской жизни, порожденные филистерством, и рассыпает здесь собранные впоследствии в «Книгу песен» стихи, с которыми по лирической силе и нежности могут равняться только стихотворения юного Гёте. Затем июльская революция пробудила его к политической и социальной борьбе. Гейне отправился в Париж и в течение тридцати лет работал над тем, чтобы уничтожить стену, которая существовала между двумя великими культурными народами континентальной Европы, и которой по справедливости дорожили деспоты, как надежнейшим оплотом их силы.

Гейне разъяснил французам тайны нашей классической философии и таким образом раскрыл перед ними духовную однородность германской нации. А в письмах, которые он посылал в аугсбургскую «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая Газета»), он описывал для немцев французскую жизнь во всех ее политических, социальных, художественных и литературных проявлениях. В этих письмах Гейне снова и снова возвращается к непреодолимости коммунизма, как массового пролетарского движения, и говорит об этом с такой же пророческой уверенностью, с какой он говорил французам, что германские ремесленные подмастерья являются наследниками нашей классической литературы и философии.

Как связующее звено между германской и французской культурой, Гейне выполнил историческую задачу, цивилизаторское значение которой может оспаривать только со-

временный официальный патриотизм при его национальной, политической и социальной ограниченности. Этот патриотизм мстит Гейне, рассказывая, что Гейне, подкупленный французской буржуазно-королевской властью, ставил своей задачей прикрашивать французскую испорченность и порочить германскую невинность. Низкая сплетня основывается единственно на том, что Гейне, подобно многим другим европейским эмигрантам, принял ежегодную пенсию от французского министерства Гизо в то время, когда германский союзный сейм актом низкого насилия воспретил все не только уже изданные, но и имеющие быть изданными сочинения Гейне, Бёрне и так-называемой «Молодой Германии», благодаря чему Гейне был оставлен без куска хлеба. Если и является национальным позором, что германский поэт жил милостью французского правительства, то этот позор падает не на Гейне, который не брал на себя обязательства голодать во славу Габсбургов и Гогенцоллернов, и не на французское правительство, которое давало свою защиту жертвам постыдных гонений, а на германский союзный сейм, этого палача при германских государях.

Под влиянием Бёрне и Гейне, в самой Германии возникла «Молодая Германия»—группа из четырех или пяти литераторов (Людвиг Винбарг, Карл Гуцков, Георг Лаубе, Теодор Мундт), которая, живя под гнетом германского деспотизма, пришла лишь к половинчатой оппозиции, окончательно сломленной после недостойного, направленного против нее акта насилия, предпринятого союзным сеймом. Оружие, выпавшее из ее слабых рук, подхватила гегельянская философия, которая теперь, когда в Германии стала пробуждаться новая жизнь, начала выдвигать свою революционную сторону.

4. Философия и пролетариат. Вейтлинг.

В то время, как старейшие гегельянцы продолжали пережевывать слова учителя, младшие ученики Гегеля, основавшие собственный орган «Hallische Jahrbücher» («Галльские Ежегодники»), руководимые Арнольдом Руге, пришли

к той мысли, что ядро этой философии—не система, а метод, не покой, а движение, не застой, а развитие.

Но так как политика все еще представляла в Германии область, обнесенную густым терновником, то они прежде всего принялись за религию, идеологическую спутницу германского деспотизма; впрочем, это и вообще соответствовало идеологическому направлению их ума. Они примкнули к той критике евангелия, которую они нашли у буржуазных просветителей и которая привела не к какому-либо решительному результату, а лишь к вопросу, сущность которого формулирована Лессингом следующим образом: если евангелия представляют сказки и легенды или даже ложь и обман, как могло случиться, что из этой болотистой подпочвы возникло такое всемирно-историческое явление, как христианская религия?

В своей «Жизни Иисуса», появившейся в 1835 году, Давид-Фридрих Штраус (1808—1874 г.), правда, тоже еще не ответил на этот вопрос: он подверг евангельские сообщения о жизни Иисуса строгой научной критике, созревшей в школе классической философии. То, что он нашел в них неправдоподобного и явно сочиненного, он признал не ложью и обманом, а неосознанно созданным произведением первых христианских общин, которые перенесли на Иисуса все мессианическое упование иудейского народа. Этим еще не решалась и даже становилась еще более темной действительная проблема, потому что теперь приходилось объяснять, каким образом молодой иудейский равви с человеколюбивыми настроениями, с не всегда безукоризненной моралью и с всегда скромной способностью преподносить назидательные притчи,—а только это и осталось от Иисуса после критики Штрауса,—каким образом он мог основать новую мировую религию.

Если Штраус признавал евангелия уже не священными писаниями, а светскими историческими документами, то Бруно Бауэр (1809—1882 г.) сделал еще шаг вперед: он вообще отверг их в качестве исторического источника и признал исключительно духовным продуктом своего времени. Опираясь на светскую историю Римской империи

в первые два века нашей эры, он подверг их решительной проверке и показал, что все заключающиеся в них идеи и представления уже имелись в греко-римской и иудейской литературе задолго до написания евангелий.

Если это так, то Иисус не мог быть первым, возвестившим эти идеи и представления, которые затем с победоносной силой завоевали весь земной шар. Бруно Бауэр оспаривает даже, чтобы Иисус жил когда-либо в действительности. И если в этом он пошел, может-быть, слишком далеко, то это—совершенно второстепенный вопрос по сравнению с окончательным результатом его критики: никогда не было такого христианства, которое, возникнув из иудейства в готовом и законченном виде, завоевало весь мир своим прочно установившимся вероучением и нравоучением. Христианство не было навязано греко-римскому миру, а, напротив, в виде мировой религии оно было доподлинным продуктом самого этого мира.

Бауэр полагал, что таким образом он опрокинул последний барьер, закрывавший доступ к светской, действительной истории. Но при всей остроте своей критики он оставался в плену гегелевской философии, которая выводила не идеи из действительности, а действительность из идей, не понятия из вещей, а вещи из понятий. Бруно Бауэр воображал, что своей чистой критикой он может произвести расчистку как в религиозной, так и в политико-социальной области, в которой он как-раз поэтому никогда не мог ориентироваться. Если Штраус всегда оставался наполовину филистером, который обрушивался не только на пролетарскую революцию, но вел борьбу и против буржуазной революции, то Бруно Бауэр, хотя его никогда не захватывал ново-германский имперский патриотизм, в своих политико-социальных блужданиях дошел даже до объятий «Крестовой Газеты» («Kreuzzeitung»—орган крайних реакционеров. *И. С.*).

Людвиг Фейербах (1804—1872 г.), в свою очередь, сделал еще шаг вперед дальше Бруно Бауэра: он выступил против самой гегелевской философии, показав, что она является последней опорой теологии, и что, не расставшись с философией Гегеля, нельзя расстаться и с теоло-

гией. Гегелевское учение, что действительность возникла из идеи, вещи—из понятий, есть просто философское выражение того, что бог сотворил мир. В своей работе о «Сущности христианства» Фейербах снова возвратил действительному человеку его права. Он говорил: развившийся из действительности, существующей независимо от всякой философии, человек—высшее существо для человека. Не существует ничего, кроме человека и природы. Небесные существа суть лишь создания человеческой фантазии, лишь фантастические отражения человеческого существа. Как человек—высшее существо для человека, так и высший закон для человека — любовь не к богу, а любовь к человеку.

Фейербах совершенно порвал с философским идеализмом и возвестил философский материализм. Но и для него оставался последний шаг, которого он был не в состоянии сделать. Стойкий демократ в духе своей философии, он всегда вызывал величайшие подозрения правительств. Он не получил никакой академической кафедры, и его бедность, делающая ему честь, прикрепила его к уединенной деревне, где он оставался более или менее отрезанным от исторического мира. Его материализм ограничивался природой, в чем он сам видел недостаток; тем не менее, он не мог притти к ясному пониманию того факта, что человек живет не только в природе, но и в обществе, и что, следовательно, материализм есть не только наука о природе, но и наука об обществе.

В то самое время, когда началось это развитие германской философии в революционном направлении, подобное же развитие началось и в германском пролетариате, среди германских ремесленников-подмастерьев, живших за границей, потому ли, что после 1830 года реакция погнала их за рубеж, потому ли, что они в своих странствованиях остались за границей. Приблизительно одновременно, около 1830 года, возникли тайные организации германских ремесленных подмастерьев в Париже и в Швейцарии: в Париже—«Союз изгнанников», в Швейцарии—«Молодая Германия», которая примыкала к «Молодой Европе», находившейся под руководством итальянского революционера

Мадзини. В обоих тайных союзах господство принадлежало буржуазно-демократическому направлению. У «Молодой Германии» была в Швейцарии сначала сравнительно свободная арена, но затем она была закрыта швейцарскими правительствами, подчинившимися настоящим германского союзного сейма. Что касается «Союза изгнанников», то преобладание в нем все больше переходило к пролетарским тенденциям. Он преобразовался в «Союз справедливых», у которого установились тесные связи с «Обществом времен года», но который был зато вовлечен и в катастрофу, постигшую это общество. Тогда он переселился в Лондон. Здесь 7-го февраля 1840 года некоторые из его членов основали «Коммунистический Рабочий Союз», существующий и в настоящее время.

Что касается Парижа, здесь портной Вейтлинг собрал рассеянные элементы и затем отправился в Швейцарию с целями коммунистической пропаганды.

Вильгельм Вейтлинг (1808—1871 г.) был первым германским рабочим, который развертывал деятельность, как пионер и в истории германского рабочего движения, и в истории социализма. Его отцом был французский офицер, без вести пропавший во время наполеоновского похода в Россию, его матерью—бедная работница, которая при всем своем самопожертвовании и любви к подрастающему мальчику, конечно, могла смягчить, но не могла устранить нужды этого внебрачного пролетарского ребенка. Самое происхождение обеспечило ему свободу от всякого прусского патриотизма. Как только пришло время, когда Вейтлингу надо было вступить в прусскую армию, он собрал свой ранец и отправился странствовать по широкому миру.

В Вене он нашел много работы в качестве дамского портного, но скоро опять взял дорожную котомку и отправился в Париж, желая найти товарищей, которых и встретил здесь в «Союзе справедливых». Богатая жизнь французского социализма раскрыла перед ним новый мир, и его историческая заслуга заключается в том, что он внес пролетарскую ноту в этот многоголосый концерт, который многих сбивал с толку. Все социалистические си-

стемы, какие бы различия ни существовали между ними, исходили из того общего предположения, что только понимание и благоволение имущих классов в состоянии помочь трудящимся классам. Вейтлинг отверг эту «проклятую бессмыслицу» и открыто возвестил, что рабочий класс только сам может освободить себя. Вейтлинг увидел это раньше, яснее, с большей отчетливостью, чем французские социалисты Кабэ, Луи-Блан и Прудон, которые, каждый по-своему, около 1840 года начали искать путей к сближению рабочего движения и социализма.

Вейтлинг не отказывался от социализма как такового, вспоминая о прежних голодных восстаниях в Лионе и Манчестере. Но он сошел с социализма его характер общечеловечности, при котором он мог ограничиваться мирной пропагандой, и построил его на противоположности трудящихся и имущих классов, которой никогда нельзя примирить, но можно лишь уничтожить таким способом, что революционные действия пролетариата превратят капиталистическое общество в социалистическое. В духовном отношении Вейтлинг всегда находился в большой зависимости от западно-европейских социалистов, но он открыл выход из тупика, в котором они все сидели. Он проломал ворота в той стене, на которой до того времени появлялись и исчезали все социалистические системы, как картины волшебного фонаря.

Агитация Вейтлинга в Швейцарии произвела сенсацию чуть ли не во всей Европе. Она была неприятной неожиданностью для господствующих классов: совершенно так же, как дети, вообразив, что можно играть с огнем, вдруг чувствуют боль обожженного пальца. Для этих классов мирный социализм сделался своего рода модой. Было так красиво и так дешево афишировать великодушное сострадание, которое ни гроша не стоило чувствительным сердцам. Но вот живой пролетарий перевернул медаль и показал на ее оборотной стороне голову Медузы. И этот пролетарий говорил языком, который силой своей непосредственности, бурным красноречием, а в значительной степени и обилием ярких мыслей, далеко оставлял позади деревянную литературу буржуазных профессоров.

Но при всем том Вейтлинг еще далеко не был современным пролетарием. В странах, знакомых ему, в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, еще не было крупной промышленности или были только ее скромные зачатки. Вейтлинг был прежде всего лишь выразителем пролетаризованного ремесла. Он не знал, что только крупная промышленность создает средства и возможность для того, чтобы превратить капиталистическое общество в социалистическое; не знал он и того, что крупная промышленность создает и дисциплинирует в виде современного пролетариата ту армию, которая способна совершить этот переворот. Он никогда не мог уяснить себе, что в борьбе за свою эмансипацию рабочий класс создает оружие и орудие этой эмансипации.

Поэтому революция представляла для него то же, чем для утопических социалистов был спасительный король или спасительный миллионер: она должна была опрокинуть старое общество для того, чтобы по более или менее гениальному плану построить новое. Постольку утопистом оставался и Вейтлинг. Какой бы глубокомысленный план нового общества ни набросал он, все же и самая глубокомысленная утопия не могла сделаться целью пролетарской освободительной борьбы.

Как заблуждался Вейтлинг относительно цели, так заблуждался он и относительно средств. Так как он еще не знал крупно-промышленного пролетариата, а знал только пролетаризованное ремесло, то все свои упования он возлагал на растущую нищету масс. Он хотел, чтобы капиталистический беспорядок дошел до крайней степени, и чтобы трудящиеся классы впали в безграничную нищету. Их отчаяние представлялось ему самым действительным рычагом революции. Он рассчитывал даже на босяцкий пролетариат и рекомендовал кражу, как последнее оружие бедных против богатых. Агитация Вейтлинга должна была потерпеть крушение в силу этих внутренних противоречий, если бы даже правительства немедленно не мобилизовались против нее. Вейтлинг еще не мог сделаться полководцем современного рабочего движения, но он был его пророком, как метко назвал его Фейербах.

5. Король-романтик.

Между тем с половины тридцатых годов развитие германской буржуазии пошло быстро, и она начала выдвигать политические требования.

Чем больше поднималась торговля, тем больше различия монетных систем, мер длины и веса и многочисленность почтовых тарифов в раздробленной Германии вопияли о необходимости ее национального объединения, тем ощутительнее становилось пренебрежительное отношение союзного сейма к развитию средств сношений и жалкая недостаточность защиты торговых и экономических интересов за границей.

Растущее недовольство буржуазии впервые прорвалось в 1840 году, когда умер прусский король. Он самым грубым образом нарушил торжественное обещание даровать конституцию, данное им в дни опасности, но он не мог уничтожить память об этом обещании: иноземное французское господство привело прусское государство на край пропасти и заставило его в 1820 году обещать кредиторам, что без гарантии со стороны имперских чинов не будет предпринят никакой новый заем. Но кредиторов государства было не так легко провести, как подданных. Если при старом короле кое-как удавалось справиться с финансовыми делами Пруссии, то теперь невозможно было дальше оттягивать заключение новых займов, без чего нельзя было построить железнодорожную сеть, настоятельно необходимую по стратегическим и экономическим соображениям.

Буржуазия надеялась, что с восшествием на престол нового короля она приблизится к своим целям. Фридрих-Вильгельм 4-й был человек, несравненно более даровитый, чем его отец; было известно, что он ненавидит закостенелую бюрократию, совершенно неспособную понять потребности буржуазии. Но здесь случилось трагикомическое недоразумение. Романтик до мозга костей, новый король, действительно, ненавидел бюрократию, но не потому,

что она представлялась ему слишком реакционной, а потому, наоборот, что она была для него слишком революционна. Все его симпатии принадлежали феодальному дворянству, социальное преобладание которого он старался восстановить совершенно в средневековом виде. Он отказался дать конституцию, обещанную его отцом, а у буржуазии не оказалось необходимого мужества для того, чтобы принудить его к исполнению обещанного. Брошюра Иоганна Якоби: «Четыре вопроса одного восточного пруссака», в которой он предлагал добиваться исполнения королевского обещания, как своего права, нашла в буржуазии лишь слабый отклик.

Однако, финансовая нужда не позволяла с собою шутить. Она из года в год возрастала и, наконец, в 1847 году заставила короля объединить в соединенный ландтаг восемь провинциальных ландтагов,—не игравшее никакой роли иллюзорное представительство провинций, созданное еще его отцом,—и созвать его в Берлине: на словах—для того, чтобы исполнить обещание дать конституцию, в действительности—для того, чтобы получить «налоговый насос для абсолютизма». Но теперь уже не так-то легко было провести буржуазию. Соединенный ландтаг, прежде чем согласиться на заключение новых займов, потребовал гарантии конституционных прав, и на все убедительные представления короля устами Ганземана ответил: всякое благодушие прекращается там, где начинаются денежные дела. После этого королю нечего было делать.

Между тем перед ним выступал еще более опасный противник в виде пролетариата, который вырастает вместе с буржуазией и сопровождает ее, как тень. Массовый пролетариат возник в сороковых годах. Крупная промышленность и крупная торговля начали подкапываться под ремесло и нарушать мелкобуржуазные формы жизни, в которых до того времени прозябало городское население. В деревне все более распространялось крупное феодальное землевладение, которое накидывалось на курение спирта из картофеля и возделывание сахарной свекловицы, и массами экспроприировало мелких крестьян, чтобы получить необходимые рабочие силы, для которых оно, даже

по официальным отчетам, создавало самые тягостные условия. Неопишущая нищета царила как среди деревенского пролетариата, так и в разлагающемся ремесле; но хуже всего было положение домашнепромышленных рабочих, особенно в силезской текстильной промышленности, которые обеими ногами стояли еще в феодальном болоте, между тем как их тело уже потрясилось сильнейшими вихрями капиталистической конкуренции.

У нового пролетариата не было никакого оборонительного и наступательного оружия для того, чтобы собственными силами помочь себе. По соображениям о барыше или даже по капризу капитал мог выбрасывать пролетариев массами на улицу, а всякая попытка сопротивления рабочих, хотя бы в самой робкой форме приостановки работ, беспощадно подавлялась полицейской плетью. Полнейшее бесправие рабочего класса было главным юридическим принципом христианско-германского государства.

В новом пролетариате еще не могло развиваться пролетарское классовое сознание. Внутренно он представлял еще очень разнородную массу; ошеломленный падением в пропасть, он еще не мог понять, что его нужда создана искусственно в интересах господствующих классов, и что ее возможно устранить лишь в борьбе с интересами этих классов. Он старался в разгуле забыть свой печальный жребий, и одно преимущество для бедноты во всяком случае было у нового строя вещей: картофельную водку он доставлял поразительно дешево.

Но насильственными мерами нельзя заставить современного пролетария надолго забыть в себе человека; а если такое положение затягивается, то и у самого слабого все же еще остается жало против мучителей. Предтечами революции в половине сороковых годов были сопровождавшиеся насилиями бунты, из которых величайший разыгрался в июне 1844 года в силезских деревнях Лангенбилау и Петерсвальдау, населенных ткачами. Это были лишенные плана и цели голодные бунты, подобные тем, которыми некогда начиналась английская и французская революция; они приводили только к гибели самих бунтовщиков. Но, вспыхивая повсюду, они были знамена-

тельным признаком того, что пролетарские массы и в Германии начали приходить к сознанию своего неотчуждаемого права на достойное человеческое существование.

Таким образом, если у буржуазии не было воли, а у пролетариата—силы для того, чтобы посчитаться с деспотизмом, то эта задача опять-таки выпала на долю литературы и философии. Сороковые годы были эпохой расцвета политической лирики. Едва ли еще какой-либо германский поэт—раньше ли, позже ли—достигал такого триумфа, как Георг Гервег (1817—1875 г.), когда он в 1841 году издал свои «*Gedichte eines Lebendigen*» («Стихи живого»). Они горели огнем необузданной жажды борьбы, извлекающей меч из ножен, хотя она и сама еще не знает, чье сердце пронзит этим мечом. Поколение, привыкшее к тому, что политическая и социальная борьба ведется с практической серьезностью, возможно, ипогда будет усмехаться над неясным пафосом этих стихов; тем не менее, некоторые из них будут забыты лишь, когда умрет немецкий язык, и немало мужественных борцов за свободу пало с песнями Гервега на устах.

К сожалению, этому поэту была суждена только короткая поэтическая весна. Его песни уже пришли к концу, когда Фрейлиграт, тронутый растущей народной нуждой, обратился к политической лирике. Этот вестфалец был вырезан как бы из крепкого дерева, которое медленно охватывается огнем, но зато долго горит и светит. Хотя его песни не были так мелодичны, как песни Гервега, и при своей грубоватости по временам смахивали на карикатуру, однако, он превосходил Гервега по революционной образности и раньше других понял, что надежды и будущее германской нации лежат в рабочем классе. Фрейлиграт был первым певцом германского пролетариата; последнему он посвятил наиболее сильные из своих песен.

Подобно Фрейлиграту, Георг Верт был родом тоже из Детмольда. В своих стихах он воспевал социальную революцию, хотя он охотнее за нее боролся, чем ее воспевал: он даже не дал собрания своих стихотворений. Мы можем оставить некоторые из них в забытых теперь периодических изданиях; но то, что остается в памяти до настоя-

щего времени, показывает, что этот поэт стоял на одном уровне с Фрейлигратом.

Остальные политические лирики сороковых годов (Гофман фон-Фаллерслебен, Дингельштедт, Бекк, Пруц) не дошли до понимания возникающего рабочего движения, и из их произведений сохранилось очень немногое. Тем бесмертнее сатиры Гейне, относящиеся к тому времени,— «Сон в летнюю ночь», «Атта Троль» и в особенности его зимняя сказка «Германия»; одного этого поэтического произведения достаточно для того, чтобы обеспечить за его творцом место среди великих поэтов всех времен.

Более или менее значительное влияние на эту политическую лирику оказало революционное развитие гегелевской философии. После того как Людвиг Фейербах совершенно порвал с ее идеализмом и обратился к естественно-научному материализму, Карл Маркс и Фридрих Энгельс сделали решительный шаг вперед и обосновали материализм, как науку и об обществе.

6. Маркс и Энгельс.

Карл Маркс (1818—1883 г.) был сыном одного трирского адвоката. В родительском доме он получил тщательное воспитание, но еще не дышал в нем революционным воздухом. Это имело для юного Маркса в некоторых отношениях столь же решающее значение, как в других отношениях тот факт, что он родился в той части Германии, которая всего основательнее была вскопана плугом французской революции.

После нескольких веселых семестров, проведенных юншей Марксом в рейнском университете Бонна, и после совершившейся в юных годах помолвки с девушкой, которой предстояло сделаться таким же благородным другом рабочего класса, как сам Маркс, озабоченный отец, бывший германским и даже прусским патриотом, отправил своего юного беззаботного потомка в Берлин, где он должен был набраться солидности и разума. Ничто не влекло в Берлин молодого Маркса, который любил свою

облиту солнцем родину,—и меньше всего влекла его гегелевская философия, остававшаяся совершенно чуждой ему. Только случайность привела его в кружок берлинских младо-гегельянцев, группировавшийся вокруг Бруно Бауэра. С последним Карл Маркс сошелся ближе всего,—как-раз в то время, когда в Бауэре начали созревать идеи его критики евангелия, положившей начало новой эпохе в этой области.

Так как Бауэр старался показать, что христианская религия представляет духовный продукт античного мира, то было необходимо основательное изучение греко-римских философских школ, учения которых оказали свое действие на формирующуюся христианскую веру. И вот историческое изложение этих школ было первой научной работой, к которой решился приступить Карл Маркс. Часть ее дошла до нас в виде его докторской диссертации. Она показывает, насколько глубоко еще силен он в гегельянстве, но показывает в то же время, что он уверенно владел диалектическим методом гегельянства. В кружках берлинских младо-гегельянцев Маркс, несомненно, научился многому.

Однако, эта восходящая стезя жизни приводила его к самому краю опасной пропасти. Младо-гегельянцы сумели преобразовать учение своего учителя в религиозной области, но они не сумели сделать то же в политической и социальной области. Берлинские младо-гегельянцы здесь были в особенности беспомощны, хотя они старались утешиться тем соображением, будто политические и социальные вопросы унизили бы достоинство философии. В Берлине не было той сильной опоры, какую в Рейнской области буржуазное правосознание находило в высоко развитой промышленности. Берлин был городом военщины и резиденцией с преобладающе мелко-буржуазным населением, которое отводило душу самое большее в злой и мелкой сплетне и осмеливалось сжимать свой кулак только тайно, в кармане. Когда борьба того времени начала разворачиваться на практике, Берлин оказался позади Кельна и даже Лейпцига. Спустившись с облаков, философия не нашла в Берлине никакой почвы, на которой она могла

бы научиться ходить, и никаких реальных интересов, по которым она могла бы нащупать дорогу.

Поэтому, какое бы решающее значение для юного Маркса ни имело его временное пребывание в Берлине, столь же решающим для него было то обстоятельство, что он возвратился на родину и немедленно был вовлечен в политическую борьбу, как сотрудник «Рейнской Газеты» («Rheinische Zeitung»), которую основали Кампгаузен и Ганзман, вожди рейнской буржуазии, с той целью, чтобы отстаивать интересы этого класса. Газета не была революционным органом. Она была даже готова вести борьбу под флагом прусского государства, лишь бы оно допустило, чтобы за экономическим прогрессом последовал духовный и политический прогресс.

Но берлинское правительство было слишком ограничено для того, чтобы понять, в чем заключаются его истинные интересы. Оно тем более коснело в своей восточно-эльбской отсталости, чем энергичнее «Рейнская Газета» подталкивала его к уровню современного буржуазного общества. Конфликт обострялся изо дня в день и скоро повел к тому, что решающая роль перешла к более радикальным сотрудникам газеты. Маркс был среди них и наиболее юным и наиболее талантливым. Он настолько выдвинулся своими статьями, что в октябре 1842 г. сделался политическим руководителем газеты.

Его первые работы трактовали вопрос о свободе печати и еще в настоящее время относятся к лучшему из всего, что вообще писалось на эту тему. Но в то же время прения рейнского провинциального ландтага о законе касательно порубок леса, о свободе торговли и протекционизме и т. д. вводили Маркса в область материальных интересов, где идеологические точки зрения гегелевской философии не могли дать ему каких-либо руководящих указаний. Поэтому, он никак не мог обойтись без изучения этих вопросов, хотя, благодаря этому, расходился со своими берлинскими друзьями.

Точно так же он задумал заняться на страницах «Рейнской Газеты» основательным исследованием французского социализма, слабый отголосок которого перекатился че-

рез Рейн. Но он не успел исполнить этого намерения. Возрастающая оппозиционность газеты и искусная тактика, которую Марксу удалось парализовать цензуру, в особенности же острый конфликт, который пришлось выдерживать газете,—и который она блестяще выдержала,—с обер-президентом Рейнской провинции из-за ее основательных сообщений о положении мозельских крестьян,—все это повело к тому, что 1-го апреля 1843 года правительство запретило издание газеты. Маркс вышел из газеты уже несколькими неделями раньше, так как не хотел нести ответственность за старания акционеров добиться отмены воспрещения, усвоив менее оппозиционную тактику.

Для него теперь была закрыта всякая общественная деятельность в Германии, и он договорился с Арнольдом Руге, редактором младо-гегельянских «Ежегодников», запрещенных в одно время с «Рейнской Газетой», переселиться в Париж и продолжить там борьбу посредством нового периодического издания, «Германско-Французских Ежегодников» («Deutsch-Französische Jahrbücher»). Но этого издания вышел только один выпуск, так как оба издателя не могли договориться между собою по принципиальным вопросам. Руге не разделался со своими философскими предубеждениями, между тем как Маркс все больше освобождался от них.

1844 год, проведенный в Париже, принадлежит к числу плодотворнейших из годов его молодости. Он у первоисточника изучал французскую революцию и ее потрясающее влияние на весь мир; пользуясь французской исторической литературой, он выработал глубокий взгляд на классовую борьбу буржуазии, начиная с средних веков; богатая литература французского социализма, которая в лице Кабэ, Луи Блана и Прудона начала приближаться к рабочему движению, не в меньшей мере давала ему изобилие разнообразных впечатлений.

В «Германско-Французских Ежегодниках» Маркс боролся против того воззрения великих утопистов, будто социализму нет никакого дела до политики. Напротив, он стремился установить связь именно с практической борьбой, развертывавшейся в то время: только таким образом

эпоха и могла прийти к пониманию самой себя. Он ссы­лался на тот тезис Фейербаха, согласно которому человек создал религию, а не религия человека, и затем продол­жал: человек—не абстрактное существо, обитающее вне мира; человек—это мир человека, государство, общество. После того, как философия устранила потусторонность истины, задача истории заключается в том, чтобы устано­вить истину посюсторонности. Критика неба должна пре­вратиться в критику земли, критика религии—в критику права, критика теологии—в критику политики.

С поразительной проницательностью Маркс показал на положении Германии, что, как с того времени подтвер­дили почти уже 70 лет германской истории, борьба бур­жуазии за эмансипацию сойдет на-нет, но с тем большей силой будет развиваться освободительная борьба рабо­чего класса или, как он выражался на своем языке, еще обвешанном философией, что в Германии возможна только человеческая, а не политическая эмансипация. Человече­ская эмансипация осуществится лишь тогда, когда чело­век познает и организует свои индивидуальные силы, как силы общественные, и потому уже не будет отделять от себя общественную силу в виде политической силы.

Маркс говорил своим старым друзьям, младо-гегельян­цам: «Вы не можете осуществить философии, не уничто­жив ее». Но он не забывал, чему он научился у них, и говорил буржуазии: «Вы не можете уничтожить филосо­фии, не осуществив ее. Как философия находит в проле­тариате свое материальное оружие, так пролетариат нахо­дит в философии свое духовное оружие. Голова освобо­дительного движения—философия, его сердце—пролета­риат. Философия не может быть осуществлена без уничто­жения пролетариата, пролетариат не может уничтожить себя, не осуществив философии».

Если Маркс, благодаря своему духовному развитию, разошелся с друзьями своей молодости, то в одном сотруд­нике «Германско-Французских Ежегодников» он приобрел более чем достаточное возмещение. Это был Фридрих Эн­гельс, с которым он в течение сорока лет с того времени рука-об-руку вел общую борьбу. Энгельс (1820—1895 г.)

был сыном одного эльберфельдского фабриканта. Его, как и Маркса, не личная нужда, а высокая интеллигентность толкнула на революционный путь. Благодаря этому он совершенно порвал с духом своей высоко консервативной и строго верующей семьи и, будучи еще мальчиком, отказался от карьеры чиновника. Дойдя до старшего класса эльберфельдской гимназии, он избрал купеческую профессию. Годы своего ученичества он провел в Бармене и Бремене и отбыл свой год службы добровольцем в Берлине.

Практическая деятельность не удалила его от занятий философией. «Сущность христианства» Фейербаха произвела на него сильное впечатление; он был тесно связан и с берлинскими младо-гегельянцами в то время, когда Маркс уже покинул Берлин. Энгельс в своей молодости не получил такого строгого философского образования, как Маркс, но зато превосходил его по знанию практической жизни.

Окончив свою военную службу, Энгельс отправился в Манчестер приказчиком на одну фабрику, которая принадлежала его отцу. Здесь он познакомился с крупной промышленностью, и его философское образование дало ему возможность понять историческое значение современного пролетариата, создаваемого этой промышленностью. Как Маркс из французской революции, так Энгельс из английской промышленности узнал, что экономические факты, до сих пор не игравшие никакой роли или игравшие лишь презренную роль в глазах историков, представляют решающую историческую силу. В статьях для «Германско-Французских Ежегодников» Энгельс подверг критике политическую экономию в том виде, как она была создана Адамом Смитом и Рикардо. Он вскрыл ее внутренние противоречия и пришел к выводу: производите сознательно, как люди, а не как атомы, лишённые родового сознания,—и вы преодолеете все эти искусственные и незащитимые противоположности.

Одинаковость результатов, к которым пришли Маркс и Энгельс, должна была представлять для них тем большую ценность, что они получили эти результаты, идя совершенно различным путем. Общим для них был философ-

ский исходный пункт. Они исходили от Гегеля, от Бруно Бауэра, от Людвига Фейербаха, они изучали английский и французский социализм; но дальше средством к пониманию борьбы и стремлений эпохи для Маркса сделалась французская революция, для Энгельса—английская промышленность. На двух великих исторических переворотах, которыми начинается история современного буржуазного общества, они до последних корней проследили внутреннюю разорванность этого общества.

В сентябре 1844 года, возвращаясь в Германию, Энгельс провел двенадцать дней у Маркса в Париже, где они устно договорились вплоть до деталей. Сообща они составили полемическое сочинение, направленное против Бруно Бауэра, «Святое семейство», в котором они покончили счеты со своей прежней философской совестью. Но прежде чем вышла в свет эта работа,—в подавляюще огромной части выполненная Марксом,—последний по настоянию прусского правительства был выслан из Парижа и отправился в Брюссель, где он оставался следующие три года и, поддерживая постоянные сношения с Энгельсом, работал над тем, чтобы расширить и углубить свое новое мирозерцание. Энгельс написал свою составившую эпоху работу о «Положении рабочего класса в Англии», Маркс же в произведении, направленном против Прудона, дал первый набросок своего произведения о капитале. Кроме того, они успели размежеваться с разнообразнейшими умственными течениями той эпохи,—с появившимся уже в то время правительственным социализмом в такой же мере, как и с буржуазным радикализмом, который зло всего мира видел в монархах.

Но они не хотели ограничиваться теоретической работой,—они старались вести и практическую пропаганду. Им удалось найти сторонников,—в первое время не многочисленных, но горячих и относившихся к делу с полным пониманием,—не только в самом Брюсселе, который был тогда центром европейских эмигрантов, но и во Франции, Англии и Германии. Однако, наибольшим их успехом было то обстоятельство, что «Союз справедливых» присоединился к их воззрениям.

Эзотерическое учение этого союза не шло далее мешанины из немецкой философии и французского социализма. Для него было откровением, когда Маркс и Энгельс показали, что единственно прочную теоретическую основу дает лишь научное понимание экономической структуры общества, и в популярной форме выяснили, что дело заключается не в проведении той или иной утопической системы, а в том, чтобы принимать сознательное участие в процессе переворота, переживаемом капиталистическим обществом на наших глазах.

На конгрессе, состоявшемся летом 1847 года в Лондоне, «Союзу справедливых» была дана новая организация; он переименовался в «Союз коммунистов», отбросил последние остатки заговорщических тенденций и превратился в чисто пропагандистское общество, построенное на чисто демократических основаниях. Второй съезд заседал в конце того же года в Лондоне и обсуждал новую программу союза. Проект, составленный Марксом и Энгельсом, в десятидневных прениях подвергся обсуждению и, по выяснении всех сомнений, был принят единогласно. В феврале 1848 года он был опубликован, как «Коммунистический манифест».

Источники. Энгельс, „От утопии к науке“. *W. Wolff*, „Gesammelte Schriften“ (здесь дано описание восстания силезских ткачей). *W. Weitling*, „Garantien der Harmonie und Freiheit“. С политико-социальной поэзией *Гейне*, *Гервега* и *Фрейлихрата* должен быть знаком каждый сознательный рабочий. Юношеские произведения *Маркса* и *Энгельса*, с биографическими комментариями к ним, даны в двух первых томах „Nachlass“ Маркса и Энгельса.

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ.

Германская революция и ее последствия.

1. Мартовская революция.

Революционный материал, накопившийся в тридцатых и сороковых годах, благодаря большому торговому кризису 1847 года и ряду неурожаев, привел к сильному взрыву. В феврале 1848 года парижские рабочие разбили трон короля-буржуа Луи-Филиппа, а в Лондоне, метрополии мирового рынка, чартистская партия энергично подняла свою голову. Современный рабочий класс впервые выступил в буржуазной революции с самостоятельными требованиями; во временном правительстве французской республики заседал настоящий пролетарий.

В Германии революционный ветер, дувший с Запада, первым же порывом смел массу старой ветоши. Троны во всех мелких и средних государствах заколебались, и монархи были вынуждены призвать либеральных министров, отчего, конечно, не получилось большого выигрыша. Союзный сейм в свою очередь пошел на капитуляцию уже в первых числах марта и выкинул черно-красно-золотой флаг, как германское знамя. Но тем быстрее он рухнул под тяжестью всеобщего презрения, и 5-го марта либералы, по большей части из южной Германии, собравшиеся в количестве 51 в Гейдельберге, постановили созвать из всех частей Германии во Франкфурт-на-Майне людей, пользующихся общественным доверием, с той целью, чтобы они

способствовали возможно более быстрому избранию германского парламента.

Но все это означало еще очень немного, пока Вена и в особенности Берлин не были завоеваны революцией. Правительство в Берлине надеялось справиться с движением, вновь созвав соединенный ландтаг, и план, несомненно, удался бы ему, если бы приходилось считаться только с буржуазным классом. Но от берлинских рабочих нельзя было отделаться так дешево. Они устроили перед городскими воротами большие собрания, на которых выдвинули требования свободы печати и союзов, обеспечения работой и министерства труда. С этой оппозицией шутки были плохи, и правительству очень скоро пришлось в этом убедиться, когда оно приказало разогнать собрания силой оружия, и солдаты начали избивать возвращающиеся толпы. Правда, буржуазный класс сначала равнодушно смотрел на кровопускание, но когда искусственно разжигаемая кровожадность солдат стала угрожать даже самым спокойным горожанам, их тоже начали охватывать бунтовщические настроения.

В то время как горячий материал все более накапливался, на него подобно искре подействовало известие, что 13-го марта в Вене вспыхнула революция и прогнала всесильного до того времени государственного канцлера Меттерниха. А тут еще большая депутация, посланная из Кельна к королю, довольно недвусмысленно угрожала отпадением рейнских провинций, если, наконец, не будут проведены реформы. Правительство решило уступить, но было поздно. Военные расправы привели к тому, что терпение лопнуло даже у филистеров. В полдень 18-го марта они устроили перед королевским дворцом мирное массовое собрание, которое должно было потребовать вывода войск из города. Старания короля и министров внести успокоение уже ни к чему не приводили, и вот, когда эскадрон драгун и рота пехоты попытались очистить площадь перед дворцом, из их рядов раздались два выстрела, которые послужили сигналом к началу борьбы на улицах.

В настоящее время невозможно выяснить, были ли эти выстрелы случайными, или же приказание открыть огонь

было дано принцем Прусским,—позднейшим императором Вильгельмом; да это и безразлично, так как с полной несомненностью установлено, что главная вина за военные расправы падает на принца, который фанатизировал войска в берлинских казармах. Что касается утверждения, будто войска победили бы в уличной борьбе, и только преждевременный приказ короля удалил их из города, то оно представляет позднейшее измышление контр-революции. В действительности баррикадные борцы в течение ночи сумели настолько утомить 14.000 солдат, которые противостояли им с 36 орудиями, что командующие в пять часов утра предписали смертельно уставшим войскам прекратить борьбу и выйти из города. Победоносные баррикадные борцы 19-го марта принесли трупы своих павших братьев во двор королевского замка и заставили короля с обнаженной головой приветствовать жертвы его деспотического правления, а также согласиться на вооружение народа.

На берлинских баррикадах германская революция нашла для себя прочную опору. Начались восстания крестьян, в особенности в части Пруссии к востоку от Эльбы; они заставляли своих феодальных эксплуататоров давать письменное отречение от всяких крепостнических повинностей и платежей. Но в городах, и прежде всего в Берлине, скоро развернулись классовые противоречия между буржуазией и пролетариатом. Пролетариат одержал победу на баррикадах; те 183 человека, которые пали в борьбе против солдат, были почти сплошь ремесленные подмастерья, машиностроительные рабочие, торговые служащие и рабочие. Однако, рабочий класс еще не достиг такого развития и зрелости, чтобы использовать достигнутую им победу. Бразды правления попали в руки буржуазии. Ее вожди с Рейна, Кампгаузен и Ганземан, вместе с некоторыми обуржуазившимися аристократами составили новое министерство, которое должно было закрепить результаты революции.

Однако, радость буржуазии перед этим крупным успехом омрачалась для нее тем обстоятельством, что пролетариат мог потребовать и действительно потребовал своей доли. Министерство Кампгаузена-Ганземана первым делом

постаралось устранить рабочих из народного ополчения и уничтожить то революционное право, на котором основывалось и его собственное существование. Под тем откровенным предлогом, что необходимо сохранить «непрерывность правовой почвы», оно снова созвало соединенный ландтаг, чтобы возложить на него выработку основ будущей конституции и избирательного закона для будущего народного представительства. Так возник закон 6-го апреля, который наряду с другими завоеваниями—свободой печати и союзов—устанавливал, между прочим, что издание всех законов, утверждение бюджета и взимание налогов должно зависеть от согласия будущего народного представительства; так же возник и закон 8-го апреля, согласно которому собрание должно быть избрано на основе всеобщего, равного, тайного, но не прямого избирательного права и должно вступить в соглашение с короной относительно будущего государственного устройства.

Благодаря этому «соглашению», революция сводилась к нулю. Раз корона и собрание с равными правами противостояли друг-другу,—а это прямо предполагается понятием «соглашение»,—то при разногласии между ними решающая роль доставалась той стороне, у которой было больше силы. Буржуазное же министерство делало все зависящее от него для того, чтобы увеличить силы короны. Вместо того, чтобы опираться на народные массы и таким образом держать корону и дворянство под угрозой, оно, напротив, хотело, предавая интересы народа, снискать благоволение короны и дворянства, руководствуясь обманчивой надеждой, что само оно будет допущено в качестве третьего в союз господствующих классов. Карл Маркс, сотрудничавший с Кампгаузеном и Ганземаном в «Рейнской Газете», тщетно предостерегал от такой самоубийственной политики; буржуазия из страха перед рабочими заключила с абсолютистско-феодалной реакцией оборонительный и наступательный союз.

Новое собрание, созванное в мае, тоже отнюдь не имело революционного характера; его левая едва насчитывала сорок членов, да и в их числе были очень робкие элементы. Массы, до того времени стоявшие в стороне от всякой

политической жизни, в первое время были до чрезвычайности беспомощны в использовании всеобщего избирательного права. Вместо того, чтобы овладеть государственной властью и разрушить феодальное государство, собрание целые месяцы потратило на то, чтобы выработать новую конституцию исключительно на бумаге. Но самым вредным и роковым недостатком было то, что оно не сумело разрешить даже самой прямой задачи буржуазного парламента и освободить крестьян.

По существу его судьба была решена уже через месяц по его созыве, когда в июне 1848 года парижские рабочие восстали против буржуазии, которая отняла и продолжала отнимать у них плоды февральской революции. Они были раздавлены в страшном четырехдневном уличном бое; но ужасная победа дорого обошлась буржуазии. Когда европейская контр-революция увидела, что между буржуазией и пролетариатом пролилась широкая река крови, через которую уже невозможно перекинуть какой-либо мост, она стала выступать с растущее дерзостью. В Берлине буржуазное министерство пало, как только собрание отважилось на слабое сопротивление военщине, да и само собрание легко позволило разогнать себя, когда в Вене победила контр-революция, и прусская корона, благодаря этому, обрела в себе решимость произвести государственный переворот. В ноябре 1848 года, когда собрание было разогнано силой оружия, оно отказалось призвать народ к оружию, чего требовали рабочие, и возвестило пресловутое пассивное сопротивление, что означало трусливое подчинение предательскому государственному перевороту, совершенному короной.

В виду возбуждения, которое все еще охватывало отдельные части страны, в особенности Рейнскую область и Силезию, корона не решалась полностью раскрыть свои карты. Разогнав собрание, она 5-го декабря 1848 года октроировала конституцию, которая за отдельными, правда очень существенными, исключениями, соответствовала проекту конституции, выработанному разогнанным собранием; она обещала представить эту конституцию двум палатам, которые предстояло избрать вновь,—притом вто-

рую из них опять-таки на основе всеобщего избирательного права. Да и вообще со стороны правительства не было недостатка во всевозможных заманчивых обещаниях, в особенности для крестьян.

Таким образом, страна осталась спокойной благодаря жалкой политике собрания, которое месяцами обманывало доверие масс и затем в решительный момент отказалось от всякого выступления.

2. Контр-революция и ее победа.

После государственных переворотов в Берлине и Вене германское национальное собрание во Франкфурте-на-Майне осталось последним представителем революции. По инициативе тех либералов, которые 5-го марта собрались в Гейдельберге, в резиденции союзного сейма открылся так называемый предпарламент,—собрание людей, пользующихся общественным доверием, преимущественно из южной Германии. Под свежим впечатлением мартовских бурь они добились от правительств созыва германского парламента.

Но и это последнее собрание оказалось далеко не на высоте выпавших на его долю революционных задач. Пока оно обладало властью, оно пренебрегло тем, чтобы выступить в качестве суверенного конвента; напротив, избрав австрийского эрцгерцога Иоганна правителем империи, оно с самого начала отдавало национальное движение в руки монархов. Затем оно расточало драгоценное время в бесконечных дебатах о будущих основных правах народа. Но это собрание оставалось, хотя и очень неудачным, все же сыном революции. Поэтому после завоевания Вены и ноябрьского государственного переворота в Пруссии вокруг собрания сплотились все способные к сопротивлению элементы нации, и благодаря этому оно превратилось для австрийского и прусского правительств в камень преткновения, который надо было устранить во что бы то ни стало.

Однако, австрийское и прусское правительства придерживались по отношению к нему неодинаковой политики. Австрийское правительство хотело бы просто восстано-

вить домартовский союзный сейм, который обеспечивал для него гегемонию в Германии; оно только потому еще не выступало открыто со своими замыслами, что было ослаблено победоносным восстанием венгров. Напротив, прусское правительство задумывало ограбить труп революции: оно хотело злоупотребить стремлениями к национальному единству для того, чтобы достигнуть гегемонии над Германией. И франкфуртское национальное собрание, действительно, дошло до того, что избранием прусского короля в германские императоры решило увенчать общегерманскую конституцию, которую оно, наконец, рассмотрело среди продолжительной и запутанной фракционной борьбы и окончательно приняло 28-го марта 1849 года. Но когда депутация национального собрания явилась в Берлин с этой бумажной короной, Фридрих-Вильгельм 4-й не ответил ни да, ни нет: он поставил принятие короны в зависимость от согласия германских монархов. Таким образом вновь ставился вопрос, кто же суверенен в Германии: государи или народ. Франкфуртское национальное собрание насильственно отбрасывалось к революционной позиции, которую оно покинуло к своему собственному вреду.

К сожалению, оно и здесь оказалось неспособным вести революционную политику и направлять бурное движение, которое снова начало подниматься в народе. Оно поручило имперскому правителю Иоганну, который открыто совершал предательство в пользу Австрии, проводить имперскую конституцию на практике, да и вообще принимало всяческие курьезные постановления, относительно которых оно само наилучшим образом знало, что все это просто толчение воды в ступе.

В противоположность ему прусское правительство умело реакционно действовать. Когда оно увидало, что правительства небольших государств не обнаруживают никакой склонности договариваться с ним на основе имперской конституции, и что нарастающее массовое движение ополчается за имперскую конституцию, не ради, а вопреки императору-Гогенцоллерну,—оно сбросило маску и открыто порвало с национальным собранием. В то же время оно пригласило на общие совещания в Берлин гер-

манские правительства, которые будто бы вместе с ним обнаруживали желание создать единство Германии, и тогда же обещало оказать этим правительствам необходимую помощь «при опасных кризисах». Попросту говоря, это значило: прусское правительство предлагало себя мелким и средним государствам на роль палача революции и питало надежду, что эти государства признают зато его гегемонию над Германией. В то время как прусское правительство вооружалось, создало значительную часть ландвера и сосредоточило особенно большие массы войск в западных провинциях, национальное собрание продолжало издавать воззвания и принимать постановления, за которыми решительно ничего не было. В конце-концов, оно бежало от своего возлюбленного имперского правителя из Франкфурта в Штутгарт; здесь ему было суждено, по крайней мере, то счастье, что оно умерло полуприличной смертью, так как вюртембергское правительство разогнало его вооруженной силой.

В расчетах берлинского правительства был один крупный изъян. Правительства мелких и средних государств с благодарностью приняли прусскую вооруженную помощь против революции, но они и не помышляли о том, чтобы заплатить той ценой, какой требовали от них гогенцоллернские аппетиты. С великим трудом и натугой королевства Ганновер и Саксония были вынуждены вступить в так-называемый союз трех королей, который сохранялся ровно до того времени, пока этого требовала нужда этих небольших государств. Конституция нового союза, никогда не вступавшая в жизнь, в настоящее время не заслуживала бы упоминания, если бы она не оставила населению Пруссии отвратительного наследства в виде трехклассной избирательной системы. В то время, как франкфуртская имперская конституция во всяком случае удержала всеобщее, равное, тайное, хотя и не прямое избирательное право, здесь должно было сохраниться всеобщее избирательное право, но оно было изуродовано и превращено в отвратительную карикатуру благодаря тому, что не было ни равным, ни тайным.

В то время как прозрачная конституция союза трех ко-

ролей возвестила трехклассное избирательное право, противозаконным насильственным актом оно было октроировано и для прусского государства, в котором с 8-го апреля 1848 года всеобщее, равное, тайное избирательное право торжественно было объявлено законом страны. Буржуазия в своей массе безропотно приняла удар в лицо, нанесенный ей прусскими юнкерами. Те самые либеральные политики, которые в конце марта 1849 года присягали во Франкфурте имперской конституции, как святыне, не допускающей никаких изменений и перетолкований, через четверть года, в конце июня, собрались в Готе и с такой же внушительностью постановили дать свое признание учиненному прусским правительством ограблению труппа германской революции, в том числе и трехклассным выборам. Другая часть буржуазной оппозиции, состоявшая преимущественно из мелкобуржуазных элементов, не пошла так далеко, но и она ограничилась тем, что на собрании в Кётене постановила вообще не участвовать в парламентской жизни, пока существует трехклассная избирательная система.

Среди этого печального упадка революции единственным светлым явлением были восстания, в которых предметом борьбы была общегерманская конституция. Они с самого начала были безнадежны и осуждены на неудачу, но они, по крайней мере, спасли честь революции. Последнее надо сказать в особенности о тех случаях, когда в восстаниях участвовали рабочие, которым было мало дела до очень умеренного либерализма конституции и еще того меньше до наследственного императора из Гогенцоллернов, а все сводилось к тому, чтобы отстоять суверенность народа от монархического деспотизма. Эти восстания, вспыхнувшие в Дрездене, в отдельных местах прусской части Рейнской области, а с наибольшею широтой в Бадене и баварско-рейнском Пфальце, повсюду были подавлены прусскими войсками, при чем подавление было сопряжено с ужасающими жестокостями, которые везде и всюду сопровождают победу так-называемого порядка.

Во время кампании в пользу общегерманской конституции погибла и единственная газета, которая на всем про-

тяжении германской революции всегда стояла на уровне событий, «Новая Рейнская Газета», основанная в Кельне и редактируемая Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и их ближайшими единомышленниками. Маркс был выслан из прусского государства под тем предлогом, будто он иностранец, а против остальных редакторов было возбуждено более двух дюжин судебных дел, так что издание газеты должно было прекратиться. Ее последний номер, напечатанный красною краскою, вышел 19-го мая 1849 года и содержал, между прочим, знаменитую прощальную песню Фердинанда Фрейлиграта.

3. Первый период германского рабочего движения.

Среди общего движения революции германский рабочий класс проделал свое особенное развитие. При некотором мужестве буржуазии за нею оказался бы весь пролетариат, но так как буржуазия, страшась его, спустила свой флаг перед королевской властью и юнкерами, то она вызвала именно то, чего хотела бы избежать, и привела к большому обострению классового сознания рабочих, чем это по историческому положению вещей в то время было неизбежно само по себе.

Конечно, деревенский пролетариат еще не дошел до классового сознания современных рабочих. Он ограничился тем, что в тысячах петиций, поданных берлинскому и франкфуртскому собраниям, изложил свою программу, которая не шла дальше устранения феодальных повинностей, создания мелкого землевладения, повышения заработной платы и понижения налогов. Эта программа вполне соответствовала воззрениям феодальных вассалов, которые ожидали эмансипации от буржуазной революции и не могли возвыситься над ней в своих требованиях.

Отношение промышленного пролетариата было иное. Он уже давно жил на положении тайной войны с капиталом и становился тем революционнее, чем ниже падала буржуазная революция. Когда измена буржуазии сделалась несомненною для него, он отказался от того, чтобы им руководила буржуазия и начал организоваться вопреки

буржуазии. Уже 19-го апреля 1848 года в Берлине составил Центральный Комитет рабочих, во главе которого стоял книгопечатник Стефан Борн, принадлежавший к Союзу Коммунистов и поддерживавший дружеские отношения с Марксом и Энгельсом. Этот Центральный Комитет развернул энергичную агитацию и с 1-го июня начал издавать по три раза в неделю собственную газету «Народ», которая обещала поддержку буржуазии в борьбе против всех исторически-реакционных сил, как она обещала поддержку мелким буржуа и рабочим в борьбе против капитала, и всегда, раз дело шло о том, чтобы завоевать для народных масс новые политические права, намерена была идти в первых рядах.

После того как эта газета, превосходно редактируемая Борном, подготовила почву, Центральный Комитет созвал в Берлине рабочий съезд, который открылся 25-го августа и привлек 40 участников, являвшихся представителями 35-ти рабочих организаций Берлина, Бреславля, Гамбурга, Лейпцига, Кёнигсберга, Мюнхена и других крупных городов. В порядке дня этого конгресса было поставлено: обеспечение работы государством, государственная поддержка ассоциаций промышленных рабочих, государственное попечение обо всех беспомощных и инвалидных рабочих, ограничение чрезмерного рабочего времени, реформа налоговой системы в интересах трудящихся классов, уничтожение всех налогов на средства существования, народная школа с бесплатным обучением, бесплатное судопроизводство и учреждение в отдельных государствах Германии министерств труда, которые должны замещаться по свободному избранию трудящихся классов.

Все эти вопросы обсуждались в десятидневных прениях, в которых обнаружилась еще довольно значительная путаница мнений. Но теоретические постановления были не столь важны, как организационный устав, разработанный для рабочих конгрессом: широкая система местных и окружных комитетов, возглавляемая Центральным Комитетом, который был перенесен в Лейпциг и уполномочен издавать газету Союза, которая появилась под названием «Братство», как назывался и новый Союз, и

попрежнему редактировалась Борном. Центральный Комитет должен был находиться под контролем и подвергаться переизбранию на общем собрании всех германских рабочих, которое должно было происходить по меньшей мере один раз в год.

Этот Союз распространился по значительной части Германии, чему в особенности способствовал ряд окружающих конгрессов, происходивших в Альтенбурге, Лейпциге, Гамбурге, Гейдельберге, Нюрнберге и других местах. Во всех политических кризисах революционных годов он держался с полным достоинством, хотя его социальные стремления не отличались достаточной выдержанностью. Он был слишком раскидан в своей социальной программе, но чем многочисленнее были пункты, к которым он пытался приложить свой рычаг, тем более раздроблялись его силы. Его попытки расправиться с капиталистическим способом производства, прежде чем пролетариат завоевал политическую власть, повели к разочарованиям и потерям. Тем не менее, орган Союза постоянно оказывал большое содействие тому, чтобы пробудить и обострить классовое сознание рабочих, между прочим, и таким способом, что он активно поддерживал стачечную борьбу рабочих.

Революционные годы были до чрезвычайности богаты стачками; в одном Берлине после мартовских дней их насчитывалось целые дюжины. Но по самой природе дела рабочие достигали некоторых временных, преходящих, но не достигали прочных успехов. Те уступки, которые делали им в страхе перед революцией, опять отбирались у них заносчивостью контр-революции. Из многочисленных стачек, возникавших по случайным поводам, в некоторых отраслях производства сложились зачатки прочных национальных союзов, в особенности быстро и в особенности сильные у книгопечатников и рабочих-сигарочников. Но так как буржуазия боролась против профессиональной организации рабочих, непосредственно угрожавшей прибыли, еще энергичнее, чем против их политическо-социальной организации, и в этой борьбе находила послушных пособников в полиции и судах, то, какова бы ни

была интеллектуальная победа рабочих, все эти полные надежд зачатки были разрушены.

Благодаря февральской революции существование Союза Коммунистов стало бесцельным, поскольку у рабочего класса теперь явилась возможность и способы для открытой пропаганды. Члены Союза рассеялись по всей Германии, прежде всего там, где следовало подталкивать буржуазный класс к обеспечению прав, которые необходимы пролетариату для его политической организации,—свободы союзов, печати и т. д. Гарантировать их,—в этом историческое призвание буржуазии, но пожертвовать ими из страха перед пролетариатом,—это было тайным умыслом германской буржуазии. Если только члены Союза Коммунистов не хотели возвратиться к ухлопыванию сил на сектантские организации, от чего они только-что отрешились, они могли вступить на почву германской революции только как самое радикальное крыло демократии; из этого, однако, вовсе не следует, что им каким бы то ни было образом приходилось скрывать свою конечную цель, чего они и не делали на практике.

Сопrotивляясь всякой сектантщине, они выступали и против всякой игры в революцию. Они поодиночке возвратились в Германию с той целью, чтобы действовать здесь в качестве фермента революционного движения. Разложившись таким образом, Союз Коммунистов тут-то и оказался превосходной подготовительной школой к освободительной борьбе рабочего класса. Почти повсюду, где германский пролетариат начал приходить к некоторой ясности воззрений, мы открываем, что движущей силой были прежние члены Союза Коммунистов.

Впоследствии, когда с концом кампании в пользу общегерманской конституции в Германии воцарился белый террор, они опять оказались вместе. Как было до 1848 года, так и теперь революционная пропаганда в Германии стала возможной лишь посредством тайной организации, открытая же пропаганда была возможна только из-за границы. Но и на этот счет дело обстояло плохо, так как в германской эмиграции перемешались самые пестрые элементы, и всякая попытка сплотить эту толпу в интересах

единства действий была безнадежна с самого начала или же, если такие попытки все же делались, они скоро погибали среди отталкивающей склоки.

К тому же правительства продолжали преследовать эмигрантов, и в Швейцарии они добились полного успеха. Как постоянно бывало раньше и повторялось впоследствии, швейцарское право убежища изменило именно в момент, когда была величайшая необходимость в том, чтобы оно действовало. Швейцария, подчиняясь давлению германских правительств, в течение года изгнала 11.000 германских эмигрантов, искавших себе прибежища на ее территории.

Единственная серьезная попытка заставить германскую эмиграцию активно вмешаться в судьбы Германии исходила от Маркса и Энгельса. Они реорганизовали Союз Коммунистов, почти все старые члены которого собрались в Лондоне. Но некоторые члены Союза продолжали еще действовать и в Германии,—конечно, тайно; удалось также привлечь в организацию Союза и влиятельнейших членов «Братства рабочих».

Однако, в течение лета 1850 года все более выяснялось, что революция неудержимо падает. Вместо того, чтобы плакать или негодовать, Маркс и Энгельс научно исследовали, почему нельзя воспрепятствовать такому обороту вещей. Они пришли к тому выводу, что, как торговый кризис 1847 года был отцом революции, так промышленное оживление, постепенно начавшееся и в 1850 году достигшее полного расцвета, является отцом контр-революции. Убедившись в этом,—о чем Маркс и Энгельс заявили открыто,—они пришли в непримиримое противоречие с революционными грезами эмиграции. В сентябре 1850 года на этой почве и в Союзе Коммунистов произошло разделение на две фракции, из которых, впрочем, ни одной не была суждена долгая жизнь.

Фракция, которая предалась бесцельной игре в революцию, именно благодаря этому и погибла. Другая же, сохранявшая верность старым принципам Союза, была разрушена кельнским процессом коммунистов, который по прямому повелению короля Фридриха-Вильгельма 4-го под-

строил прусский провокатор Штибер, создавший низкий заговор лжи, обмана и клятвопреступления. Процесс перед кельнскими присяжными продолжался шесть недель, с 7-го октября до 12-го ноября 1852 года, и закончился тем, что из одиннадцати обвиняемых семь были приговорены к краткосрочному или продолжительному заключению в крепости.

С разложением этой наиболее сильной организации закончился первый период рабочего движения. Правда, некоторые ответвления «Братства рабочих» пережили Союз Коммунистов, но они имели лишь небольшое значение и вскоре были уничтожены полицией. 13-го июля 1854 года восстановленный союзный сейм во Франкфурте-на-Майне возложил на германские правительства обязанность задавить все еще существовавшие рабочие союзы и под страхом наказания не допускать образования новых рабочих союзов. Главным инициатором этого постановления был прусский уполномоченный при союзном сейме Бисмарк, тот самый, которому впоследствии предстояло сделаться отцом закона против социалистов.

4. Пятидесятые годы.

То ограбление труппа германской революции, которое попыталось совершить прусское правительство, закончилось заслуженной неудачей. Едва только орел Гогенцоллернов спас небольшие и мелкие государства от их мятежных подданных, как они, избегая его когтей, пацелившихся на аннексии, бросились в объятия Австрии. По повелению русского царя, Пруссия должна была в Ольмюце смириться перед Австрией и согласиться на восстановление домартовского устройства Германского союза.

Это было такое унижение Пруссии, которое можно сравнить лишь с поражением при Иене, и князь Шварценберг, руководитель венского министерства, уже мечтал о том, чтобы нанести ненавистному противнику смертельный удар. Но решительный удар,—разрушение таможенного союза,—не удался, так как экономическое развитие положило здесь свое непреодолимое вето. Таможенный

союз не только не был разрушен, но и расширился, благодаря вступлению Ганновера, Ольденбурга и более мелких северо-западных германских государств, до размеров приблизительно в 9.000 квадратных миль с населением в 35 миллионов.

В самом прусском государстве контр-революция тоже убедилась на опыте, что, какими бы безграничными ни казались ее силы, экономические условия ставят им определенную границу. После того как всеобщее избирательное право было устранено бесчестным государственным переворотом, выборы, проведенные летом 1849 года по трехклассной системе, дали юнкерскую палату, готовую на всякое реакционное дело. Из конституции, октроированной 5-го декабря 1848 года, она удалила все, что в том или ином отношении было неудобно правительству, и спокойно созерцала, когда правительство обходило даже эту конституцию, как - будто бы ее вовсе не существовало, или когда правительство при посредстве трусливых судов превращало ее в нечто прямо противоположное. Между прочим, палата создала такое законодательство о печати, союзах и уголовное, которое давало возможность немедленно задушить всякую оппозицию.

Но нельзя было совсем уничтожить бюджетное и налоговое право народного представительства. Правда, посредством грубого фокуса палата обеспечила за правительством взимание существующих налогов и на будущее время и создала искусственный «пробел» в конституции, обойдя молчанием вопрос, что делать в том случае, если корона и парламент не придут к соглашению относительно бюджета. Однако, финансовая нужда делала невозможным открытый возврат к хозяйничанью домартовского абсолютизма, закончившемуся банкротством. Без конституционализма прусское государство не могло разделаться со своими кредиторами, и юнкера при всем своем честолюбии ограничились тем, что превратили прусский конституционализм в простую видимость конституционализма.

В социальной области контр-революция должна была не менее ограничивать себя, чем в политической области. Она опять восстановила помещичью полицию, а также

феодалыне окружные и провинциальные ландтаги и увенчала эту средневековую организацию палатой господ,— совершенно противоконституционным выкидышем, в котором восточно-эльбским юнкерам принадлежало наследственное большинство; если бы трехклассная избирательная система дала осечку, юнкерское большинство могло бы парализовать все законодательство. Но что действительно оказалось невозможным, так это сохранение крестьянско-помещичьих отношений. Приходилось устранить эту основу всего феодального господства. Страх перед крестьянами все еще слишком глубоко владел юнкерами, так что этого требовали они сами.

Правда, крестьянам пришлось вновь принести колоссальные жертвы. С 1816 по 1865 год они должны были уплатить юнкерам (помещикам) за освобождение, по меньшей мере, один миллиард марок. И как в 1810 году уничтожение наследственного подданства сопровождалось изданием устава о прислуге, так теперь отмена помещичье-крестьянских отношений сопровождалась законом 24-го апреля 1854 года, который существует еще и в настоящее время¹⁾ и на-ряду с другими до последней степени придирчивыми предписаниями угрожает суровыми карами за всякую попытку забастовки со стороны сельского пролетариата.

Компромисс между тем, что было еще возможно и что уже не было возможно для бюрократически-феодальной контр-революции, создавался среди сильных трений в ее собственных недрах. Настоящие деревенские юнкера, взор которых не проникал за ограду их усадьбы, упрямые, как быки, хотели возврата к домартовскому положению; напротив, бюрократия, употребляя старинную поговорку, вместе с должностью получила достаточно ума для того, чтобы уразуметь реальные возможности, при которых только и могло существовать прусское государство в половине девятнадцатого столетия. Однако, ни одно из двух реакционных течений не добилось победы над другим, и между ними восстановилось доброе согласие, ко-

1) Эта часть книги Меринга издана на немецком языке в 1911 г.—И. С.

гда психическая болезнь короля стала угрожать общим корням их власти.

Контр-революция совершенно разошлась с престолонаследником, принцем Прусским,—не потому, что «принц-картечь», как его называли со времени кровавого подавления баденско-пфальцского восстания, в какой бы то ни было мере возмущался ее прегрешениями перед народом, а потому, что он не прощал ей унижения в Ольмюце, благодаря которому ее надули при расплате за палаческую работу, выполненную над революцией. С того времени она обвиняла принца в «либерализме» и досаждала ему мелкими булавочными уколами, при чем не останавливалась перед его частной жизнью. Она окончательно вывела его из себя тем, что долго скрывала сумасшествие короля, когда же нельзя стало утаивать дальше, сумела еще целый год устранять принца от регентства. Только осенью 1858 года ему удалось взять бразды правления. Он немедленно прогнал с места министерство Мантейфеля и составил новое из обуржуазившихся аристократов Ауэрсвальда, Патова, Шверина, который десятью годами раньше заседал в министерстве Кампгаузена-Ганземана. Таким образом буржуазии, без всяких усилий с ее стороны, опять удалось стать одной ногой в стремя.

Она не особенно сильно страдала от хозяйничанья реакции в пятидесятых годах. Промышленный подъем этого десятилетия утешил ее в утрате ее политической чести. Она охотно мирилась со всеми неприятностями реакции, если только пролетариат оставался скрученным, и коммерческие дела шли хорошо. Но реакция достигала того и другого,—или казалось, будто она этого достигала. Металлургическая и текстильная промышленность, производство каменного угля и железа переживали сильный подъем, океаническое пароходство процветало, не в малой мере благодаря массовой эмиграции, и сеть железных дорог вследствие роста товарного транспорта становилась все более частой. Крупный капитал и в Германии начал вступать в период своего расцвета, и за первым порывом грюндерства наступил после торгового кризиса 1857 года первый небольшой крах.

Тем не менее, какое бы заячье сердце ни было у буржуазии, в конце-концов, даже хороший ход ее дел вызывал в ней мятежные настроения. Раздробленность Германии накладывала слишком тяжелые оковы на развитие капиталистического способа производства, не допускающее никаких границ. Ограничения брака и права передвижения, разделявшие отдельные германские государства и препятствовавшие капиталу свободно располагать рабочим классом, недостаточная дипломатическая защита за границей, ошутительно затруднявшая германскую конкуренцию на мировом рынке,—эти и другие последствия партикуляризма становились тем невыносимее для буржуазии, чем более она перерастала все существовавшие до того времени мерки. Она охотно отказалась бы от свободы Германии, если бы только барыши продолжали расти, но как-раз рост барышей подталкивал ее в сторону единства Германии. В качестве органа этих стремлений к единству она создала съезд германских экономистов, на котором ее литературные служащие, чистые фритрэдеры, как они тогда назывались, поднимали громкий барабанный бой за объединение Германии, представлявшее экономическую необходимость, за свободу передвижения и свободу промышленности, за скорейшее устранение всех феодально-цеховых рогаток,—короче, за капиталистические интересы.

Само собой разумеется, с победой своего принципа они обещали не только буржуазии, но и мелкой буржуазии, и рабочему классу наступление тысячелетнего блаженного царства, и, по крайней мере, мелкую буржуазию они сумели уловить в свои сети. В пятидесятых годах германское ремесло получило свою скромную долю в промышленном подъеме, но оно уже не видало ничего подобного действительному процветанию, так как быстрый рост крупной промышленности из года в год расшатывал его корни. И меньше всего мог возратить навсегда миновавшие для ремесла дни предпринятый правительством ретроградный пересмотр прусского промышленного устава, производившийся в цеховом духе. Более действительную помощь,—насколько ремеслу вообще было возможно помочь,—оказали ему, напротив, кредитные, ссудные и

сырьевые союзы, в пользу которых Шульце-Делич, бывший член берлинского собрания 1848 года, лишенный правительством своей судейской должности, развернул оживленную агитацию. Здесь он нашел сильную опору в присутствии мелкому производству потребности в урегулированном кредите, и его усилия увенчались тем большим успехом, что у него не было никаких посторонних умыслов: сам настоящий мелкий буржуа, он хотел только оказать содействие своему классу.

Буржуазия относилась к нему сначала с большим недоверием, так как агитация Шульце угрожала затруднить для нее поглощение мелкой собственности, а быть-может,—что было для нее страшнее всяких страхов,—и увеличить непокорность пролетариата. Однако, она скоро убедилась, что Шульце отличался и ограниченностью, и благонамеренностью. Так как она могла пачинять его всеми капиталистическими лозунгами, то она объявляла его спасителем рабочих.

Чем более буржуазный класс Германии экономически усиливался, тем более отступали на задний план литература и философия, которые так долго играли руководящую роль для этого класса. Гегельянские спекулятивные построения, жизнеспособные элементы которых перешли в научный социализм Маркса и Энгельса, утратили всякое влияние на национальную жизнь. На их место начал выступать ограниченный материализм, который своими громкими фразами давал приятную забаву переживавшей подъем буржуазии,—впрочем, лишь до тех пор, пока она не открыла, что народу следует сохранить религию. С самого начала ему приходилось делиться своим господством с философией Шопенгауэра; последний получил, наконец, возможность возвестить свое учение, которое в течение целого поколения до того времени не находило слушателей, а именно то учение, что для доброго гражданина надо обеспечить спокойствие. Хотя Шопенгауэр (1788—1860 г.), несмотря на все свои причуды, был гениальным умом и последним великим представителем германской философии, однако, он же был и первым модным философом буржуазии, который своими рассуждениями

заглушал в ней всякое угрызение нечистой совести, возбуждаемое ее изменой революции.

К пятидесятым годам относится и период расцвета одного великого драматурга. Именно в пятидесятых годах Фридрих Геббель (1812—1863 г.) создал ряд трагедий: «Ирод и Марианна», «Агнеса Бернауэр», «Гигс и его кольцо», «Нибелунги». Хотя эти трагедии по художественной силе превосходят классические драмы Шиллера, однако, они далеко уступают последним по своему национальному значению. Они прошли почти незамеченными, хотя Геббель питал большую преданность контр-революции и своими глупыми выпадами против социализма действовал вполне в духе своей капиталистической эпохи. Еще меньше внимания привлек к себе Готфрид Келлер (1819—1890 г.), который написал свои наиболее значительные произведения тоже в пятидесятых годах, да притом еще в Берлине, где он, уроженец Швейцарии, жил в то время. Это был тоже настоящий поэт, совершенно чуждый распространявшемуся шахермахерству, по заслугам за это наказанный со стороны последнего пренебрежением и презрением.

Величайший литературный успех в это десятилетие имел «Дебет и кредит» Фрейтага: роман, верно изображивший тогдашнюю германскую буржуазию и украшенный лицемерным эпитафием, будто он стремится показать германский народ за его работой. Представляя небольшую художественную ценность, он имеет крупный культурно-исторический интерес: в совершенно правдивых образах он показывает, как примерный буржуазный мальчик, благодаря нравственности и коммерческим операциям, возвышается над банкротящимся юнкерством, и при всем том просто танцует под дудочку надменного юнкера.

5. Прусский конституционный конфликт.

Хотя осенью 1858 года буржуазия при посредстве регентства принца Прусского достигла кормила правления, однако, она не сумела использовать этот успех таким образом, как этого требовали бы интересы страны или даже только ее собственные интересы.

Она встретила «принца-картечь» восторгами, которые в связи со всем его прошлым приобретали тем более курьезный характер, что он не давал себе труда хотя бы только прикинуться либералом или выразить что-нибудь похожее на признательность за выражаемые ему верно-подданнические чувства. Все осталось совершенно так же, как было во времена Мантейфеля,—разве только кое-где была смягчена слишком мелочная придирчивость полиции или отставлен с пенсией какой-нибудь реакционный чиновник, который раньше слишком уж досадил принцу Прусскому.

В то время как юнкера, прочно окопавшиеся в палате господ, ни на мизинец не уступали либеральному министерству, восторгам либералов по случаю наступления так-называемой новой эры конца не было, и даже решительные элементы буржуазной оппозиции, которые до сих пор не принимали участия в трехклассных выборах вследствие противозаконности их происхождения, отказались теперь от обструкции и пожертвовали всеобщим избирательным правом. На выборах, состоявшихся в 1858 году, непосредственно за началом регентства, действительно удалось провести в палату депутатов либеральное большинство, хотя ландраты оказывали этому всяческое противодействие, и хотя либеральные министры преспокойно вели такую реакционную избирательную агитацию, как это было только в дни Мантейфеля.

Однако, прежде чем это большинство успело испытать свою жизнеспособность, весной 1859 года разразилась война между Францией и Сардинией, с одной стороны, и Австрией—с другой. Торговый кризис 1857 года во всей Европе пробудил новую жизнь. В Италии оживились старые стремления к единству, и быстро нарастающее народное движение в Верхней Италии направилось против позорного гнета, исходившего от чужеземного австрийского господства. Однако, Савойская династия, которая царствовала в королевстве Сардинии и в лице графа Кавура имела либерального, но в то же время энергичного и ловкого министра, сумела подчинить себе это движение. Слишком слабая для того, чтобы собственными

силами начать борьбу против австрийского государства, она обратилась к псевдо-Бонапарту, который со времени декабрьского переворота 1851 г. сидел на французском императорском престоле, и встретила с его стороны благосклонное отношение. Этому авантюристу была необходима счастливая и популярная война для того, чтобы поднять свой падающий престиж. Торговый кризис 1857 года пробудил рабочий класс Франции и в то же время поселил во французской буржуазии тревожные опасения, в состоянии ли бонапартизм прочно обеспечить хороший ход дел, из-за чего она только и уступила ему политическое господство.

В виду опасности, угрожавшей со стороны Франции и Сардинии, Австрия обратилась к помощи Германского союза, в первую очередь прусского государства. В Германии тоже возникло некоторое национальное брожение; правда, оно идейно было совершенно спутанное и обнаруживало опасный уклон в том направлении, что превращалось в реакционную ненависть к французам. Но наибольшую спутанность проявлял прусский принц-регент; он с великим треском уселся между двух стульев: он мобилизовал прусскую армию, что уже само по себе было угрозой по адресу Франции, и в то же время требовал, чтобы ему принадлежало верховное командование германской союзной армией, что было такой же угрозой по адресу Австрии. Единственным результатом этой бессмысленной и бестолковой политики было то, что Франция и Австрия заключили в Виллафранке мир, по которому Австрия, чтобы обеспечить за собою верховенство в Германии, уступила Ломбардию Сардинии, и то, что политика Пруссии опять сделалась предметом насмешек на всех перекрестках Европы. Национальное движение в Германии закончилось национальными муками после похмелья, а они, в свою очередь, привели к общему взрыву раздоров. Но так как ни одна из охваченных распрями партий не хотела наложить руку на корни зла, на господство в Германии многочисленных династий, то гора родила только мышь, да и то мертвую: бумажную общегерманскую конституцию, принятую франкфуртским национальным собранием весной

1849 года. Вокруг нее собирал свои силы национальный союз, возникший весной 1859 года; он опирался главным образом на буржуазию небольших и мелких государств и написал на своем знамени объединение Германии под главенством Пруссии.

В Пруссии первая сессия новой палаты депутатов под давлением военных событий прошла безрезультатно. Во вторую сессию либеральное министерство выступило на сцену со своим первым крупным предложением, с требованием широкой военной реформы, которая должна была обременить государственный бюджет дополнительным расходом почти в десять миллионов талеров в год. С военно-технической точки зрения план имел за собой известные основания, тем более, что он стремился провести всеобщую воинскую повинность много последовательнее, чем это было сделано до того времени. Он шел навстречу желаниям буржуазии и в том смысле, что ей пора было уяснить себе, что нельзя без подготовленного прусского войска достигнуть единства Германии под главенством Пруссии. Но реорганизация армии была в то же время усилением власти короля и юнкеров, и не было никакой гарантии в том, что она будет использована в интересах буржуазии. Теперь уже никого нельзя было обмануть мнимым либерализмом принца-регента. В его самом главном собственном деле, как он обыкновенно называл организацию армии, ему было важно что-угодно, но только не желания либеральной буржуазии. Кроме личной любви к солдатчине, усиление собственной политической позиции вовне и внутри было для него главной движущей силой. У буржуазии не было никакой охоты платить за это десять миллионов талеров в год.

Тем не менее, нельзя сказать, чтобы положение, в котором она находилась, было тяжелое. Не получив согласия палаты депутатов, принц-регент не мог и думать о том, чтобы провести дорого стоящую военную реформу; палата же депутатов могла обусловить свое согласие на десять миллионов тем, чтобы ей, наконец, хотя бы отчасти была обеспечена реальная власть, и в особенности воздействие на применение военных сил. Между тем, палата депутатов в

непонятной слепоте не делала ни того, ни другого. Она не отвергла реорганизации армии, но и не соглашалась на нее, предварительно потребовав создания условий, которые вели бы к усилению ее власти. Напротив, во второй и третьей сессиях палата депутатов вотировала требуемые средства временно, на один год, при чем представила это как «вотум доверия» к «честным людям», заседающим в министерстве; благодаря этому игра была потеряна раньше, чем она началась. Если корона не могла, не испросив согласия палаты депутатов, создать несколько сотен новых батальонов, эскадронов и батарей, то для палаты депутатов было столь же невозможно, или еще много невозможнее, разом смести уже созданные батальоны, эскадроны и батареи.

Такая невероятная политика совершенно спутала либеральных избирателей. В июне 1861 года, когда закрылась третья и последняя сессия этой палаты депутатов, возникла германская прогрессистская партия, все еще с очень бледной и насквозь буржуазной программой, отвергавшей всеобщее избирательное право; но при всем том она пришла к решению выступать несколько энергичнее, чем выступало прежнее либеральное большинство. Между тем, в январе 1861 года Фридрих-Вильгельм 4-й умер, и его преемником сделался принц-регент, под именем короля Вильгельма 1-го. Скучной амнистией, полной коварных ловушек и оговорок, уже при своем вступлении на престол он возвестил всему миру, что он остается прежним реакционером и хорошо помнит 18-е марта 1848 года. То же самое он показал и теперь, проявив смешанные чувства страха и ярости по отношению к такой невинной организации, какою была новая партия прогрессистов. В качестве контр-удара он издал манифест, в котором заявлял, что в засвидетельствование непреложных прав короны милостию божией он совершит торжественное коронавание в Кёнигсберге, а во время самой коронации разразился такими вызывающими речами, что его абсолютистская неизлечимость должна была сделаться ясной для всякого избирателя, еще сохранявшего некоторое чувство собственного достоинства.

И действительно, на новых выборах, которые состоя-

лись в декабре 1861 года, через несколько недель после коронации, партия прогрессистов разом получила 161 мандат. Свою более резкую оппозицию она начала чрезвычайно скромным требованием: бюджет, до сих пор расписывавшийся только по немногим крупным статьям, под покровом которых министры могли производить всяческие обходы воли парламента, должен составляться детальнее. Это предложение прошло 6-го марта, в ответ на что министерство, до крайности возмущенное этим мнимым вотумом недоверия, распустило палату депутатов, но затем через несколько дней и само убралось вслед за палатой. Второе либеральное министерство в Пруссии нашло столь же позорный, но и столь же заслуженный конец, как первое.

После этого корона призвала новое министерство, которое было составлено из бюрократическо-феодалных элементов и пошло на выборы с паролем: власть королю или парламенту? Но свои действительные надежды оно возлагало не на эту пустую фразу, а на такое постыдное воздействие на выборы, какого не было даже при министерстве Мантейфеля. Партия же прогрессистов заявила, что конституции угрожает опасность, если палата депутатов не может осуществлять своего бюджетного права. Она говорила, что конституция не имеет никакой ценности, если она должна служить только для того, чтобы давать большие количества денег и солдат. Партия прогрессистов не шла дальше этих жалких общих мест, и ее вожди со всей силой нравственного негодования оскорбленных филистеров отвергали упрек, будто они требуют парламентского режима.

Но нашелся человек, который возвысил свой предостерегающий голос против этой постыдной политики. Это был Фердинанд Лассаль.

6. Лассаль.

Лассаль (1825—1864 г.)—сын торговца шелком в Бреславле. Его семья принадлежала к восточно-европейскому еврейству, которое еще глубоко повязло в мелкой торговле и ростовщичестве.

Мы этим нисколько не умаляем буржуазной почтенности его отца! Но как показывает дневник пятнадцатилетнего мальчика, современное образование, налет которого был на родительском доме Лассалья, при всяком сколько-нибудь глубоком душевном возбуждении оказывалось очень тонкой и поверхностной лакировкой. Иудейство мальчика Лассалья было еще совершенно доподлинным иудейством, и его первыми грезами были мечтания о том, как он, став во главе евреев, с оружием в руках освободит их от всех еще тяготеющих на них цепей. Вообще самонадеянный и заносчивый юноша скоро сделался невозможным в бреславльской гимназии и, вопреки воле своих родителей, которые хотели бы, чтобы он продолжал учение, весной 1840 года перешел в торговую школу в Лейпциге.

Но как бы необдуманно ни было это решение, его последствия были благотворные. Шлаки еврейского торга, еще пристававшие к мальчику Лассалью, обтесались о христианский торг, которому по всем правилам искусства обучали в лейпцигской торговой школе. И по мере того как Лассаль отвращался от торгашества, он отвращался от иудейства. Старательная работа над германскими классиками открыла его глаза на духовные сокровища современной культуры. В отличие от Маркса и Энгельса, Лассаль вырастал в революционера, благодаря гнету личной жизни. В биографии Лассалья нет ничего подобного тому самоуглублению в борьбу и в стремления эпохи, которого искали Маркс и Энгельс в начале своей сознательной жизни. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, он уяснил себе свое будущее: будущее агитатора, оратора, литератора, ведущего борьбу за священнейшие интересы человечества, хотя бы последствием этого была собственная гибель. Его родители еще раз подчинились его энергической воле, и осенью 1841 года Лассаль вступил на свой новый путь.

С невероятным усердием он наверстывал то, чего не сделал в гимназии. Скоро он получил аттестат зрелости, необходимый для университета, и сначала в Бреславле, а потом в Берлине изучал античную литературу и филосо-

фию Гегеля, превратившиеся в действительные источники питания его духа. В то время, когда Маркс и Энгельс дали гегельянской философии свидетельство об отставке, Лассаль сделался ее горячим приверженцем, и, как ни старался впоследствии наполнить понятия Гегеля реальным содержанием, ему никогда не удавалось в полной мере отрешиться от них, а вместе с тем и от основных воззрений философского идеализма.

Его первая научная работа была посвящена греческому философу Гераклиту, которого он старательно изучал по материалам парижских библиотек; но прежде чем он закончил эту работу, встреча с умной, красивой и несчастной женщиной бросила его в водоворот практической борьбы, которая должна была поглотить почти десять лет его жизни. В настоящее время мы не можем смотреть на борьбу Лассаля за графиню Гацфельдт с тем чувством удовлетворения, с каким он сам всегда смотрел на этот «триумф его жизни». Позорное оружие, каким граф Гацфельдт пользовался в борьбе со своей женой, вынуждало и у ее защитников некоторые шаги, относительно которых, не впадая в филистерские настроения, можно сказать, что было бы лучше, если бы Лассаль их не делал. Тем не менее, нельзя оспаривать, что побуждения, по которым Лассаль вмешался в дело Гацфельдт, были чисты и безукоризненны.

Снедаемый пламенной жадной деятельности, Лассаль в тихие домартовские времена вступился за беззащитную женщину, которую гнали и которой изменяли те, кто должен был бы дать ей защиту: ее муж, ее братья, ее класс. И если в судьбе графини Гацфельдт отразилась вся низость классов, правивших домартовской Пруссией, то Лассаль, как он говорил впоследствии, начал бунт за собственный страх: он, молодой и бессильный еврей, восстал против пагледцов, перед запосчивостью и упрямством которых трусливо отступали корона, дворянство, юстиция. Лассаль сказал себе, что, только пользуясь своим положением графа и многократного миллионера, граф Гацфельдт мог позволить себе те безобразия, которые он в течение нескольких лет совершал над своей женой; постольку

Лассаль с полным правом решил, что в деле графини Гацфельдт воплотились общие принципы и общие точки зрения.

Занявшись этим делом, Лассаль не забывал, что его жизнь принадлежит революции. В марте 1848 года он попал в тюрьму на основании совершенно несостоятельного обвинения, будто он подговорил к похищению шкатулки, выкраденной у одной любовницы графа Гацфельдта. В августе того же года, когда после блестящей защитительной речи присяжные вынесли ему оправдательный приговор, он бросился в водоворот революции. Живя тогда в Дюссельдорфе, он поддерживал оживленные сношения прежде всего с Марксом, взгляды которого оказали на него большое влияние. Чуждый зависти, Лассаль всегда признавал Маркса более великим умом. Но он был учеником Маркса только в условном смысле. Его образование было уже слишком закончено и завершено для того, чтобы затем он мог вполне сродниться с материалистическим пониманием истории.

Во время ноябрьского кризиса 1848 года Лассаль стоял во главе движения в Дюссельдорфе и вооружал его на тот случай, если бы берлинское собрание исполнило свой долг и призвало к оружию. Так как оно не сделало этого и высказалось за «пассивное сопротивление», которое Лассаль осыпал ядовитейшими насмешками, то он был арестован по обвинению в призыве к вооруженной борьбе против королевской власти. 3-го мая присяжные вынесли ему оправдательный приговор; но, нагло нарушая старый юридический принцип, согласно которому никто не может быть судим дважды за одно и то же преступление, Лассалья поставили пред лицо ученых судей, которые приговорили его к шести месяцам тюрьмы. Когда, наконец, он вышел из заключения, революция уже давным-давно замерла.

В 1854 году Лассаль нанес графу Гацфельдту настолько решительное поражение, что этот грешник должен был подчиниться. Лассаль закончил свою большую работу о Гераклите, которая немедленно обеспечила ему почтенное место среди германских ученых, и затем переселился в

Берлин, где он занимался научными работами, в частности своим вторым крупным произведением, «Системой приобретенных прав», в котором он хотел построить «прочный оплот научной системы права для революции и социализма». Но он постоянно с жгучей тоской ждал того дня, который откроет перед ним возможность практической революционной деятельности.

Весной 1862 года ему показалось, что этот день наступил. Он с растущим негодованием следил за бессмысленной политикой либерализма, но он был слишком разумный политик для того, чтобы просто дать волю своему гневу, каким бы справедливым этот гнев ни был. Дело для него сводилось в первую очередь к тому, чтобы просветить буржуазный класс относительно его истинных интересов и отклонить его от ложных путей, на которые он на свою пагубу ступил во время реакции 1848 года. В докладе «О сущности конституции», прочитанном в нескольких берлинских районных союзах, он показал, что весь шум, который производит партия прогрессистов, ссылаясь на право, даваемое ей конституцией, не приведет ни к чему. Правительство сотни раз показывало, что оно плюет на конституцию, так как у него есть сила преступать конституцию, когда оно находит это полезным, а буржуазия с этим мирилась и вынуждена была примириться, пока она не шла дальше простых ссылок на свое право. В прозрачно ясной форме Лассаль показал, что конституционные вопросы—вопросы не права, а силы, что действительная конституция всякого государства заключается только в том соотношении реальных, фактических сил, которое существует в данной стране.

В этом докладе Лассаль еще не делал никаких практических выводов для прогрессистской партии. Он хотел только привести избирателей к правильному пониманию исторического значения конституционного конфликта. Но он не достиг и этой цели. Хотя его речь сопровождалась обычными аплодисментами, однако, слушатели едва ли поняли, к чему стремится Лассаль. Во всяком случае впечатление, которое, быть-может, произвела речь, было совершенно уничтожено, когда несколькими неделями позже, в мае

1862 года, партия прогрессистов одержала колоссальную избирательную победу, перед которой замолкли все сомнения в правильности прогрессистской политики.

Однако, правительство и здесь не пошло на капитуляцию. Правда, обе стороны до некоторой степени хотели прийти к соглашению, но все переговоры о компромиссе разбились об упорное непонимание короля. 23-го сентября 1862 года палата депутатов отказала в средствах на реорганизацию армии, в ответ на что король назначил министром-президентом прусского посланника в Париже фон-Бисмарка. С 1848 года Бисмарк пользовался репутацией испуганного реакционера, и партия прогрессистов увидела в его назначении приступ к государственному перевороту. Он начал с того, что усвоил сравнительно мягкие тоны, но так как он категорически отказался признать бюджетное право палаты депутатов, то партия прогрессистов отнеслась к нему с недоверием, и 13-го октября 1863 года он отправил ландтаг по домам. Тогда выступил вопрос: «Что же дальше?», на который Лассаль попытался ответить своим вторым докладом о сущности конституции.

Он говорил, что если партия прогрессистов хочет оставаться на пути бумажных протестов и резолюций, то она будет побеждена министерством Бисмарка, как это и случилось в действительности. В противоположность этому Лассаль предлагал совершенно устранить иллюзорный конституционализм, полезный только для правительства: пусть палата депутатов откажется от всяких переговоров с правительством, пока оно не приостановит своих противоконституционных расходов. Это было так вразумительно, что на момент должно было ошеломить даже прогрессистскую партию. Без народного представительства, дававшего необходимую гарантию кредиторам государства, министерство Бисмарка так же село бы на мель банкротства, как сел домартовский абсолютизм. И, пожалуй, партия прогрессистов пошла бы на это, если бы предложение Лассаля сводилось исключительно к тому, чтобы добиться победы только в данном столкновении с Бисмарком. Но тактика Лассаля,—и он сам меньше всего это скрывал,—

по своим практическим результатам шла много дальше данного конкретного случая. Она выступала против жалкой прусской конституции вообще. Между тем буржуазия слишком хорошо знала, почему она, несмотря ни на что, так цепляется за эту конституцию: пусть у буржуазии конституция брала ложками,—у пролетариата она брала ведрами.

Поэтому после недолгих колебаний партия прогрессистов отвергла предложение Лассаля. Но, мучимая своей нечистой совестью, она сделала и еще кое-что: ее газеты обрушились на Лассаля с оскорблениями и подозрениями, будто бы он в интересах Бисмарка предает буржуазных героев свободы.

Таково было положение вещей, когда германские рабочие обратились к Лассалю с просьбой о совете и помощи.

Источники. Блос, „Германская революция“. Перевод В. Базарова и И. Степанова. Энгельс, „Революция и контр-революция в Германии“ (раньше эта работа приписывалась Марксу). Меринг, „История германской социал-демократии“. Том второй. Лассаль, Собрание сочинений, 3 тома.

ОТДЕЛ ШЕСТОЙ.

Революция сверху.

1. Всеобщий Германский Рабочий Союз.

В пятидесятых годах рабочий класс Германии оставался еще совершенно спокойным, но его рост шел одинаковым шагом с ростом крупной промышленности, и колокол буржуазии никогда не мог прозвучать, не вызвав тотчас же ответного колокола пролетариата.

Крупно-промышленные рабочие жили в таких ужасных и тягостных условиях, о которых рассказывают еще разве только предания о периоде бури и натиска крупной промышленности в Англии. Им тем труднее было освободиться от этих условий, что их стискивали принудительные политические законы, а в экономической области на каждом шагу стесняли все еще многочисленные в Германии пережитки феодального общества. Но как-раз по этой причине здесь был возможен честный союз между буржуазией и пролетариатом, конечно, не вечный союз, но все же союз на продолжительное время, до тех пор, пока прусское юнкерское, полицейское и военное государство не будет поставлено на буржуазные ноги. И не рабочий класс пренебрег этим союзом, а буржуазия, которая оказалась неспособной хотя бы отчасти выполнить по отношению к пролетариату свой исторический долг, как она оказалась неспособной выполнить его по отношению к абсолютизму и феодализму. Она хотела попросту взять рабочих на бу-

ксир, как несознательную пассивную массу, и заставить их забыть о том, что у них имеются собственные интересы.

С этой целью рабочих отсылали к «сбережениям» и «самопомощи», как единственному выходу из их страданий, или основывали просветительные общества рабочих, членов которых пичкали буржуазными идеями. В этих обществах велась самая поверхностная болтовня обо всех возможных и еще о некоторых вещах; поскольку же они могли бы принести действительную пользу рабочим специальными и дополнительными курсами, они имели своей целью создание для капиталистической эксплуатации штаба интеллигентных рабочих. Однако, современный пролетариат не позволил долго обманывать себя таким способом, а когда он начал осмысливать свое положение, буржуазия с самой грубой неуклюжестью поспешила не замедлить, а ускорить процесс размежевания.

В 1862 году в Берлине и Лейпциге стали замечаться некоторые проявления самостоятельной жизни в рабочем классе; на первое время они свелись к созыву всеобщего конгресса рабочих, с программой, нисколько не затрагивавшей буржуазию. Тем не менее, эти попытки натолкнулись на решительное противодействие со стороны прогрессистской партии. Конечно, противодействие должно было возбудить подозрительность рабочих, тем более, что они очень решительно отклонили давно начавшиеся старания Бисмарка привлечь их к себе подачками и затем использовать в качестве пушечного мяса против буржуазии. Точно так же Национальный Союз пренебрежительно отнесся к рабочим. Он исключил их из числа своих членов, не разрешив им вносить ежегодные платежи по частям. Если же рабочим взамен того рекомендовалось смотреть на себя, как на «почетных членов союза», они не могли не увидеть в этом жестокого издевательства.

В ноябре 1862 года еще раз было достигнуто соглашение: прогрессистская партия заявила о своей согласии на созыв всеобщего конгресса рабочих и обещала оказать ему поддержку, если он будет надлежащим образом подготовлен. Однако, она ставила такие многочисленные препят-

ствия перед лейпцигским Центральным Комитетом, на который были возложены подготовительные работы по созыву съезда, что члены Комитета скоро совсем растерялись. Так как и сами они еще не уяснили себе исторических задач современного рабочего движения, то они обратились к Лассалю. Они заинтересовались им после доклада, который он в одно время со своим первым докладом «О сущности конституции» прочитал в берлинском Ремесленном Союзе. Если его доклады о сущности конституции должны были предостеречь буржуазию от повторения ошибок, сделанных ею в 1848 году, то этот доклад: «Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия», должен был показать рабочим, что в той общей борьбе, которую они вместе с буржуазией ведут против абсолютизма и феодализма, им не следует забывать своих собственных интересов. В первое время доклад нашел среди рабочих недостаточное понимание, но затем мало-по-малу проложил себе дорогу и привлек внимание лейпцигского Центрального Комитета.

Лассаль с полной готовностью пошел навстречу. Самостоятельное движение рабочего класса—это было именно то, что ему требовалось. Он условился с Центральным Комитетом, что тот должен запросить у него, каким образом можно помочь рабочему классу, и на его запрос Лассаль ответил «Открытым письмом», которое появилось в половине марта 1863 года. В этом документе, являющемся свидетельством о рождении германской социал-демократии, было показано, что средства, которыми Шульце-Делич хотел помочь рабочим, недействительны, что, в частности, потребительные общества должны разбиться о железный закон капиталистического хозяйства, низводящий среднюю заработную плату к привычным средствам существования, необходимым у данного народа для поддержания жизни и для размножения. В подтверждение правильности этого закона Лассаль справедливо ссылался на все авторитеты буржуазной экономии. Затем он показал, что хотя принцип ассоциации в состоянии помочь рабочему классу, но только в форме производительных ассоциаций с государственной помощью, и что эта помощь

будет обеспечена, если 89—96 процентов всего населения, живущие среди бедности и угнетения, объединятся в мощный союз, который должен написать на своем знамени требование всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного права.

С той точки зрения, которой в своем научном познании достиг рабочий класс Германии в настоящее время, «Открытое письмо» не свободно от многих односторонностей и слабостей. Тот железный закон заработной платы, который формулировал Лассаль, следуя за буржуазной политической экономией, благодаря исследованиям Маркса, опубликованным лишь по смерти Лассаля, получил иное освещение, хотя отнюдь не более благоприятное для капиталистического способа производства. Производительные ассоциации с государственным кредитом, в которых Лассаль видел первый шаг к превращению капиталистического общества в социалистическое, страдали тем недостатком, что они исходили из предположения, будто законы товарного производства можно уничтожить уже на почве товарного производства. Неправильные выводы сделал Лассаль и из прусской статистики доходов: он считал возможным на продолжительное время организовать для пролетарской освободительной борьбы все элементы населения, жившие среди бедности и угнетения. Он проглядел, что сравнительно небольшая часть этих элементов представляла современный пролетариат и была способна понять его язык.

Все эти слабые места «Открытого письма» вытекали из того, что Лассаль еще не знал развитого капиталистического общества со всей игрой его внутренних законов. Но так как развитого капиталистического общества в тогдашней Германии вообще еще не существовало, то его ошибочные воззрения оказывали не менее сильное действие, чем его бесспорные истины. «Открытое письмо» поразило, как взрыв бомбы,—но оно встретило несравненно меньше согласия, чем возражений. Согласие с ним выразили собрания рабочих в Лейпциге, Гамбурге и во многих прирейнских городах,—в Дюссельдорфе, Золингене, Кельне и Эльберфельде. В общем же прогрессисты заставили за-

висимые от них просветительные общества рабочих принять резолюции с выражением негодования против Лассалья, клеймившие его, как сознательное или по меньшей мере бессознательное орудие реакции, и осуждавшие «Открытое письмо», как неразумное выступление. 19-го апреля большое рабочее собрание в Берлине высказалось тоже против Лассалья, чем, казалось, его агитация была задумана в самом зародыше.

Однако, в тот же день она ожила снова. Просветительные общества рабочих области Майна, объединившиеся в особый союз, были созваны на рабочий съезд в Рёдельгейм, где по воле прогрессистских заправил должно было состояться осуждение Лассалья. Но председатели некоторых из этих обществ были слишком дальновидны и беспристрастны для того, чтобы осуждать Лассалья, не выслушав его; они находили себе опору в том движении против расслабленной политики прогрессистской партии, которое начало разворачиваться среди масс юго-западной Германии, где еще живы были предания о баденско-пфальцском восстании. Поэтому в Рёдельгейме было решено пригласить Шульце-Делича и Лассалья на рабочий съезд, который должен был собраться 17-го мая во Франкфурте-на-Майне. Шульце-Делич отклонил предложение под предлогом парламентских дел, но Лассаль явился, и ему удалось сначала во Франкфурте, а днем позже в Майнце, одержать победу. Одобренный этими успехами, достигнутыми при самых неблагоприятных условиях, он поспешил в Лейпциг и там 23-го мая 1863 года в Пантеоне положил начало Всеобщему Германскому Рабочему Союзу, на который он указывал в «Открытом письме», как на необходимую пролетариату организацию.

Здесь были представители из одиннадцати городов: Лейпцига, Гамбурга, Гарбурга, Кёльна, Дюссельдорфа, Эльберфельда, Бармена, Золингена, Франкфурта - на - Майне, Майнца и Дрездена. Целью Союза было признано завоевание всеобщего избирательного права посредством мирной и законной агитации. Организация была построена строго централистически и приводила фактически к диктатуре президента, каковым Лассаль был избран на пять лет.

Однако, эта диктатура вытекала не из личного честолюбия Лассалья, а из необходимости при большой в то время незрелости рабочих передать руководство агитацией человеку, отличавшемуся выдающейся дальнзоркостью.

Эта агитация сначала имела тоже очень небольшой успех. Даже в собственно новейшем пролетариате того времени к классовому сознанию пробудилась сравнительно небольшая часть; да и предприниматели самым усиленным образом работали против Союза. Четверть года спустя по его основании, в нем насчитывалась всего тысяча членов, что и в отдаленнейшей мере не соответствовало ожиданиям Лассалья. Он возлагал свои надежды на широкую агитацию, которую он намеревался развернуть осенью, а в особенности на новые события, которые, как он полагал, знаменовали и которые действительно знаменовали начало революции сверху.

2. Начало германского кризиса.

В первые месяцы 1863 года прусский конституционный конфликт все еще тянулся с убийственной тоскливостью. Как предсказывал Лассаль, чисто-парламентское словоговорение оказалось совершенно бессильным парализовать противоконституционный режим. Как во внутренней, так и в иностранной политике Бисмарк делал, что хотел, а в мае 1863 года просто отправил по домам шумливый парламент.

Тогда прогрессистская партия организовала большие народные торжества, на которых она в хвастливых выражениях прославляла победы, ею совсем не одержанные. Напротив, Бисмарк и теперь действовал вместо того, чтобы болтать. 1-го июня он издал противоконституционный приказ о печати, дававший всем административным властям полномочие после двухкратного предостережения закрывать на-время или навсегда каждую газету, допускающую нападки на правительство. Прогрессистская партия спокойно приняла и этот удар; прогрессистские газеты отказались от трактования политических вопросов,

питая надежду, что после того, как опять соберется ландтаг, нельзя будет сохранять приказ о печати.

Австрийское правительство признало этот момент удобным для того, чтобы отделаться от соперничества Пруссии в деле господства над Германией. Летом 1863 года австрийский император созвал во Франкфурте-на-Майне конгресс германских государей, чтобы обсудить реформу Германского союза; она сводилась к тому, что прусское государство устранялось из союза и в то же время германская нация навсегда лишалась слова, так как у нее отнималось всякое непосредственное представительство. Бисмарк парировал этот удар таким образом, что прусский король не явился на франкфуртский конгресс государей, ссылаясь на то, что австрийские планы реформы преследуют династическо-партикуляристские цели, а не истинные интересы нации, которые могут получить удовлетворение только при посредстве действительного парламента, созданного при прямом участии всей нации.

Напротив, прогрессистские депутаты отдельных государств Германии, тоже собравшиеся во Франкфурте-на-Майне на съезд депутатов, совершили ту необъяснимую глупость, что отнесли к австрийскому плану реформы «не исключительно отрицательно» и отправили это постановление конгрессу государей. Они обратились с петицией к представителям того самого династического партикуляризма, который в ряду десятилетий был проклятием германского народа, и который только-что получил от Бисмарка отпор перед лицом всей Европы. Прусский министр поспешил распустить палату депутатов и назначить на осень того же года новые выборы, чтобы избиратели могли высказаться о подготавливавшемся покушении на независимость прусского государства.

В агитационной речи, произнесенной в сентябре 1863 г. перед сторонниками в Бармене, Золингене и Дюссельдорфе, Лассаль обратился к сложившемуся положению. Он напомнил о политическом источнике своей агитации и бичевал буржуазную безмозглость, вновь проявившуюся в прогрессистских торжествах, в подчинении прогрессистской прессы приказу Бисмарка о печати и, наконец, во

франкфуртском съезде депутатов. Он осмеивал прогрессистов, делающих глазки государям для того, чтобы досадить Бисмарку. Таковы-то приемы этих жалких людей, но еще никогда не удавалось старым бабам напугать мужчину тем, что они начинали кокетничать с другими. И Бисмарк уже дал ответ прогрессистам, распустив палату депутатов. Лассаль рекомендовал рабочим поддерживать на выборах прогрессистских кандидатов, так как прогрессисты—слабейшая сторона, а рабочие, хотя у них нет в этих выборах принципиальной заинтересованности, тактически самым непосредственным образом заинтересованы в том, чтобы буржуазия и юнкера взаимно парализовали друг-друга.

Нельзя сказать, чтобы Лассаль этим тактическим поворотом отрекался от какой-нибудь принципиальной точки зрения, высказывавшейся в прошлом. Но в его тактике, как таковой, были свои теневые стороны. В особенности тяжелым промахом было то обстоятельство, что по распушении золингенского собрания прогрессистским бургомистром Лассаль по телеграфу донес об этом Бисмарку. Революционеру, каким хотел быть и действительно был Лассаль, не подобало к представителю феодальной реакции, которая постоянно самым позорным образом уничтожала право союзов и собраний, обращаться с просьбой о возмездии за нарушение этого права, безразлично, был ли нарушителем прогрессист или кто-либо другой. Конечно, Бисмарк не дал просимого удовлетворения, но прогрессистская партия благодаря этой злосчастной телеграмме получила, наконец, клочок бумаги, посредством которого она могла как-будто бы доказать то, чем она неустанно морочила массы, именно, будто Лассаль играет в одну дудку с Бисмарком. И ей удалось настолько запугать берлинских рабочих, что, когда Лассаль по возвращении из поездки на Рейн адресовался к этим рабочим с особым обращением, оно не произвело абсолютно никакого действия.

Между тем, новые выборы в палату депутатов, вопреки самому отчаянному правительственному воздействию, опять принесли победу прогрессистской партии. Таким образом, спекуляция Бисмарка на национальный нерв окон-

чилась неудачей; однако, благодаря случайности, он следом за тем получил возможность снова повторить ее с большей надеждою на успех. 15-го ноября 1863 года умер датский король; через три дня после того была опубликована датская конституция, которая вопреки европейским договорам аннектировала герцогство Шлезвиг, подобно герцогству Голштинскому связанное с Данией только личной унией. Чтобы наказать маленькую Данию за нарушение договоров, Австрия и Пруссия выступили против нее; в то же время сильное движение охватило всю германскую нацию, которая хотела вообще устранить датское господство над двумя германскими герцогствами. К сожалению, буржуазии, а также дипломатии небольших и мелких государств настолько удалось завести это движение в тупик, что оно выступило за образование нового небольшого государства, шлезвиг-голштинского, под господством неизбежного для таких случаев принца.

В противоположность этому Бисмарк тайно подготавливал аннексию Шлезвиг-Голштинии. Между ним и партией прогрессистов возник новый конфликт, который Лассаль старался использовать для того, чтобы заставить Бисмарка октроировать всеобщее избирательное право, а Бисмарк в свою очередь вступил в переговоры с ним с той целью, чтобы использовать предлагаемые Лассалем производительные ассоциации с государственным кредитом для всевозможных реакционных махинаций.

На основании того, что Бисмарк рассказал впоследствии об этих переговорах, он сам,—а не Лассаль, как он утверждал,—оказался простаком. Лассаль сразу раскрыл затаенные замыслы Бисмарка и поспешил публично выступить с повторными протестами против всех мелочных экспериментов с производительными ассоциациями; напротив, Бисмарк курьезным образом думал, будто Лассаль, настроенный националистически и монархически, является горячим сторонником превращения Германии в империю. Но хотя в этих переговорах в умственном отношении Лассаль далеко превосходил министра, хотя он в полной мере обеспечил себе отступление и не сделал никаких компрометирующих уступок реакционной политике Бис-

марка, однако, и он предавался иллюзиям: он воображал себе, будто своим блестящим красноречием сумеет придать революционный размах хитрой кабинетской политике Бисмарка. Лассаль совершенно правильно увидел, что Бисмарк, стремясь к опруссачению Германии, должен будет обратиться ко всеобщему избирательному праву. Но дело пока еще не зашло настолько далеко, и та безмятежность и вялость, с какой прогрессистская партия действовала в конституционном конфликте, были именно то, что требовалось Бисмарку: никакими заманчивыми доводами нельзя было соблазнить его на преждевременный опыт с обоюдоострым оружием всеобщего избирательного права. В этом смысле переговоры Лассалья с Бисмарком представляли промах со стороны Лассалья, хотя он со спокойной совестью мог бы сказать о себе, что он играл с Бисмарком, а не Бисмарк с ним.

Зимой 1863—64 года рабочая сила Лассалья поглощалась преимущественно бесчисленными процессами, подготовкой главной теоретико-экономической работы, направленной против Шульце-Делича, и в особенности пропагандой в пользу Всеобщего Германского Рабочего Союза. К осени 1864 года Лассалю удалось увеличить число членов Союза почти в пять раз, повысив его до 4.600. Но и эта цифра далеко отставала от его ожиданий, и он нередко с большой горечью отзывался о слишком медленном развитии движения, между тем как беспристрастные наблюдатели уже тогда находили, что Союз оказался превосходной школой, подготовлявшей руководителей. Среди рабочего класса, и особенно среди рейнских рабочих, у прогрессистской партии уже почти совсем не оставалось сторонников.

Смертельно измученный чрезмерной работой, физически и душевно совершенно расшатанный человек, Лассаль в мае 1864 года покинул Берлин, чтобы еще раз сделать смотр своим войскам и затем позаботиться о восстановлении своего здоровья. На праздновании годовщины основания Союза, состоявшемся в Ронсдорфе, рабочие встретили Лассалья с неопишуемым восторгом; однако, речь, которую он произнес здесь по случаю годовщины Союза,

была не только последней, но и слабейшей из его агитационных речей. Она страдала жестокими преувеличениями и тактическими промахами.

Затем Лассаль отправился для молочного лечения в Риги-Кальтбад в Швейцарии, где разыгралась его любовная драма, которая 31-го августа 1864 года повела к его насильственной смерти на дуэли.

3. Революция сверху.

Приблизительно в то самое время, когда погиб Лассаль, революция сверху пошла живым темпом.

Еще в сентябре 1862 года, когда Бисмарк (1815—1898 г.) был назначен прусским министром-президентом, он обещал либеральной оппозиции, что «кровью и железом» достигнет того единства Германии, которого требовали интересы буржуазии. Однако, она не поверила ему; так или иначе она считала его авантюристом, за что при сложившихся обстоятельствах не приходится упрекать ее.

Бисмарк был призван в первую очередь для того, чтобы руководить противоконституционным правлением. Он оспаривал бесспорное бюджетное право палаты депутатов и прикрывался искусственно созданным «пробелом» прусской конституции, которая умалчивала, что делать в том случае, если между короной и парламентом не будет достигнуто соглашение о бюджете. Но от палаты депутатов нельзя было отделаться этой формальной уловкой, потому что и по всему историческому смыслу, и даже по смыслу прусской конституции, бюджетное право палаты заключалось в том, что правительство не могло производить никаких расходов, в которых отказала палата депутатов.

Да и вообще у либеральной буржуазии были все основания чужать в Бисмарке прежнего юнкера 1848 года. Он пришел в восторг от ольмюцкого поражения, и этот избыток реакционности открыл для него путь к посту прусского уполномоченного при германском союзном сейме. Во Франкфурте, этом богатом денежном рынке, его кругозор расширился до некоторого понимания капиталистического

мира, обладающего совершенно иными сокровищами, чем мир феодальный. Бисмарк сдружился с домом Ротшильдов, берлинский представитель которого Блейхредер взял его скудные финансы под свое спасительное покровительство. Тем не менее, в глубине души он с прежней ненавистью относился к притязаниям буржуазии на политическое господство. Он никогда не мог понять либерализма во всей его исторической связи. Мы уже не говорим о том, что теоретически он никогда не шел дальше самой поверхностной болтовни филистера во всем, что касалось социализма и рабочего движения.

Но перевес над либеральной буржуазией давала ему его грубо прорывавшаяся воля юнкера; в этом отношении он далеко превосходил даже своих сотоварищей по классу. У него было, несомненно, большое практическое понимание; но при всей деловитой изощренности взора он совершенно не видал движущих сил народной жизни. Бонапартизм второй империи был для Бисмарка не преходящим эпизодом всемирно-исторической борьбы между буржуазией и пролетариатом, а классической формой современного деспотизма, который развивает колоссальные производительные силы буржуазии и железной рукой подавляет ее политические притязания.

Энгельс метко писал: «Бисмарк—это Луи-Бонапарт, переведенный с языка французского авантюриста, претендента на корону, на язык прусского деревенского юнкера и германского корпоранта-студента». Уже в пятидесятых годах Бисмарк обрушивался на жеманность своих сотоварищей по классу, которые из феодальной или легитимистской щепетильности отказывались вступать в прибыльные сделки с гениальным человеком на Сене. Сам он не знал такого рода сомнений. Чем яснее становилось для него бонапартистское государственное искусство, тем более отступал он от габсбургского государственного искусства, которое не выходило из вечной финансовой нужды и, тем не менее, заявляло притязания на подчинение прусского государства. Австрийские притязания ни для кого не были столь чувствительны, как для прусского уполномоченного при союзном сейме; здесь же он лучше всего мог познакомиться с беспомощностью небольших мелких

государств, с их «совершенно неисторическим, безбожным и незаконным сумасбродством суверенности, овладевшим германскими государями».

При всем том, хотя у Бисмарка было полномочие от королевской власти и юнкеров попираť конституцию страны, но ему не было дано полномочий проводить германскую политику в своем духе, в особенности в духе либеральной буржуазии. Первое же выступление Бисмарка в области международных отношений совершенно расстроило буржуазию: это были услуги палача, оказанные им русскому царю при подавлении польского восстания 1863 года. Правда, затем Бисмарк против франкфуртского съезда государей пустил в ход идею германского парламента, но потом, несколькими месяцами позже, он вступил в союз с Австрией в шлезвиг-голштинском вопросе и соединился с ней не для того, чтобы содействовать национальному движению, которое стремилось к полному освобождению приэльбских герцогств от датского господства, а, наоборот, для того, чтобы парализовать национальное движение и предъявить к Дании только одно требование: чтобы она отказалась от непосредственного присоединения Шлезвига к датскому государству. Это была и не смелая, и даже не национальная политика: если бы Дания подчинилась этому требованию, то ее господство над Шлезвиг-Голштинией сохранилось бы и впредь. Но, к счастью для Бисмарка, датское правительство продолжало упорствовать. Дело дошло до решения силой оружия, и так как война расторгает все договоры, то по Венскому миру в октябре 1864 года Дания должна была отдать герцогство Шлезвиг-Голштинию в общее владение Австрии и Пруссии.

С этого времени перед Бисмарком открылся более свободный путь, и хотя он не был национальным политиком, тем не менее, оказался энергичным и ловким дипломатом: с помощью заграницы он сумел сбросить с шеи австрийскую гегемонию и вообще выволок Австрию из Германии. Он снискал благоволение царя своими услугами палача в польском восстании, а благоволение Бонапарта он приобрел таким способом, что раздражал у своего

высокого образца аппетит к захвату части германской территории, и если не возбуждал его прямо,—на этот счет мнения расходятся,—то во всяком случае давал ему постоянную пищу. С Италией он заключил даже военный союз, чтобы нанести «удар в сердце» австрийской монархии. Если специальностью старопрусской политики было с помощью заграницы поедать Германию как артишоки, то специфически бонапартистским приемом было использовать всеобщее избирательное право в качестве приманки во внутренних делах Германии: буквально то же сделал Бонапарт при своем государственном перевороте в 1851 году. Оба хитреца совершенно правильно решили, что нет более действительного средства для одурачивания масс, чем всеобщее избирательное право, пока массы политически еще не прозрели. Конечно, впоследствии им, и в особенности Бисмарку, довелось основательно познакомиться с оборотной стороной этой медали.

Поставленная перед такой коварной политикой либеральная партия не выходила из состояния полной беспомощности. У одних прусский партикуляризм пробивался сквозь всю мишуру национальных фраз; они заявляли, что сердце демократии там, где развеваются прусские знамена. Напротив, другие предавались бессильным жалобам по поводу той опасности для материальных интересов буржуазии, которою угрожает война. Прусская палата депутатов попрежнему оглушала себя громкими словами, которые значили для Бисмарка меньше соломинки, но которые он умел превосходно использовать для укрепления своего положения. Король, как и большая часть юнкеров, страшились разрыва с Австрией. Но вследствие той решительности, с какою Бисмарк расправлялся с мятежной палатой депутатов, Бисмарк сделался прямо необходимым для них, так что они волей-неволей должны были следовать за ним по головоломным стезям его иностранной политики. Чем больше либеральная оппозиция оглушала самое себя громкими фразами, тем легче было Бисмарку вызывать перед запуганным умом короля тени 18-го марта и предвещать ему судьбу Карла 1-го английского или Людовика 16-го французского в том случае, если невинным

прогрессистам и манчестерцам как-нибудь удастся достигнуть власти.

И в то время, как либеральная буржуазия в страхе отшатывалась от революционных средств, которые только и способны были бы помочь ей, Бисмарк совершенно их не боялся, раз только они вели его к цели. Он взорвал Германский союз, прогнал союзный сейм из Франкфурта, организовал в Верхней Силезии венгерский легион под командой революционного генерала Клапки и других революционных офицеров, при чем этот легион, составленный из венгерских перебежчиков и военнопленных, должен был вести войну против своего собственного законного военачальника. По завоевании Богемии Бисмарк издал прокламацию «к жителям славного королевства Богемии», представлявшую такое же жестокое издевательство над традициями легитимности. Потом среди мира он захватил в полном составе владения трех законных государей Германского союза да, кроме того, вольный город Франкфурт, и это изгнание государей, таких же «милостию божией», как король прусский, не произвело никакого впечатления на христианскую и монархическую совесть последнего.

Таким образом, Бисмарк оперировал в то время вполне революционными способами, что, конечно, само по себе не составляет позора для него. Но революция, которую он делал, поскольку индивидуум вообще может сделать революцию, была только революцией сверху, следовательно, половинчатой революцией, которая среди победы открывает, что она не в состоянии завершить начатое ею. Прусская армия в июне 1866 года рядом быстрых ударов разбила австрийскую военную силу и войска небольших государств, которые в решительный момент все стали на сторону Габсбургов. Разбитые правительства, включая и венское, но за исключением двора в Карлсруэ, проявили теперь свой патриотизм, с мольбою о помощи бросившись в объятия Бонапарта. Возражения Франции приостановили победное шествие прусского оружия, и мир был заключен в соответствии с французскими предложениями.

Революция сверху должна была остановиться на полпути, задержанная властным словом иностранного деспота.

4. Северо-Германский союз.

Таким образом, новая Германия, какой она вышла из войны 1866 года, носила на своем челе печать незаконности.

Австрия отреклась на будущее время от всякого вмешательства в германские дела, но вместе с тем ее немецкие провинции были потеряны для Германии. Государства к северу от Майна составили Северо-Германский союз,— мнимо-союзное государство, получившее такую курьезную форму, что власть прусского дома, еще значительно усилившаяся благодаря аннексии Шлезвиг-Гольштинии, Ганновера, Кургессена, Нассау и Франкфурта, подавляющей тяжестью легла на многочисленных мелких вассалов. Государства же к югу от Майна,—Бавария, Вюртемберг, Баден и часть Гессен-Дармштадта,—повисли в воздухе; им предоставлялось, поодиночке или вместе, разыгрывать роль европейских держав или вступить в «национальную связь» с Северо-Германским союзом, смотря по тому, что им нравится.

С самого начала было ясно, что такое положение не может быть длительным, и, действительно, никто не верил в его прочность. Конечно, насколько можно было заглянуть вперед, немецкие провинции Австрии были потеряны для Германии, но линия Майна не могла навсегда разорвать Германию. В битве при Кёниггреце победил не прусский школьный учитель, как говорят фразисты краснобай о победе игольчатого ружья, а таможенный союз, который в течение десятилетий создал обширную хозяйственную территорию. Экономические потребности этой хозяйственной области, в которой капиталистический способ производства ежедневно завоевывал новые и новые части, были той реальной почвой, из которой вырастали стремления к национальному единству. Политические узы, связывавшие эту хозяйственную территорию с Австрией, могли быть расторгнуты с тем большею легкостью, чем более они превращались в тягостные помехи ее экономическому укреплению, но тем труднее было

разложить государственно-правовыми хитросплетениями собственную экономическую связанность этой территории. Южно-германские государства не могли играть роль европейской самостоятельной державы; они не могли также сделаться французскими или австрийскими вассалами: обширная хозяйственная территория, выросшая в течение тридцати лет и находившаяся на восходящей линии капиталистического развития, для этого должна была бы разбиться на тысячу осколков, что относилось к области исторически невозможного.

Бисмарк понял это положение и с бесспорным искусством сумел приспособить к нему свою политику; дни Северо-Германского союза вообще были сравнительно наилучшим его временем. Теперь он приступил к осуществлению программы, которую уже в 1864 году изложил—или будто бы изложил—члену русского государственного совета Эверту: «Одних я куплю, других запугаю, третьих разобью и в конце-концов поведу их против Франции и таким образом всех привлеку на свою сторону». Бисмарк укротил алчность короля, которого раньше приходилось всякими способами подталкивать к войне, но который теперь угрожал своей отставкой, если ему не будет предоставлено по старо-прусскому образцу проглотить столько земли и людей, сколько в данный момент было в его власти. Как сама Австрия, так и южно-германские государства получили мир на очень мягких условиях. Сохранившиеся сначала в тайне оборонительные и наступательные союзы с ними, которые выговорил за это Бисмарк, представляли для него большую ценность, чем несколько квадратных миль баварской или швабской земли. Что касается бравого Бонапарта, который теперь скромно напомнил о желательных «компенсациях», то Бисмарк обошелся с ним по поговорке: «вор у вора дубинку украл». Он стал с этого времени разыгрывать из себя строгого хранителя германской чести,—не из национальных убеждений, которые попрежнему были чужды ему и его королю, а из правильно понимаемых интересов германской политики. Он, как и раньше, сумел «отсрочить» удовлетворение вождельней Бонапарта к германской территории, но это

было только приманкой, которая должна была заманить лисицу в капкан.

Но на полях сражений в Богемии была разбита не только Австрия, но и либеральная буржуазия. Прежде чем разразилась война, Бисмарк распустил палату депутатов, и новые выборы, состоявшиеся 3-го июля, в тот самый день, когда при Кёниггреце разыгралось решительное сражение, разбили прогрессистское большинство. Господствовавшая до того времени партия и без того раскололась. Ее наибольшая часть, ослепленная военными успехами Бисмарка, выступила как национал-либеральная партия. Эта новая партия похоронила все идеалы свободы, поскольку таковые были у буржуазии, и нашла утешение в удовлетворении своих капиталистических интересов.

В этом отношении Бисмарк довольно далеко пошел ей навстречу, но не выпускал из своих рук политической власти. Так как теперь на глазах заграницы он хотел избежать всякой видимости внутренней борьбы, то он договорился спалатой депутатов, что ему будет дан индемнитет за противоконституционное управление в период конфликта,—притом будет дан в такой форме, которая не столько указывала на неправоту правительства, сколько закрепляла его право. Правительство не давало никакого ручательства, что подобные нарушения конституции не повторятся. Более того: король с наивной откровенностью заявил депутации палаты депутатов, что при повторении подобного случая он стал бы действовать попрежнему. И, хотя Бисмарк не решался бросить под стол козырь всеобщего избирательного права после того, как он достиг своей цели, однако, он, отказавши в diets для депутатов, сделал для масс нации невозможным использование всеобщего избирательного права и вообще позаботился о том, чтобы конституция Северо-Германского союза давала политических прав не больше, а еще меньше, чем прусская конституция.

Но что касается политики капиталистических интересов, в этой области с Бисмарком можно было разговаривать: он совершенно правильно видел, что буржуазия охотно поступится интересами своего политического гос-

подства, если ей будет гарантирован постоянный рост барышей. Это было наиболее действительным средством не только для того, чтобы впрячь северо-германскую буржуазию в триумфальную колесницу правительства, но и для того, чтобы заманить южно-германскую буржуазию в клетку Северо-Германского союза, какой бы тесной ни была она в политическом отношении.

Новая союзная конституция изъяла экономически важнейшие отделы законодательства из компетенции отдельных государств и передала их регулирование союзу: общее гражданское уложение, свобода передвижения, распространяющаяся на всю территорию союза, приобретение прав гражданства, законодательство о промышленности, торговле, таможенных пошлинах, судоходстве, монете, мере и весе, железные дороги, водные пути сообщения, почта и телеграф, патенты, банки, вся иностранная политика, консульства, защита торговли за границей и т. д. Большая часть этих вопросов была решена быстро и, вообще говоря, в либеральном духе. Таким образом исчезли, наконец, самые вредные порождения мелкого государственности, которые преграждали путь, с одной стороны, капиталистическому развитию, а с другой — прусской жажде господства. Осчастливленная лакомыми блюдами, приготовленными для ее барышнической алчности, буржуазия была уверена, что она стоит в преддверии тысячелетнего блаженного царства, и заглушала свою политическую совесть неумеренным прославлением законодательства, которое для Германии, несомненно, исторически представляло шаг вперед, но вообще-то было лишь очень запоздалым и несовершенным подражанием тому, что великая французская революция совершила семьдесятю годами раньше.

Юнкера не без некоторого недоверия относились к «либеральной» политике Бисмарка, но, тем не менее, и в помыслах не намеревались выступить против нее. Более рассудительные из них понимали, что нельзя достигнуть опруссачения Германии без известных уступок капитализму. К тому же, так как хлеб тогда вывозился из Германии, юнкера были фритредерами; да и слишком хорошо они понимали, что политическое господство в конце-кон-

цов остается за их классом. В этом отношении они могли положиться на Бисмарка, и они сами должны были с дьявольской радостью наблюдать, как либеральная партия неумолчно прославляет «героя столетия» в лице такого юнкера до мозга костей, каким был Бисмарк.

В таком упоении восторга были не только национал-либералы,—остатки старой прогрессистской партии тоже сдавали одну позицию за другой. Только один из них, Иоганн Якоби, вместе с небольшой кучкой идеологов в несколько сотен человек, рассеянных по всей Германии, составляли еще решительную оппозицию. Якоби называл революцию сверху делом противозаконного насилия и заявил, что перед лицом врага свободы законные требования народа никогда не умрут. Но и он по существу был формальным политиком, у него не было сколько-нибудь глубокого понимания внутренней связи исторического развития. Какого бы уважения ни заслуживало его мужество, какое бы почтение ни вызывал его характер, его политика была осуждена на бесплодие, пока она ограничивалась тем, что проклинала прусские победы, которые будто бы создали в Германии более тягостное положение, чем даже в дни блаженной или недоброй памяти союзного сейма.

Если таким образом буржуазный класс оказался совершенно несостоятельным, то в дни Северо-Германского союза из рабочего класса выросла новая сила, которая сумела понять историческую необходимость революции сверху и так же сумела уяснить себе, что победить ее может только революция снизу.

5. Лассальянцы и эйзенахцы.

Вследствие внезапной смерти Лассалья Всеобщий Германский Рабочий Союз лишился вождя, под духовной опекой которого он находился до того времени, но несколькими месяцами позже, к новому 1865 году, он приобрел собственный орган «Социал-Демократ», который выходил три раза в неделю и редактировался И. Б. фон-Швейцером, при сотрудничестве Маркса, Энгельса и других старых социалистов, из которых Вильгельм Либкнехт, во

время многолетнего изгнания поддерживавший близкие отношения с Марксом, вступил в состав редакции.

Но уже несколько недель спустя произошел разрыв сотрудников с главным редактором газеты.

Швейцер (1833—1875 г.) не принял наследства Лассаля без всякой критики. Он всегда старался устранить односторонности и слабые стороны, составлявшие большое место в агитации Лассаля. Но он старался также строго приспособлять эту агитацию к прусско-германским условиям. При своем выдающемся умении рассматривать и политику дня с исторической точки зрения он наперед предвидел, что должно произойти. Он отнюдь не отрекался от демократической точки зрения, но с величайшей решительностью заявил, что разрешение германского вопроса в германском смысле возможно лишь при том условии, если сама нация поможет себе посредством революции. Тем не менее, он не скрывал того факта, что Бисмарк с большим успехом работает над созданием единства Германии не как высшей национальной самоцели, а как простого средства для достижения партикуляристско-династических интересов; он резко нападал на германскую политику прогрессистской партии, страдавшую тем недостатком, что она не была ни германской, ни прусской. Она требует единства Германии с Пруссией во главе, не понимая того, что германское единство может создать только революция, прусская же глава способна создать только Великопруссию.

Либкнехт (1827—1900 г.) увидал в этих взглядах Швейцера непозволительное кокетничанье с прусской реакцией, Маркс и Энгельс присоединились к нему. Никогда не замиравшее в них подозрительное отношение к прусским тенденциям Лассаля пробудилось снова; оно возрастало отчасти благодаря тому, что Швейцер описывал силу прусского государства в выражениях, которые легко было принять за прославление пруссачества, отчасти же благодаря тому, что графине Гацфельдт пришла в голову фантазия, будто Лассаль заключил «формальный союз» с Бисмарком, и будто Швейцеру было об этом известно. Маркс и Энгельс уже в половине февраля 1865 года в публичном заявлении отреклись от газеты, а за ними по-

следовали с Либкнехтом почти все демократы и социалисты, которые раньше согласились быть сотрудниками.

Однако, Швейцер не погорял мужества и продолжал агитацию, пока в ноябре 1865 года правительство, пользуясь покладистыми судьями, не засадило его на 16 месяцев в тюрьму. Это было время, когда стало делаться ясным, что борьба между Габсбургами и Гогенцоллернами решится остреем меча. В наступившей смуте Всеобщий Германский Рабочий Союз подошел к краю пропасти. Всеобщее избирательное право в первое время тоже не было водой на его мельницу. При выборах в учредительный рейхстаг Северо-Германского союза, состоявшихся в феврале 1867 года, он получил почтенное количество голосов,— 40.000,—но не получил ни одного мандата. Однако, союз скоро оправился от этого тяжелого разочарования и в мае того же года передал руководство Швейцеру, который получил диктаторские полномочия и при самых тяжелых условиях неизменно оказывался наиболее способным человеком в рабочем движении. Сам Швейцер был слишком умен для того, чтобы предаваться иллюзии, будто пролетарское массовое движение может долго подчиняться диктатуре отдельного лица; но члены союза, и как-раз наиболее старые и стойкие из их числа, были достаточно дальновидны и потому поняли, что при тогдашних условиях, критических в самых разнообразных отношениях, диктатура была все еще необходима и полезна.

И, действительно, сначала она повела к непрерывному ряду успехов, к числу каковых относился и тот, что уже осенью 1867 года Швейцер был послан эльберфельдскими рабочими в первый обычный рейхстаг Северо-Германского союза. Здесь он опять столкнулся с Либкнехтом по национальному, а кроме того и по парламентскому вопросу. В 1865 году Либкнехт был выслан из Берлина и переселился в Лейпциг, где он познакомился с Августом Бебелем. Бебель (1840—1913 г.), подмастерье-токарь, с самого начала принимал участие в лейпцигском рабочем движении, в первое время в просветительном обществе рабочих, а потом в союзе германских рабочих обществ, созданном прогрессистской партией в противовес Всеобщему

Германскому Рабочему Союзу Лассалья. Уже в октябре 1864 года Бебель вошел в руководящий комитет этого союза. В постоянной горячей борьбе с лассальянцами он пришел к более глубокому пониманию социализма. Он сделался той силой, которая толкала очень слабо связанный союз к превращению в сильную и самостоятельную рабочую организацию; в 1868 году на нюрнбергском съезде эта организация порвала последнюю связь со своими прогрессистскими покровителями и выступила, как орган пролетарской классовой борьбы. Большая часть обществ, высказавшихся в этом смысле, была преимущественно из королевств Саксонии и Вюртемберга, меньшинство же, вышедшее из состава союза и затем исчезнувшее с арены общественной жизни, рекрутировалось преимущественно в Северной Германии.

Происхождением обществ, одержавших в Нюрнберге победу, объясняется, почему враждебное отношение к гегемони Пруссии было в них так сильно. В Саксонии после прусских побед 1866 года при самом деятельном соучастии Бебеля и Либкнехта образовалась саксонская народная партия, которая в своих политических и социальных требованиях шла настолько далеко, как только было возможно с точки зрения буржуазной демократии, но которая во главу своей программы поставила непримиримую ненависть к Северо-Германскому союзу. Но если в этой партии уже сказывался пролетарско-революционный дух, то германская народная партия в Вюртемберге, несмотря на свое гордо звучащее имя, была, напротив, ограничено буржуазной оппортунистической партией, которая сплывалась единственно своим слепым пруссофобством, игравшим на-руку только врагу.

В качестве представителя саксонской народной партии Либкнехт одновременно с Швейцером попал в северо-германский рейхстаг, в который Бебель входил уже с первой сессии. Либкнехт воспользовался первым же благоприятным случаем для того, чтобы заявить, что история перешагнет через созданный насилием Северо-Германский союз, знаменующий просто раздел, ослабление и порабощение Германии, что она перешагнет через северо-германский рейхс-

таг, представляющий просто фиговый листок абсолютизма. На это Швейцер ответил, что хотя он согласен с Либкнехтом в оппозиции внутреннему состоянию Северо-Германского союза, но не согласен с ним в стремлении разрушить этот союз. И на этот раз Швейцер сделал промах в форме, заявив, что он не будет порочить тех свойств Пруссии, которые в 1866 году получили признание со стороны изумленного враждебного мира. Но не в меньшее преувеличение впал и Либкнехт, когда он сказал, что, кто признает дело, созданное политикой крови и железа, тот широкой, непроходимой пропастью отделяется от социал-демократии. Швейцер не закрывал глаз на реакционный характер политики крови и железа. Он неустанно внушал рабочим, что борьба за свободу теперь более необходима, чем когда-либо раньше. Он говорил только одно: что рабочему классу приходится считаться с опусканием Германии, как с историческим фактом, которого уже нельзя аннулировать, раз оказалось, что у буржуазии нет воли, а у пролетариата нет силы, необходимой для революционного противодействия.

Другим предметом спора между Либкнехтом и Швейцером послужил вопрос, какое значение для рабочего класса имеет парламентская деятельность. Либкнехт отрицал за ней всякое значение. Участие в парламентской работе предполагает признание Северо-Германского союза и вообще бесполезно и бесцельно. Напротив, Швейцер хотел отстаивать интересы рабочего класса и в северо-германском рейхстаге, особенно когда дело касалось вопросов экономического законодательства, в которых этот парламент, вообще очень бессильный, мог сказать веское слово: ведь, устранение феодально-цехового хлама, все еще покрывавшего германскую землю, было той ценой, за которую буржуазия отказалась от своих притязаний на политическое господство. Швейцер внес в северо-германский рейхстаг первый законопроект об охране рабочих и принимал живое участие в обсуждении нового промышленного устава; впрочем, так действовал и Бебель, для которого борьба против существования Северо-Германского союза все более отступала на задний план перед практическими потребностями пролетарской освободительной борьбы. Не-

сомненно, что эту парламентскую деятельность одобрял и Маркс, признававший теперь «энергию и разумность», с какою Швейцер действовал в рабочем движении.

К этим спорным вопросам парламентаризма примыкает, если не непрерывная, то все же опять и опять возобновлявшаяся газетная борьба, начавшаяся с того времени, как в Лейпциге с нового года стал выходить «Демократический Еженедельник» («Demokratisches Wochenblatt»), являвшийся органом как саксонской народной партии, так и нюрнбергских союзов. В своей политической части, редактируемой Либкнехтом, он все еще имел своей главной целью борьбу против Северо-Германского союза, на которой он хотел объединить все демократические элементы Германии. Чисто пролетарский характер «Еженедельник» имел в сущности только в том отделе, в котором Бебель останавливался на делах рабочих союзов. Либкнехт считал Швейцера агентом Бисмарка, а в диктатуре Швейцера видел главное препятствие объединению германских рабочих, между тем как для Швейцера непреодолимым камнем преткновения являлось соединение нюрнбергских союзов с такой мнимой организацией, какой была германская народная партия, переполненная буржуазными элементами. Правда, он высказывался за то, чтобы оба направления дружески шли рука об руку; но если бы потребовалось что-либо большее, то, по его мнению, нюрнбергские союзы должны были просто войти во Всеобщий Германский Рабочий Союз, представляющий социал-демократическую организацию, характеризующуюся принципиальной выдержанностью и ясностью.

Если быстрый расцвет Союза Швейцер считал последствием своей диктатуры, то он был не совсем неправ. Но двойственный характер диктатуры в рабочей организации обнаружился уже в то время, когда сильное стачечное движение и предстоящая отмена воспрещения коалиций заставили Швейцера осенью 1868 года внести в рабочую программу вопрос о профессиональных союзах, который совершенно игнорировался Лассалем. Здесь он натолкнулся на сильное сопротивление внутри собственного Союза и сумел сломить его только угрозой отставки. По существу он был прав и в этом случае, но совершил ту ошибку,

что, приступив к организации профессиональных союзов, включил их в строго централизованную организацию политического Союза.

Этой ошибки избежали Либкнехт и Бебель, которые тогда же принялись за основание профессиональных союзов. Однако, и нюрнбергские союзы несут некоторую долю вины за печальную раздробленность профессионального движения, так как они по несостоятельным соображениям отказались прислать своих представителей на всеобщий рабочий конгресс, созванный Швейцером для устройства профессиональных союзов. Конфликт принимал все более острые формы. Подвергаясь постоянным,—хотя так и оставшимся недоказанными,—обвинениям, будто он—агент правительства, Швейцер не хотел отказаться от диктатуры даже после того, как усилившееся классовое сознание его сторонников стало показывать, что диктатура отжила свое время. Средство превратилось для него в цель, и ничтожное само по себе ограничение его полномочий заставило его для их восстановления усилить в Союзе отвратительный внутренний переворот. Правда, за ним все еще оставалось подавляющее большинство в Союзе; но меньшинство, состоящее из наиболее способных элементов, отделилось и в 1869 году вместе с нюрнбергским союзом основало в Эйзенахе самостоятельную социал-демократическую партию.

Торжество противников по случаю разделения рабочего движения на лассальянцев и эйзенахцев, как обыкновенно назывались эти две фракции, было большое, но преждевременное. Хотя конфликт носил как-будто личный характер, однако, его корни лежали не в лицах,—но они лежали и не только в принципиальных различиях мнений. Действительной его основой был национальный вопрос: многовековая раздробленность Германии, влияния которой пролетариат не мог преодолеть одним разом; временный характер того положения вещей, которое существовало в Северо-Германском союзе; большие различия в уровне развития рабочего класса в различных областях Германии. Прошел год,—и глубочайшая причина раздора между братскими партиями была устранена.

6. Император и империя.

С того времени, как Бонапарт задержал на полпути революцию сверху, и с того времени, как был создан Северо-Германский союз, сложилось явно неустойчивое положение; затаенная, но жестокая война не прекращалась между Бисмарком и его парижским прообразом.

В первое время она велась дипломатическим оружием, и не Бонапарт старался обострить ее в войну, которая решает жребием из железа. Он знал, что после первого же потерянного сражения его трон навсегда рухнет, но трудности его внутреннего положения гнали его вперед. Чтобы устранить их, он должен был добиться какого-нибудь успеха в области иностранной политики и таким способом восстановить свой престиж, тяжело пострадавший благодаря успехам прусского оружия в 1866 году. Он вступил в бесконечные переговоры с Данией, Италией и Австрией, чтобы создать подавляющую наступательную коалицию против Северо-Германского союза. Он предпочел бы чисто дипломатическим путем добиться каких-нибудь «компенсаций» землей и людьми, но на это не мог и не хотел пойти Бисмарк.

Война с Бонапартом была для него очень кстати, как наиболее удобное и хорошее средство для того, чтобы опруссачить теперь и южную Германию. Он показывал вид, будто его одушевляет глубочайшее миролюбие, и когда Баден захотел добровольно вступить в Северо-Германский союз, он отклонил это предложение на том основании, что это повело бы к войне с Францией. Но его пугал не вообще повод к войне, как таковой, а только этот повод, потому что дело было бы здесь слишком чистое и популярное: если бы из-за него Бонапарт объявил войну и вмешался в чисто германские дела, это до крайней степени воспламенило бы национальные страсти в Германии, что отнюдь не лежало в интересах прусского юнкерства. Бисмарк хотел только династической и контрреволюционной войны с Францией. Так как он был дипло-

матом старой школы, то и ловушку для своего старого друга на Сене он смастерил из обломков давным-давно изжитой кабинетской политики.

Втайне он готовил кандидатуру одного принца из боковой линии Гогенцоллернов на испанский престол, освободившийся в 1868 году, благодаря революции. Если бы противник оставил его в покое, то последствия этой дипломатической интриги оказались бы для германских интересов более роковыми, чем для французских. Но Бонапарт влопался в грубо подстроенную ловушку и объявил войну на том основании, будто кандидатура гогенцоллернского принца на испанский трон является оскорблением французской чести. Как человек, более искусный в черной магии, Бисмарк сумел придать объявлению войны Бонапартом такой оборот, что оно принимало вид неожиданного злодейского нападения; в этом помогла ему та ловкость рук, с какою он превратил смысл эмской депеши в его прямую противоположность, та изумительная наглость, с какою он отрицал свое участие в кандидатуре принца Гогенцоллерна, и т. д.

В то время, как буржуазия, опьянев от восторга, по ту и по сю сторону Рейна шла за своим Бонапартом, рабочий класс и по ту и по сю сторону Рейна уяснил себе династический характер войны. Но принципиальный протест против войны, выраженный германскими и французскими рабочими в адресах и собраниях, не мог остановить неумолимого хода вещей и не мог даже устранить практического вопроса, чья победа имела бы более роковое значение для культурных интересов Европы. Победа Наполеона знаменовала бы не только поражение французского рабочего движения, но и преобладание бонапартизма в Европе и окончательное раздробление Германии. Таким-то образом, при всем принципиальном осуждении династических войн, рабочий класс Германии фактически делал ту оговорку, будто на этот раз нарушителем мира является Бонапарт, и будто Германии приходится принять оборонительную войну, как неизбежное зло, если только нападающий не будет своевременно устранен французской нацией.

При такой точке зрения война сделалась популярной. Из-за всех дипломатических маневров массы увидели только необходимость предохранить национальное существование Германии от всякого вмешательства заграницы, а Бисмарк, в свою очередь, старался представить войну чисто оборонительной войной, войной против французского правительства, а не против французского народа. Правда, Бебель и Либкнехт не позволили провести себя и, когда в северо-германском рейхстаге обсуждался военный заем, воздержались от голосования. Но они вызвали таким образом действий решительные возражения даже в эйзенахской фракции: находившийся в Брауншвейге руководящий комитет последней соглашался с лассальянцами в том отношении, что, по его мнению, рабочий класс Германии тоже должен поддерживать эту войну, пока она остается оборонительной войной против бонапартистских нападений.

Благодаря предательской политике господствующих классов, эти новые распри в молодом рабочем движении быстро закончились. Едва битва при Седане низвергла французскую империю и таким образом создала возможность мирного соглашения между двумя величайшими культурными народами европейского континента, как Бисмарк через буржуазию выдвинул требование аннексии Эльзас-Лотарингии и тем самым превратил войну в незамаскированно завоевательную войну. Против этого немедленно выступили обе социал-демократические фракции, и брауншвейгский комитет эйзенахцев издал манифест, в котором он призывал германских рабочих устраивать массовые собрания для внушительных манифестаций против аннексии Эльзас-Лотарингии и за почетный мир с французской республикой. В ответ на это генерал Фогель фон-Фалькенштейн, назначенный во время войны губернатором северо-германского побережья, арестовал членов комитета «по подозрению в измене» и в цепях отправил их в Лёцен близ русской границы. Кроме них, ряд других членов партии подвергся таким же отрицающим всякое право турецким расправам, встретившим восторженное отношение буржуазии; слабые возражения со стороны последней

начались лишь с того времени, когда жертвой Фалькенштейна сделался и Иоганн Якоби, протестовавший в одном народном собрании в Кёнигсберге против аннексии Эльзас-Лотарингии.

Германская завоевательная война вызвала упорное и стойкое сопротивление французской нации, и только после полугодичной борьбы, стоившей обоим народам неисчислимых жертв, 26-го февраля 1871 года в Версале был заключен прелиминарный мирный договор, по которому Франция взяла на себя обязательство уступить Эльзас-Лотарингию и уплатить пять миллиардов франков в возмещение военных издержек.

За это время германские правительства состряпали германское единство так плохо, как только могли. Разыгралась отвратительная свалка династических интересов, которая представляется теперь тем противнее, чем больше разоблачений сделано за прошедшие с того времени сорок лет. В основу новой империалистской конституции была положена, притом сильно ухудшенная, конституция Северо-Германского Союза, которая не обеспечивала народу даже таких прав, как прусская конституция, и с которой, по словам Микеля, одного из самых верных патриотов, можно было мириться, лишь как «с временной одеждой для недолговечного военного государства северной Германии». Ни одно из правительств не помышляло о расширении народных прав хотя бы на волосок; не думали об этом и южно-германские династии, из которых баварская задавалась исключительно узкими партикуляристско-реакционными целями и в значительной мере сумела отстоять их во вред германскому единству. Народным массам, проливавшим потоки своей крови, государю после переговоров между собою бросили только феодально-романтические названия: император и империя. Да и это сопровождалось различными траги-комическими эпизодами. Прусский король, честно заявивший, что он хочет только «расширенной Пруссии», долго топорщился против императорского титула; баварского же короля, наведя на его грудь пистолет, заставили подписать составленное Бисмарком письмо, в котором он предлагал прусскому королю императорскую корону.

Соглашения, состоявшиеся между государями, затем были внесены,—тоже с пистолетом, наведенным на грудь,— в северо-германский рейхстаг и южно-германские палаты: принять или отклонить! Если здесь будет изменена хотя бы только одна запятая, германское единство отодвинется в неопределенную даль. Баварская палата еще оказала некоторое, правда, чисто партикуляристское сопротивление; что касается северо-германского рейхстага, здесь буржуазные партии большинства подчинились почти без всякого возражения. Они превосходно знали, что создают не царство свободы, а царство буржуазии, но они опять пожертвовали своими политическими идеалами материальным интересам своего класса и с дикими воплями накинулись на Бебеля и Либкнехта, которые, как представители социал-демократической оппозиции, с мужественной решительностью защищали неотчуждаемые права народа. По окончании сессии рейхстага в декабре 1870 года они были арестованы по обвинению в подготовке государственной измены.

Выборы в первый германский рейхстаг происходили 3-го марта 1871 года под свежим впечатлением только что заключенного мира. Это был самый неблагоприятный момент для социал-демократических фракций; тем не менее, они получили 100.000 голосов: лассальянцы несколько более 60.000, эйзенахцы несколько менее 40.000. Но из их кандидатов был избран только Бебель. Либкнехт и Швейцер не прошли в рейхстаг, и Швейцер, диктатура которого все больше отживала свое время, вообще вышел из германского рабочего движения.

Господствующие классы с великим шумом возвещали, что военные бури смели с лица земли и докучливый рабочий вопрос, но революционная Парижская Коммуна разом опровергла эти пророчества. Во всех германских странах, где только был сознательный пролетарский класс, громкие выражения восторга были его ответом на мужественное восстание парижских братьев. Ни у лассальянцев, ни у эйзенахцев не было никаких колебаний. В многочисленных массовых собраниях они заявили о своей солидарности с социальной революцией в Париже, и газеты обоих направлений с одинаковым презрением высмеи-

вали «наивное бесстыдство» некоторых буржуазных газет, которые требовали от германской социал-демократии, чтобы она отреклась от Парижской Коммуны. Точно так же Бебель и в рейхстаге выступил в защиту Коммуны, как дела всего европейского пролетариата.

Впоследствии Бисмарк признавался, что эта речь Бебеля была тем «лучом», который просветил его относительно сущности социал-демократического движения. С этого времени он изыскивал средства для борьбы с ним и его подавления, как врага, по отношению к которому общество и государство находятся в состоянии необходимой самообороны. Это признание тем больше заслуживает доверия, что оно дает очень нелестное свидетельство о политической дальновидности Бисмарка. Действительно, теперь началась его борьба против социал-демократии; сначала она сводилась к отдельным выпадам и ударам, затем, приобретая все более отчаянный характер, превратилась в борьбу за собственное существование, пока, наконец, не наступил его бесславный крах.

Источники. Л а с с а л ь, „Собрание сочинений“. E n g e l s, „Gewalt und Oekonomie bei der Herstellung des Deutschen Reiches“, „Neue Zeit“, 141, 676 f. М а р к с, „Гражданская война во Франции“; здесь же адреса Интернациональной Ассоциации рабочих о войне.

ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ.

Германская социал-демократия.

1. Грюндерская горячка и культуркампф.

Революция сверху была обеспечена союзом между прусским военным государством и германской буржуазией; эти две силы вели завоевательную войну против Франции,—и они же поделили между собою добычу.

Главное соображение, которым оправдывалась аннексия Эльзас-Лотарингии,—именно, что Германия предохраняется таким образом от завоевательных вождедений со стороны Франции,—как и следовало ожидать, немедленно оказалось полной бессмыслицей. Мольтке, наиболее прославленная военная знаменитость новой империи, дал прямо противоположный пароль: «То, что мы в полгода завоевали силой оружия, мы должны будем полвека защищать силой оружия, чтобы у нас этого не отняли обратно». Militarизм вырос до размеров, которые и самым мрачным пессимистам шестидесятых годов показались бы невероятными.

Но буржуазия охотно с этим мирилась, так как германская армия ударами прикладов широко открывала для нее ворота мирового рынка. Правда, дождь миллиардов в своей подавляющей части достался главным образом военному государству: для того, чтобы расплатиться с долгами, на выдачу пожалований и пенсий, на постройку крепостей и казарм, на обновление запасов оружия и

военного снаряжения. Тем не менее, огромное увеличение свободного капитала и находящегося в обращении количества денег вызвало сильный подъем молодой крупной промышленности. Концентрация капитала распространилась на все отрасли промышленной жизни. В годы 1871—1873 акционерный капитал увеличился более чем на 1200 миллионов талеров,—почти на всю сумму французского военного вознаграждения. Банковские учреждения и промышленные общества в самом пестром разнообразии вырастали, как грибы после дождя. Основывались многочисленные горные и железные заводы, массами проектировались железные дороги. В этом диком шабаше спекуляции буржуазия утратила последние следы своей политической линии.

Она пресмыкалась перед «величайшим человеком столетия», который дал ей все это золотое великолепие. Что касается Бисмарка, он пренебрежительно относился ко всем выражениям энтузиазма, считая излишним отвечать на них. Как и раньше, он железной рукой подавлял все политические притязания буржуазии. Когда один из ее ораторов в рейхстаге дерзнул пробормотать несколько робких слов о «правах народа», Бисмарк грубо прикрикнул на него, как на надоедливого нищего. Но в экономической области он оставил за буржуазией свободную арену, а устранение помех, стоявших на пути капиталистического развития, продолжалось в первые годы и в новой империи. Правой рукой Бисмарка в экономических делах оставался министр Дельбрюк, который открыл тайну времени в том, чтобы не упускать никаких процентов, и который благословил всякое капиталистическое шарлатанство, пустив крылатое слово, что никакое законодательство не должно мешать дуракам терять свои деньги.

Среди буржуазных классов серьезную оппозицию Бисмарку оказывали только партикуляристские элементы империи, которые сплотились в большую парламентскую партию. Германское оружие косвенно ниспровергло светскую власть папы и тем самым мобилизовало все боевые силы католицизма. В первом же германском рейхстаге выступила католическая фракция под именем центра. В пер-

вое время у нее не было враждебных умыслов против Бисмарка, который до сих пор был испытанным другом иезуитов. Но по самой природе вещей новая фракция превратилась в пункт, вокруг которого стали собираться все партикуляристские элементы. Наиболее сильная антипатия против пруссачества всегда наблюдалась в католических областях Германии, на Рейне, в Силезии, в Баварии. Здесь же следует упомянуть о католиках-поляках, а для несколько позднейшего времени—и о католиках-эльзасцах. Партикуляристский характер центра в первое время имел такой решительный перевес над его религиозным характером, что к нему примкнули и ортодоксальные протестанты из Ганновера, стремившиеся к восстановлению своего прежнего королевства.

Таким образом под общим клерикальным знаменем объединилось все, что по соображениям партикуляристского свойства шло против новой империи,—объединилась масса политически и социально разнороднейших элементов, которые расходились между собою по разнообразнейшим направлениям: от воззрений мелко-крестьянской и мелко-буржуазной демократии до воззрений феодальной романтики и самой заскорузлой цеховщины. Программа новой партии, опубликованная в 1871 году, прежде всего подчеркивала партикуляристскую точку зрения,—самостоятельность и самоопределение отдельных государств,—и лишь во вторую очередь религиозную точку зрения: защиту религиозных корпораций от вторжения светского законодательства. В соответствии с этим, вождем такой пестрой мешанины был избран не какой-либо церковный светоч, а бывший ганноверский министр Виндгорст, подобно Бисмарку дипломат старой школы; однако, он по справедливости мог бы похвалиться тем, что он выступил раньше.

Эта оппозиция не имела бы особенного значения, если бы новая империя управлялась не палкой прусского капрала, а как современное культурное государство. Тогда эта оппозиция в очень непродолжительном времени разложилась бы на составлявшие ее разнородные и, в общем, исторически отсталые элементы. Однако, то, чего

до известной степени сумел достигнуть Бисмарк после 1866 года, он не достиг после 1870 года: у него не хватило искусства использовать сложившееся положение. Фимиамы, которые в неисчислимом количестве воскурялись его несравненному гению, заволокли туманом все, что лежало за пределами его старого юнкерского горизонта. С старо-прусскою капральскою палкой он обрушивался на всех, кто не хотел плясать под его дудку. Кто не хотел почтительно сообразоваться с его нервами и капризами, тот объявлялся «врагом государства» и подвергался остракизму.

В таком ослеплении Бисмарк совершенно пропустил представляющуюся возможность парализовать оппозицию центра. Он хотел справиться с нею не посредством современного законодательства, а насильственными мерами, проводившимися в старо-прусском полицейском духе, да и тут еще видимость, внешность принял за существо и вступил в конфликт с католической церковью, как таковою. Преследуя ее всевозможными исключительными законами и ненавистными вторжениями в ее внутреннюю жизнь, он восстановил против себя все католическое население империи. Вместо того, чтобы вести борьбу оружием буржуазной свободы, он сам вложил это оружие в руки центра и таким образом сделал его непобедимым для своего реакционного государственного искусства, хотя хвастливо кичился тем, что никогда не пойдет в Каноссу.

Либеральная буржуазия оказалась еще глупее, чем даже сам Бисмарк: она и в данном случае просто тащи́лась за своим чтимым героем, хотя она не могла бы сослаться в свою пользу на то смягчающее вину обстоятельство, что она выросла в феодальных воззрениях. Даже либеральный ученый с такой мировой репутацией, как Вирхов, не счел ниже своего достоинства окрестить эту историческую сатиру почетным именем культуркампфа (борьба за культуру). Для банды прожженных грюндеров, совершавшей свой шабаш в национал-либеральной партии, «культуркампф» служил только кулисой, которая давала возможность с большим удобством производить разграбление масс. Можно было с несомненной уве-

ренностью сказать, что если кто-нибудь с величайшими громами обрушивался «на Рим» и напыщенное всего зывал к тени бедного Ульриха Гуттена, тот больше всего имел за собою грюндерской грязи.

Таким образом Бисмарк и либеральная буржуазия даром потеряли первые годы новой империи. Они с несравненной близорукостью упустили небывало благоприятное для них положение, и уже ближайшие выборы в рейхстаг, состоявшиеся в январе 1874 года, принесли для них заслуженную расплату. Если оставить в стороне полмиллиона прогрессистских голосов, которые по оценке Бисмарка разделились пополам между «дружественными» и «враждебными» империи, то эти выборы на 2.339.936 голосов, безусловно «враждебных империи», дали всего только 2.408.549 безусловно «дружественных империи». Следовательно, у «друзей империи» оставался скромный перевес всего в 68.613 голосов,—да и это лишь при том благожелательном, но едва ли правильном предположении, что все «дружественные империи» голоса были поданы по искреннему убеждению.

2. Объединение рабочей партии.

Те же выборы 1874 года доставили большие успехи обеим социал-демократическим фракциям и дали решительный толчок их объединению, которое медленно подготавлилось с 1871 года.

С одной стороны, раздор, вызванный национальным вопросом, улегся после заключения мира с Францией, с другой стороны, само историческое развитие толкало враждующих братьев в одну и ту же боевую линию. Новогерманская империя с самого начала оказалась для пролетариата злой мачехой. У ее официальных властей не было настолько политического приличия и такта, чтобы прекратить злосчастные преследования, начатые во время войны против эйсенахской фракции. Члены брауншвейгского комитета еще довольно дешево отделались от ученых судей. Но лейпцигские присяжные под самыми жал-

кими предложениями осудили Бебеля и Либкнехта на два года заключения в крепости. Правда, последствием такой незамаскированно тенденциозной юстиции было нечто совершенно иное, чем рассчитывали инициаторы дела: прения на лейпцигском процессе послужили широкой пропаганде дела социал-демократии.

Даже благословение миллиардов послужило для пролетариата проклятием. Оно удешевило деньги и удорожило необходимые средства существования рабочего класса. Чтобы сохранить реальную заработную плату на прежнем уровне, он должен был повышать свою денежную заработную плату. Так возникло сильное стачечное движение, которое, как бы справедливы ни были его основания, натолкнулось на озлобленное сопротивление буржуазных рабочелюбцев, не говоря уже о правительствах, и которое не могло воспрепятствовать значительному ухудшению жизненного положения массы рабочих.

С таким же озлоблением старались буржуазные партии искоренить зародыши профессионального движения, возникшие из этих стачек. Конечно, они еще не соглашались провести уголовные наказания за нарушения договора найма,—меру, которой уже в 1873 году требовал от рейхстага Бисмарк, стремившийся к уничтожению только что предоставленной свободы коалиций; но они, колеблясь, делали все зависящее от них для того, чтобы воспрепятствовать всем попыткам рабочих создать профессиональную организацию. Буржуазная пресса кричала о всякой стачке и всяком профессиональном союзе как о «социал-демократических махинациях», как о результате искусственного подстрекательства бессовестными демагогами. Но социал-демократическим фракциям и во сне не приходило в голову провоцировать стачки. Напротив, они неустанно внушали рабочим, что сначала следует создать хорошую организацию и лишь после того можно будет прибегнуть к обоюдоострому оружию стачки. Разумеется, и в этом случае, как всегда, ложь буржуазии обращалась против самой буржуазии. Она внедряла в рабочие массы сознание, что только в социал-демократии они всегда найдут надежного друга.

Не менее сильный толчок получило рабочее движение в политической области. Старо-прусская правительственная система, неизменно сохранявшаяся в ново-германском обществе, очень быстро положила конец тому энтузиазму и воодушевлению, с какими относились к императору и к империи. Военное и налоговое бремя не уменьшалось, и оно вдвойне устрашающим образом действовало повсюду в Германии, где еще не привыкли к ежовым рукавицам. Кроме солдатчины и платежа налогов, сохранилось в прежнем почете зажимание рта. Бисмарк требовал от рейхстага внесения в закон о печати новых растяжимых параграфов, которые назначали тяжелые наказания за нападки на семью, собственность, всеобщую воинскую повинность. Как закон о нарушении договора найма в экономической области, так этот параграф в политической области был первым исключительным законом Бисмарка против социал-демократии; однако пока что эти меры шли слишком далеко даже для буржуазного большинства рейхстага.

На выборах 1874 года обе социал-демократические фракции получили в общей сложности 351.670 голосов, которые довольно равномерно распределялись между ними. Если бы они с самого начала выступали сообща, то, может-быть, получили бы несколькими мандатами больше. Тем не менее было лучше, что они раздельно пошли в избирательный бой. То обстоятельство, что они получили почти равное количество голосов, произвело охлаждающее действие на разгоряченное настроение обеих фракций. Лассальянцы увидели, что эйзенахцы—вовсе не придаток буржуазной демократии, а эйзенахцы увидели, что дружба лассальянцев с правительством относится к области вымыслов. Личное соприкосновение в рейхстаге тоже содействовало смягчению еще сохранявшейся враждебности, тем более что обе фракции были со всех сторон окружены врагами; буржуазные партии с высокомерным издевательством относились к ним, как к гостям, которые должны вести себя чинно, если они хотят, чтобы их терпели. Бисмарк, в свою очередь, немедленно выступил с обоими исключительными законами, с которыми он провалился

в прошлом рейхстаге,—и вначале провалился и в этом рейхстаге. Во всех случаях социал-демократические депутаты голосовали одинаково, и вообще между ними было только одно различие, о котором стоит упомянуть: в организационном вопросе. Эйзенахцы находили, что организация у лассальянцев слишком строгая, лассальянцы— что организация у эйзенахцев слишком слабая.

Но здесь Бисмарк сломал последнюю перегородку, которая еще разделяла два течения германского рабочего движения. Он призвал в Берлин прокурора Тессендорфа с той целью, чтобы уничтожить социал-демократические фракции процессами на основании растяжимых параграфов уголовного уложения, и этот продажный карьерист сделал все лежащее в человеческих силах, чтобы выполнить данное ему грязное поручение. Но так как дело у него не шло, то он напал на блестящую мысль,—разрушить социал-демократическую организацию: при своей глубоко бюрократической ограниченности он воображал, что герцогом делает только мантия. С помощью послушных судов ему очень скоро удалось разрушить организации как лассальянцев, так и эйзенахцев, хотя все эти меры стояли в вопиющем противоречии даже с прусским законом о союзах. Миновали те времена, когда реакция еще считалась хотя бы с смыслом и текстом своих собственных законов. Она быстро отказалась от этой роскоши, как только рабочее движение стало перерастать ее силы. И если объединения социал-демократических фракций и вообще пришлось бы ждать недолго, то оно замечательно ускорялось гениальной тактикой Бисмарка и Тессендорфа.

Оно совершилось на съезде в Готе, заседавшем с 22-го до 27-го мая 1875 года. Во всех существенных вопросах, соприкасающихся с современным рабочим вопросом, обнаружилось достаточное единодушие, распространявшееся и на те пункты, в которых и лассальянцы и эйзенахцы еще не возвысились до научного понимания. Несмотря на опасения, которые в этом отношении питал Маркс, ни одна из обеих сторон не принесла делу объединения каких-либо интеллектуальных или принципиальных жертв, и таким образом оно оказалось прочным.

3. Реакционный поворот.

В то же время среди буржуазных партий наметился реакционный поворот. Великий крах, отбросивший первую тень уже на выборы в рейхстаг 1874 года, принял колоссальные размеры. После кратковременного опьянения новая империя в страшных муках похмелья поняла, что это значит,—в качестве равносильной державы конкурировать на мировом рынке.

Крупная промышленность, благодаря бессмысленному перепроизводству в годы грюндерства, испытывала тяжелый кризис сбыта; она требовала охранительных пошлин, чтобы обеспечить на внутреннем рынке высокие цены и тем вернее справиться с иностранными конкурентами, продавая товары за бесценок. Соотечественники должны были подвергаться кровопусканию, чтобы можно было дешевле сбывать избыточные продукты другим нациям. Но в то же время и крупные землевладельцы, которые до того времени были пламенными фритрэдерами, начали требовать охранительных пошлин, потому что земельная рента начала понижаться вследствие переполнения германского рынка мясом и хлебом; оно было в свою очередь результатом развития средств сношений, для которого капитализм создавал тепличную обстановку. Бисмарк был и крупным землевладельцем, и крупным промышленником и потому питал глубокое сострадание к раздирающей сердце нужде обоих классов. Но, как у великого государственного человека, у него были еще и свои особенные заботы. Пять миллиардов военного вознаграждения были промотаны самым легкомысленным образом, и финансовая нужда угрожающе стучалась в ворота новой славной империи. Правительство должно было изыскать новые источники налогов,—такие источники, которые давали бы больше средств, и которых в то же время рейхстаг не мог бы приостановить по своему усмотрению. К этой цели вели косвенные налоги на предметы потребления масс, таможенные пошлины финансового значения, национализация крупных отраслей промышленности и путей сообщения.

Таким образом Бисмарк пришел к реакционной финансовой, налоговой и таможенной политике. Но его злоключение заключалось в том, что эту политику сначала нельзя было проводить с реакционными партиями. Правда, вновь подтверждая старую поговорку,—«милые бранятся, только тешатся»,—он быстро сошелся с юнкерами, которые из-за его капиталистической экономической политики начали было против него злобно-клеветнический поход. Но с центром, который вообще пошел бы навстречу, он из-за пресловутого культуркампа все еще не мог сблизиться. Ни центр не мог разом дать прощение этому «Диоклециану, гонителю христиан», как он называл Бисмарка, ни Бисмарк не мог просто пойти в Каноссу, от чего он наперед так хвастливо отказывался. В свое время эти хорошие люди должны были сойтись, но пока что у Бисмарка были все основания сделать опыт: не согласятся ли либералы, пожертвовавшие ему своими политическими идеалами, вступить в торг и о своих материальных интересах.

Несомненно, либеральная буржуазия находилась в очень тяжелом положении. Крупная промышленность отвортилась от нее; мелкобуржуазная свита, которая под тяжелыми ударами краха начала обращаться к антисемитизму, к этому «социализму дураков», ускользала из-под ее влияния, а только что прозревшие юнкера с особенным негодованием обрушивались на закоснелых грешников. При таких обстоятельствах было вообще отчаянно трудной задачей высоко держать знамя капиталистической свободы,—сказка о тысячелетнем блаженном царстве свободной торговли, в виду многочисленных развалин, оставленных периодом ажиотажа, была в конец убита и уничтожена. Судорожные усилия фритредерской буржуазии отрицать великую катастрофу и представлять дело таким образом, будто бы позорнейшие спекуляции были «самыми чистыми делами», менее всего могли восстановить ее упавший престиж.

Тем не менее, ее игра еще далеко не была проиграна. По сравнению с реакционной экономической политикой Бисмарка она все же представляла исторический прогресс

и постольку могла бы рассчитывать на поддержку рабочего класса, который дал бы ей куда более прочную опору, чем мятущаяся мелкая буржуазия. Ей не зачем было при этом делать какие-либо уступки «социалистическим утопиям»; ей не пришлось бы даже вступать в тактическое соглашение с рабочим классом, который ради себя самого, а не ради прекрасных глаз буржуазии выступал против реакционных планов ограбления масс. Требовалось только одно,—чтобы она из слепой ненависти к социалистам не лишила самой себя единственной возможности оказать победоносное сопротивление реакционному повороту Бисмарка.

Конечно, у социал-демократии тогда еще не было такой силы, как в настоящее время; но она быстро вырастала и оказывала на массы нации достаточное влияние для того, чтобы поднять их против благородного замысла содрать с них шкуру. Правда, на выборах 1877 года было избрано только двенадцать социал-демократических депутатов, но было подано почти полмиллиона социал-демократических голосов. И каждый новый день доставлял ей новых приверженцев.

Сначала могло казаться, что буржуазия, наконец-то, будет действовать, как следует. Рейхстаг еще раз отклонил растяжимый параграф, который должен был войти в уголовное уложение в качестве исключительного закона против социал-демократии,—отклонил, несмотря на то, что министр Эйленбург на случай отклонения угрожал «саблей, которая рубит, и ружьем, которое стреляет». В 1877 году национал-либералы потеряли на выборах в рейхстаг до 20 мандатов, которые достались консерваторам, но тем не менее все еще нельзя было создать в рейхстаге протекционистское большинство. Около святков 1877 года Бисмарк еще раз вступил в переговоры с вождем национал-либералов фон-Беннигсенем, но опять безрезультатно. То, что Бисмарк предлагал национал-либералам, было для них слишком мало, а то, чего он требовал от них, было для них слишком много. Им предоставлялось ввести в министерство одного или несколько статистов, но зато они должны были вотировать табачную монопо-

лию и целую кучу таможенных пошлин финансового значения,—без всяких «конституционных гарантий», без какой бы то ни было защиты жестоко суживаемого таким образом бюджетного права парламента. Им предоставлялась за это видимость участия в политической власти, но у них отнималось действительное участие в ней, поскольку оно вообще еще оставалось за национал-либералами. Это было слишком жестокое для них требование.

Но тем более не в интересах либеральной буржуазии было насильственными мерами ошеломлять рабочий класс. Однако, так как сама она в глубине сердца содрогалась от своей оппозиции Бисмарку, то она рассчитывала усилиться, яростно обрушившись на социал-демократию: тактика, за которой навсегда останется выдающееся место среди исторических глупостей прошлого века. Прогрессисты сыграли в этом отношении даже более выдающуюся роль, чем национал-либералы. Беннигсен никогда не шел по этому пути так далеко, как прогрессистский вождь Евгений Рихтер, который объявил борьбу против реакционной экономической политики Бисмарка делом второстепенным, а борьбу против сознательного пролетариата главным делом, и вел эту борьбу оружием современного Имперского Союза ¹⁾.

Хитроумие этой самоубийственной политики заключалось в том, что либеральная буржуазия по справедливости была уверена, что рабочий класс все равно станет вести борьбу против реакционной экономической политики; но она совершенно неправильно предполагала, что неистовыми выпадами против «партии переворота» сумеет вкратце в доверие «верхов». Бисмарк без труда справился с таким хитроумием. С того времени, как его переговоры с Беннигсеном окончились неудачей, он высматри-

¹⁾ Имперский Союз для борьбы с социал-демократией возник, как объединение нескольких предпринимательских организаций; борьбу против социал-демократии он вел рассылкой агитаторов, подготовкой материалов и статей для газет, обработкой депутатов и т. д. Правдивость материалов, статей, информации о рабочем движении и т. д. была такова, что Союз по справедливости заслужил название „Имперского Союза лжи“. *И. С.*

вал случай для какого-нибудь маневра по образцу бонапартовского плебисцита для того, чтобы нагнать страху, и под его подавляющим и спутывающим впечатлением добиться послушного большинства в рейхстаге.

Этот случай представился, когда 11 мая 1878 года подмастерье-жестяник Гёдель на бульваре «Под липами» в Берлине выстрелил в проезжавшего императора из пистолета, отличавшегося от действительно смертоубийственных орудий тем редкостным, но безобидным свойством, что он стрелял вкось: по данной под присягою экспертизе одного придворного оружейника, на расстоянии девяти шагов пуля попадала одним футом выше и одним же футом левее, чем следует. Получив по телеграфу известие об этом маленьком происшествии, все историческое значение которого было бы достаточно исчерпано, если бы в полицейской хронике газет о нем упомянули в трех строчках, Бисмарк послал из Фридрихсруэ телеграфный ответ: исключительный закон против социал-демократии. Вместо того, чтобы объявить это высоко-политическое требование плохой шуткой, которая была в особенности неуместной в виду того печального факта, что Гёдель, являясь жертвой капиталистического хозяйства, своей курьезной стрельбой хотел обратить внимание общества на свою интеллектуальную, моральную и физическую нужду,—вместо этого весь либерализм предпочел до последних пределов раздуть это жалкое начало жалкой бессмыслицы.

Все либеральные газеты то отдавались восторгам по случаю «чудесного спасения императора», то предавались глубокомысленным размышлениям на тот счет, что испорченный пистолет Гёделя чуть-чуть «не повернул всю мировую историю». В действительности «чудесной» была только та самоотверженность, с какой либералы поспешили дать «всемирной истории» как-раз тот поворот, к какому на их пагубу вел Бисмарк. Либералы превосходно знали, что это мнимое покушение, как однажды заявил даже Беннигсен, в худшем случае представляло «глупую выходку негодного парня»; им превосходно было известно, что Бисмарк прежде всего стремится к тому, чтобы их самих прижать к стене; приложив к делу небольшое коли-

чество энергии и ума, они сумели бы разорвать те силки, которые Бисмарк расставлял на них; но они вместо всего этого подняли вокруг дела Гёделя адский шум, который должен был пойти на пользу замыслам Бисмарка. Раздуть Гёделя в какого-то страшного Люцифера—это было наилучшим средством для того, чтобы подготовить новое покушение и создать в широких кругах народа настроение, которое вследствие повторного покушения должно было дойти до полного безумия.

В виду этого не приходится придавать какого-нибудь значения тому обстоятельству, что либеральные фракции рейхстага отклонили первый законопроект против социалистов; да и это свое отклонение они мотивировали таким образом, что прокладывали дорогу новому и общественно еще более вредному закону о социалистах. Беннигсен полагал, что даже существующее законодательство еще не использовано до последних границ допустимого. Но если он в своих заявлениях все же обнаружил некоторый проблеск понимания исторической роли современного рабочего движения, то Евгений Рихтер и на этот раз перекозырял его; этот несчастный опять выступил со своей навязчивой идеей, от которой не мог отделаться до конца дней своих: германская социал-демократия, по его мнению,—«искусственный продукт» правительства, и только потому еще может влачить существование, что реакционное законодательство о печати и союзах не применяется против нее с достаточным искусством. Понятно, что Бисмарк легко мог справиться с такими ограниченными противниками.

Ему не пришлось даже позаботиться о том, чтобы выдвинуть толпы провокаторов, которым вскоре предстояло создать нечто незаурядное по части фабрикации покушений. Не прошло и месяца, как буржуазный Герострат, д-р Карл Нобилинг, сделал серьезную попытку убить императора, который при этом был тяжело ранен. Семя либеральных фантазий начало давать ростки, и либеральные партии потерпели крушение в той буре, которую они в самоубийственной глупости сами накликали.

Тщетно старались они унять эту бурю, принеся ей в

жертву последние остатки самоуважения: некоторые из их вождей торжественно возвестили, что теперь они готовы провести какой угодно исключительный закон. Бисмарк отнюдь не страдал политической сентиментальностью. Он ковал свое железо, пока оно было горячо, и распустил рейхстаг, на словах—для того, чтобы избиратели спасли отечество, которому угрожает убийство императора, на деле—для того, чтобы они дали ему большинство, готовое осуществить его реакционные планы и принудить к молчанию опаснейшую противницу последних—социал-демократию.

4. Закон о социалистах.

Избирательной борьбой, которая велась всеми средствами белого террора,—от позорной фальсификации официальных актов до моральной чумы процессов об оскорблении величества,—Бисмарк достиг своей цели. Он так прижал национал-либералов к стене, что уничтожил в них последние остатки чувства собственного достоинства. Либеральные фракции потеряли около 40 мест и столько же выиграли консерваторы. Опираясь на их 115 мандатов, Бисмарк, в зависимости от того, что ему требовалось, мог составить или консервативно-национал-либеральное или консервативно-клерикальное большинство. Теперь руки у него были развязаны.

Однако, ему не удалось первым натиском сломить социал-демократию, хотя в борьбе с нею Бисмарк никакое средство не считал слишком неопытным. Он сумел оттягать у нее только три из двенадцати мандатов и только около десятой части того полумиллиона голосов, которые она завоевала полутора годами раньше, на выборах 1877 года. Да и это само по себе немного значило, так как социал-демократическая партия среди ужасной бури, свирепствовавшей вокруг нее, с самого начала добровольно оставила все внешние позиции и сосредоточила силы на том, чтобы укрепиться приблизительно в тридцати округах, в которых она раньше всего пустила корни. Но здесь она блестяще проявила свою несокру-

шимую жизненную силу. В Берлине, где белый террор дошел до белого каления, число социал-демократических голосов увеличилось с 31.522 до 56.147.

И сопротивление это было оказано при самых неблагоприятных условиях, какие только можно представить себе. Легальное оружие, которым в неограниченной мере могли пользоваться все буржуазные партии, у рабочих было сломано или по меньшей мере испорчено до последней степени. Права собраний в одних обширных областях империи у них вообще не было, в других было лишь в самой ограниченной мере. Их прокламации арестовывались под самым ничтожным предлогом, газеты были парализованы непрерывными налетами полиции и прокуроров. Не менее половины их передовых борцов сидело за тюремными решетками. Даже буржуазные газеты прямо признавали, что полиции все позволено по отношению к социал-демократии. К этому присоединялась небывалая нужда, продолжавшаяся уже пятый год, увольнения с фабрик и заводов многочисленных членов партии, а также ураган ненависти и злобы против социал-демократии, разнузданный под предлогом мнимой нравственной ответственности ее за покушения.

Поведение партии во время этих выборов, протекавших под впечатлением покушений, само по себе служило достаточным доказательством, что никакая внешняя сила уже не в состоянии искоренить социал-демократию. Но Бисмарк не понял этого урока или, если и понял, то не без оснований решил, что если исключительный закон и не уничтожит социал-демократии, то во всяком случае лишит либеральные партии всякой силы. В начале сентября 1878 г. он созвал новый рейхстаг, чтобы внести в него исключительный закон, который должен был отнять политические права у рабочего класса. Прения рейхстага по отдельным пунктам этого законопроекта продолжались шесть недель, являя вид комедии недоразумений. Из всех буржуазных партий самую простую и ясную позицию заняли 115 консерваторов, которые полным согласием встречали всякую меру подавления пролетариа-

та. Много больше неясности было в позиции буржуазной оппозиции,—прогрессистов и клерикалов, составлявших 160 голосов; они не хотели и слышать о законопроекте, но ничего не имели возразить против более сурового угнетения рабочего класса; только оно должно осуществляться не исключительными законами, а в порядке «общего права»; прогрессисты и клерикалы заявляли о своей полной готовности выполнить «пробелы» последнего в духе, враждебном рабочим. В действительности их озабочивало только одно: как бы безграничные полномочия, затребованные Бисмарком для полиции, не стали применяться не только против пролетарской, но и против буржуазной оппозиции. Когда прогрессистских и клерикальных политиков успокоили на этот счет, они не отбросили закона о социалистах, как могли бы его отбросить; таким образом обильный поток громких фраз, излитый ими во время первого чтения законопроекта, стоил не больше, чем ветер, который завывает в трубе.

Решение зависело от национал-либералов, которые сначала плясали, как медведи на раскаленных плитах, но затем стали плясать, послушно подчиняясь кнуту Бисмарка, в особенности когда он, желая справиться с их первоначальным упрямством, обратился к ним с любезным вопросом, уж не жаждут ли они повторения таких выборов, как проведенные после покушений. Они постарались заглушить голос своей политической совести, обставив «законными гарантиями» ту открытую грамоту, которую они выдавали полицейскому произволу. Бисмарк, приняв выражение честной лисы, начал обдумывать это изобретение сухой воды. Он обещал с самой нежной заботливостью относиться ко всем справедливым стремлениям рабочего класса,—необходимо будет только пресечь персворотные замыслы бессовестных демагогов. Так приятно звучала арфа птицелова, пока птицы не сели на клей. Конечно, Бисмарк прекрасно знал, что, как только он откроет Эоловы меха этого закона, первый же порыв ветра сметет со стола национал-либеральные карточные домики. Из всех «смягчений», внесенных национал-либералами в правитель-

ственный законопроект, заслуживает некоторого упоминания только ограничение времени действия закона,—сначала 2½ годами.

Когда 19-го октября закон был принят 221 против 149 голосов, правительство попросту попрало ногами все полуобещания и полные обещания, которые оно дало относительно «лояльного применения» вручаемых ему полицейских полномочий. Оно действовало таким образом, как если бы весь закон состоял из одного единственного параграфа: рабочий класс, лишенный всякой защиты, отдается на полный произвол и хитрость полиции. Все газеты, неперIODические издания и союзы, какими только располагало современное рабочее движение, были беспощадно уничтожены, как будто варварские орды вторглись в цивилизованную страну. Нельзя отрицать, что этот ливень преследований вызвал некоторое замешательство в рядах социал-демократической партии, которая, как бы недоверчиво ни относилась она к обещаниям Бисмарка, однако, никак не ожидала, что «герой века» с таким бесстыдством поставит к позорному столбу свои собственные слова. Но замешательство продолжалось лишь несколько недель. Сам Бисмарк поспособствовал восстановлению необходимого порядка, так как его слепая ненависть к рабочим сама себя пожирала.

Рассчитывая нанести последний удар рабочей партии, 28-го ноября, накануне возвращения в Берлин оправившегося от ран императора, Бисмарк ввел в Берлине и окрестностях малое осадное положение, которое предусматривалось в § 28 закона о социалистах и предоставляло полиции высылать всех неугодных ей лиц. На следующий день из Берлина было выслано 67 членов партии, почти сплошь семейные люди. Это было самое низкое из всех нарушений слова, данного Бисмарком. За § 28 закона против социалистов национал-либералы голосовали только на самый крайний случай. Если бы социал-демократическая агитация настолько подкопала известный округ, что здесь во всякий момент можно было бы ожидать насильственного взрыва, тогда должно было начаться применение этого параграфа, чтобы таким образом предотвра-

тить введение действительного осадного положения. Даже буржуазная пресса единодушно признала, что в тогдaшнем Берлине отсутствовали все условия, при которых действительно можно было бы дать применение § 28-му.

Но если Бисмарк воображал, что этим варварским выпадом он нанесет смертельный удар социал-демократии, то в действительности произошло нечто прямо противоположное. Теперь социал-демократия увидала, что ей предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Повсюду, где члены партии в первый момент упали духом, они начали возвращаться на свои прежние посты. Сборы в пользу высланных и их семейств послужили первыми нитями, связавшими новую организацию; сами высланные и их голодающие жены и дети сделались агитаторами, каких еще не бывало у сознательного пролетариата. И тут же начал рассеиваться тот моральный остракизм, который со времени покушений тяготел на социал-демократии в представлениях широких народных слоев. Либеральные политики доставили значительные суммы в фонд помощи высланным, и когда в 1879 году в весеннюю сессию рейхстага Бисмарк хотел ограничить свободу парламентского слова для социал-демократических депутатов, национал-либералы отклонили такое непомерное самоуничтожение. Конечно, ни у одной из буржуазных партий не нашлось решимости заявить хотя бы только бумажный протест против злоупотребления параграфом 28,—о действительном же протесте и говорить нечего.

В эту же сессию рейхстага было положено начало «финансовой и экономической реформе» в реакционном духе Бисмарка. Парламент превратился в биржу, на которой Бисмарк торговался с крупными промышленниками и крупными землевладельцами относительно той доли, какую каждый из этих трех благородных союзников может вырезать из шкуры потребляющих народных масс. После длинных и противных переговоров крупные промышленники получили для себя железные и текстильные таможенные пошлины, крупные землевладельцы—пошлины на хлеб и скот, Бисмарк—финансовые пошлины, а народу это удовольствие стоило вздорования всех средств существова-

ния на 130 миллионов марок, представлявших результат новых налогов. При этом совершился полный политический сдвиг партий. Выбитые из колеи национал-либералы предоставили своим членам свободу голосования по всем экономическим вопросам: часть из них осталась с прогрессистами под фритрэдерским знаменем, другая часть перешла к протекционистам. Но они держались за свои «конституционные гарантии»,—они не хотели целиком отпустить в реку забвения право рейхстага вотировать доходы. Таким образом Бисмарку пришлось налаживать отношения с клерикалами, которые удовольствовались «федеративными гарантиями», передачей всех излишков доходов отдельным государствам, и вдобавок в качестве приятного могоарыча получили отставку Фалька, министра культуркампфа. Такой великий человек, как Бисмарк, этим не стеснялся. Когда предвиделся такой крупный выигрыш, стоило не только пойти в Каноссу, но и стать на колени перед партикуляризмом.

Новые налоги, взваленные на народ, дали новую воду на мельничные колеса рабочего движения. На некоторых дополнительных выборах массы обнаружили огромный рост активности. Но в виду обманчивых лозунгов, которыми инициаторы нового ограбления масс изукрасили свое дело, становилось все настоятельнее необходимым издание партийного органа, который способствовал бы увеличению единства и ясности, но который мог появиться, конечно, только за границей. В то же время отдельные члены партии, которые до того времени вели борьбу в первых рядах, напр., Мост и Гассельман, начали высказываться за анархистскую тактику насилия. Хотя их агитация в первое время оказывала лишь небольшое влияние, однако, она могла сделаться опасной, если бы насильственные акты правительства довели раздражение масс до точки кипения. Да и теперь «Свобода» («Freiheit»), еженедельная газета, орган этого направления, появлявшийся сначала в Лондоне, а затем в Швейцарии, давал радушный приют для кровожадных призывов правительственных провокаторов, а затем прусские министры в рейхстаге старались

использовать эти фразы, чтобы доказать, сколь преступны замыслы социал-демократии. Документально доказан тот факт, что «Свобода», которая в каждом номере проповедывала убийство государей, в некоторые периоды существовала на деньги прусской полиции.

С октября 1879 года в Цюрихе начал выходить «Социал-Демократ», тоже еженедельная газета. С самого начала она стала тем, чем должна была сделаться: органом всей партии. Близкие и тесные связи с германскими членами партии предохранили ее от опасностей, угрожающих эмигрантской литературе. Несмотря на все искусство полицейских ищеек, на сотни домашних обысков, несмотря на перлюстрации писем (вскрытие, просмотр их и т. д. в «черных кабинетах». И. С.), газета с каждой неделей все глубже проникала в германскую партийную жизнь. В этой партизанской войне новые нити организации, завязавшиеся посредством сборов в пользу высланных, сплелись в ткань, в которой, как один прокурор жаловался уже в 1880 году, удавалось распутать отдельные петли, но которой никак не удавалось разорвать. Голодающий и презираемый пролетариат оказался действительным хозяином современных производительных и транспортных сил; пользуясь тем оружием, которое они дают, он шутя справился с полицейскими приемами, исторически уже давным-давно пережившими себя.

Что до сих пор еще никогда не удавалось в истории, то теперь достигалось с беспримерной легкостью и уверенностью: запретная иностранная газета, за распространение которой угрожали тяжкие кары и на путях которой сторожили полицейские полчища большого государства, еженедельно в тысячах экземпляров аккуратно доходила до отдаленнейших уголков этого большого государства. Возможность такого беспримерного успеха создали современные производственные и транспортные отношения, — но эта возможность осуществилась только благодаря целой армии энергичных, ловких и безусловно надежных членов партии, самопожертвование и убежденность которых выступают в свете тем более ярком, что

они хорошо знали, что «ни в песне, ни в книге героев» не будет рассказано, с каким усердием исполняли они свой партийный долг.

Политическая организация германского рабочего класса была разрушена, но нельзя было разрушить его экономическую организацию,—для этого пришлось бы уничтожить современную цивилизацию, тот самый механизм капиталистического производственного процесса, которым рабочий класс объединяется, дисциплинируется и организуется. Этот механизм открывал тысячи способов для того, чтобы сговориться, при чем не было нужды прибегать к опасному и обоюдоострому средству иерархически расчлененной тайной организации. Каждый день совместной работы в крупных промышленных мастерских, всякая форма товарищеского объединения: культурно-просветительное общество и читальня, клуб курильщиков или танцевальный, всякая воскресная экскурсия за город, всякая праздничная прогулка,—все это обращало в ничто усилия полиции разбить социал-демократическую организацию. Эта организация,—которая, в зависимости от местных условий, принимала самый разнообразный характер и умела сообразовать самооборону со всякой формой нападения,—была тайной лишь постольку, поскольку она должна была оставаться тайной, чтобы обеспечить пролетариату одинаковые права с другими классами населения. Потому-то она и была морально так же непреодолима, как была незыблема экономически.

Благодаря этой организации, социал-демократическая партия, когда второй год действия закона о социалистах приближался к концу, созвала партийный съезд, состоявшийся 20—28 августа 1880 года в замке Виден в Швейцарии. Он исключил из партии Моста и Гассельмана и устранил последние остатки замешательства, вызванного внутри партии законом о социалистах; главным же образом он вооружил к выборам в рейхстаг, которые предстояли в ближайшем году и должны были показать, был ли закон о социалистах пустым ударом по воздуху или нет.

По таким же соображениям Бисмарк старался усилить себя к этим выборам. Он потребовал и получил от

рейхстага продление закона против социалистов до осени 1884 года. К консервативно-национал-либеральному большинству теперь присоединилось уже меньшинство клерикальной партии. Затем для верховного управления мерами, связанными с законом против социалистов, он пригласил померанского юнкера фон-Путткамера, низкую и скверную полицейскую душу, невежественного горлана, который, глубоко приникнувшись той консервативной мудростью, что изысканнейшие негодяи—самая надежная опора трона и алтаря, был покровителем и пособником позорнейшей системы провокации. Малое осадное положение, возобновлявшееся в Берлине из году в год, в октябре 1880 года было введено в Гамбурге, в июне 1881 года—в Лейпциге. В этих трех областях высылки следовали за высылками; социал-демократические избирательные воззвания подвергались конфискации, как бы невинно ни было их содержание, на предвыборные собрания рабочих было наложено общее запрещение; в последние недели перед выборами насчитывалось не менее 600 ничем неоправдаваемых арестов. Кроме того, Бисмарк не скупился на обманчивые посулы. Он обещал рабочим табачную монополию, как «прибежище обездоленных», на том условии, что они уверуют в его «социализм»; служающие профессора пошли на то, чтобы распространить эту диковинную сказку о его социализме.

Но все труды были тщетны; рабочие знали, в чем дело, и мужественно выдержали генеральное испытание закона против социалистов. На основных выборах они получили 312.000 голосов; это было на 130.000 голосов меньше, чем на выборах, последовавших за покушениями, но ни одному противнику не приходило в голову торжествовать по случаю такой разницы. Всеобщее смущение в буржуазном лагере подтвердило тот исторический факт, что социал-демократия оказалась непобедимой: недаром она, преследуемая всеми мерами насилия, угнетаемая и гонимая, вызвала на смотр войско более, чем в триста тысяч человек. На перебаллотировках она получила опять двенадцать мандатов, как-раз столько же, сколько у нее было перед изданием закона о социалистах.

5. Смягченная практика.

Да и вообще исход выборов в рейхстаг 1881 года был неблагоприятен для Бисмарка. Его национал-либеральная охранная стража в 1880 году раскололась; под именем сецессионистов откололась фракция «раздосадованных фрит-рэдеров», которая политически оставалась довольно бесцветной, но не шла на новые повышения таможенного тарифа. Она снова сблизилась с прогрессистской партией, и обе фракции получили больше 100 мандатов, так что Бисмарк лишился и консервативно-национал-либерального и консервативно-клерикального большинства.

Он разыграл из себя глубоко оскорбленного честного человека: ведь, ради буржуазии он издал закон о социалистах, восставивший против него рабочий класс. А теперь буржуазия начинает делать общее дело с рабочими, экономически ее заклятым врагом, с неудобными требованиями которого в экономической области она продолжает бороться, а между тем, закон о социалистах мешает рабочим оценить, с каким благоволением относится к ним правительство. Это очень приятное положение для буржуазии, пока оно длится. Но правительство, удовлетворив справедливые требования рабочих, осуществит здоровое ядро социалистической идеи, и тогда закон о социалистах будет излишен.

Так начались годы «мягкой практики»,—попыток укротить социал-демократию не только плетью, но и пряником, достигнуть посредством подкупа того, чего не удалось достигнуть насилием. 17-го ноября 1881 года новый рейхстаг был открыт императорским посланием, которое возвестило закон о больничных кассах и страховании от несчастных случаев, а для проведения этих мер в финансовом отношении требовало табачной монополии. В то же время рабочему движению был дан несколько бóльший простор, чем у него было в первые годы закона о социалистах. Проявилось терпимое отношение к зачаткам нового профессионального движения, собрания рабочих и рабочие газеты воспрещались не с самого начала. Ра-

бочие должны были получить возможность высказываться хотя бы для того, чтобы благодарить правительство за его «благдеяния», проклинать своих «совратителей», и в особенности для того, чтобы запугать буржуазию. Конечно, полицейские притеснения вообще еще не окончились: высылки, воспрещения, процессы по обвинениям в подготовке восстания, в государственной измене, в оскорблении величества, подстрекательстве и по тому подобным растяжимым поводам оставались повседневными явлениями. Существо «мягкой практики» характеризовалось тем, что рабочие ни на минуту не могли забыть, под каким Дамокловым мечом они живут. Бисмарк начал выпрядать не новый номер, а лишь новую нить полицейского произвола.

На партийном съезде, происходившем в Копенгагене с 29-го марта до 2-го апреля 1882 года, социал-демократия в виду этого нового положения дел определила свою принципиальную и тактическую позицию. Если ноябрьское императорское послание 1881 года было в известном смысле вопросом, обращенным к рабочим: не продадут ли они свое право политического первородства за чечевичную похлебку повышенных попечений о бедных, за некоторые заботы о больных и увечных рабочих, то копенгагенский съезд ответил категорическим «нет». Единогласно и без прений была принята резолюция, что, принимая во внимание поведение господствующих классов, съезд не питает доверия ни к честности их намерений, ни к их способностям и, напротив, убежден, что мнимая социальная реформа будет использована просто, как тактическое средство для того, чтобы свести рабочих с правильной дороги. Но долг партии и ее парламентских представителей заключается в том, чтобы, каковы бы ни были мотивы внесения законопроектов, имеющих в виду экономическое положение народа, энергично защищать интересы рабочего класса, при чем, как само собой разумеется, ни на один момент не следует упускать из виду совокупность социалистических требований.

В соответствии с этими постановлениями, социал-демократическая фракция рейхстага участвовала в прениях

по внесенным Бисмарком законопроектам о больничных кассах и страховании от несчастных случаев. В этих законопроектах фракция видела не социальные реформы в историческом смысле слова, а лишь попытки, улучшив материальное положение пролетариата, отвратить его от его исторической задачи; тем не менее она сделала все, зависящее от нее, чтобы реформа попечения о бедных приобрела разумный вид. Она требовала, чтобы расходы по страхованию от несчастных случаев несли исключительно предприниматели, как часть издержек производства, и чтобы предприниматели не могли претендовать на какое-либо возмещение из государственной кассы или из карманов рабочих; напротив, страхование от болезней она хотела возложить целиком на плечи рабочих, которые требовали за это только того, что считается естественным для всех остальных классов общества: самостоятельного управления больничными кассами. Но буржуазное большинство рейхстага было глухо к этим скромным и логичным требованиям. Оно самым нецелесообразным способом разорвало страхование от болезней и несчастных случаев, чтобы создать буржуазно-бюрократическое чудовище,—организацию, в которой рабочим предоставлялось ничтожное, а чиновникам и предпринимателям огромное влияние. Социал-демократические депутаты, исполняя свой долг, голосовали против, почему Бисмарк и его чернильные кули заявили, что эти депутаты—враги рабочих; но этот демагогический маневр не произвел впечатления на рабочие массы.

Да и вообще эти массы оказались вполне застрахованными от той моральной и политической заразы, которую «мягкая практика» должна была бросить в их ряды. Режим капризного произвола раздражил их даже больше, чем прежняя система беспощадных преследований, которая, какой бы презренной она ни была, обладала одним достоинством—откровенностью. Ходячее слово в рабочих кругах говорило: пряники Бисмарка мы презираем,—его плеть будет сломана нами.

Далеко не на такой высоте держалась либеральная оппозиция. Она выступила против табачной монополии,

которую без нее невозможно было бы провести, но во всех политических вопросах ее позиция была бесконечно слабая. И та программа, на которой весной 1884 года прогрессисты и сецессионисты объединились в свободомыслящую партию, была очень скудная. Инициатива шла не от масс избирателей: парламентарии обеих фракций за кулисами договорились относительно объединения, долженствовавшего послужить, как было известно всему миру, поздравительным даром для будто бы «либерального» кронпринца, восшествие которого на престол, при большой старости императора, могло последовать каждый день. Избиратели-прогрессисты начали даже несколько брюзжать по случаю нового ослабления программы, но вожди успокоили их тем соображением, что новые друзья-сецессионисты, следуя требованию новой программы: равенство перед законом без различия лиц и партий, будут голосовать против закона о социалистах и, таким образом, приведут к его падению.

Совершенно верно, все сводилось к этому закону; от упадка общественной жизни, вследствие закона о социалистах, либерализм страдал много больше, чем социал-демократия. Но это знал и Бисмарк, и, хотя срок действия закона истекал только осенью 1884 года, он заставил молодую партию плясать уже в ее медовый месяц, весной этого года. Он угрожал такими же новыми выборами, как произошли после покушений, если только действие закона не будет продлено на два года, и он тотчас же пустил в ход официозную избирательную машину. Тогда буржуазная оппозиция, хотя победа была у нее в руках, расплзлась по всем швам. Кроме 39-ти клерикалов, перевернулись 27 свободомыслящих, прежние сецессионисты, а Евгений Рихтер для большей уверенности распорядился откомандировать на решающее голосование прежних прогрессистов. Имеется документальное доказательство этого, и никакое решительное отрицание не в силах его уничтожить.

Таким образом, прежде чем свободомыслящая партия вступила в жизнь, становой хребет у нее был сломан. Но так как лук у Бисмарка всегда был с несколькими те-

тивами, то для новых выборов, происходивших осенью 1884 года, он в качестве гвоздя выдвинул еще колониальную политику, решительным противником которой было до того времени. На этот раз он остерегался табачной монополии и тому подобных замысловатых паролей; он ратовал за социальную реформу и колониальную политику и вел борьбу против предающего отечество свободомыслия, которое хочет лишить германскую нацию столь прекрасных вещей. Таким образом он оттягал у свободомыслящей партии около 40 мандатов, значительно больше трети общего количества; больше тридцати из них достались консерваторам, и Бисмарк опять получил консервативно-клерикальное, хотя еще не консервативно-национал-либеральное большинство.

На этих выборах была наказана трусливая и шаткая политика буржуазной оппозиции. Но на них же получила награду последовательная и мужественная политика пролетарской оппозиции. Социал-демократия завоевала голов и мест больше, чем у нее бывало когда-либо в прежнее время: 24 мандата и круглым счетом 550.000 голосов. Конечно, на этих выборах ее не так жестоко стесняли, как в 1878 и 1881 году, но корни ее значительного успеха были не столько в этом, как в том, что теперь она добралась до почвы, которой еще не выровняла крупнокапиталистическая метла,—до мелкобуржуазных и мелкокрестьянских слоев, которые испробовали положительно все буржуазные целебные средства от социальной нищеты: свободу торговли и протекционизм, либеральное манчестерство и реакционную цеховщину, и, несмотря на них, все глубже затягивались в болото. Лучшие и наиболее здоровые элементы из этих слоев начинали сживаться с той мыслью, что им в состоянии помочь только радикальное лечение социал-демократии, или по меньшей мере начали открывать, что все жалобы угнетенных нигде не найдут такой надежной поддержки, как в этой партии, характеризующейся принципиальной ясностью и выдержанностью. С этих выборов ведет свое начало прочное внедрение партии в старинную крестьянскую страну, в Баварию, второе по величине государство Германии.

Тем не менее, Бисмарк еще не отказался от надежды на то, что социал-демократия переживет свой «Дамаск». С ним случилось то же, что бывает со всеми правителями, которые имеют обыкновение подкупать печать для своекорыстных целей: в конце-концов, они сами начинают верить в ложь своих наемных писак. Да и самое внедрение партии в мелкобуржуазные слои могло давать пищу той надежде, что теперь с ней будет легче поладить; эта надежда еще больше усиливалась тем обстоятельством, что в социал-демократической фракции рейхстага, усилившейся настолько, что она могла теперь вносить собственные предложения, обнаружилось некоторые различия в тактических воззрениях; летом 1885 года по сравнительно второстепенному вопросу о субсидии паровым обществам эти различия выразились даже в резкой публичной дискуссии. Как бы то ни было, когда в ноябре 1885 г. собрался новый рейхстаг, Бисмарк выразил пожелание, чтобы социал-демократия к двум дюжинам своих мандатов получила еще одну дюжину, и назвал ее «весьма полезным элементом», без которого не было бы и того слабого прогресса, которого удалось достигнуть до того времени. Даже Путткамер напустил на свое лицо возможно больше любезное выражение, уверяя, будто партия ступила «на менее революционную стезю», и позабавил своим заявлением, будто закон о социалистах направлен не против нее, а только против анархической группы, не останавливавшейся ни перед какими убийствами.

Но дела правительства очень плохо согласовались с такими разглагольствованиями. Избирательные успехи социал-демократии оказали свое действие на политическую совесть буржуазных партий. Все они, за единственным исключением свободомыслящей партии, внесли более или менее далеко идущие предложения, клонившиеся к развитию законодательной охраны труда. Однако, здесь они натолкнулись на упорное сопротивление Бисмарка, который в этом вопросе придерживался самых заскорузлых манчестерских воззрений, находясь в благородном соревновании со своим мнимым смертельным врагом Евгением Рихтером. Вместо этого Бисмарк написал на своем зна-

мени создание миллионеров и в первой сессии нового рейхстага дал второе издание протекционистской оргии 1879 года. Так как волки голодали шесть лет, то они с ненасытной алчностью набросились на массы потребителей. Хлебные пошлины были утроены, пошлины на дерево удвоены, повышены пошлины на хлеб и водку, а также на большое количество промышленных изделий. Сессия, открывшаяся под знаком мнимой «социальной реформы», закончилась, как заявила социал-демократия, «разбойничьим походом на рабочий народ».

Непоколебимое сопротивление социал-демократии ограблению масс начало раскрывать глаза Бисмарка. К тому же и те минимальные требования, которые выдвигало даже «правое крыло» социал-демократии,—устранение закона о социалистах, неограниченная свобода коалиций, законодательство об охране рабочих по английскому образцу,—были для него по существу еще более ненавистны, чем даже требование общественной собственности на средства общественного производства, так как они с большей непосредственностью угрожали его превыше всего возлюбленным барышам. Наконец, весной 1886 года «мягкая практика» получила смертельный удар, когда социал-демократическая фракция бросила яркий свет на позорную систему провокации: она разоблачила занимавшего штатное место чиновника берлинского президиума полиции, пробравшегося под ложным именем в один рабочий союз, сохранившийся при законе о социалистах, и подстрекавшего к динамитным покушениям.

Весной 1886 года метод подкупа потерпел такое же банкротство, как осенью 1881 года—метод насилия, отрицающего всякое право.

6. Падение Бисмарка.

Система Бисмарка-Путткамера попыталась еще раз удержаться путем разнузданных полицейских методов.

Первый акт насилия направился на профессиональное движение. 11-го апреля 1886 года Путткамер издал приказ о стачках, задававшийся целью совершенно задушить

свободу коалиций по тем удивительным соображениям, что за всякой стачкой таится гидра революции. Что касается политического рабочего движения, то его попытались искоренить посредством многочисленных процессов по обвинению в принадлежности в тайной организации; при этом работа палача выпадала на долю покладистой юстиции. Кроме этих главных ударов, на рабочий класс обрушилась необозримая масса разнообразнейших придирок.

Как признавали и некоторые буржуазные газеты, на рейхстаг ложилась немалая доля вины за то, что полицейский произвол выростал до безграничных размеров. У рейхстага не было мужества протестовать против приказа о стачках и точно так же не было мужества отказать в продлении закона о социалистах до осени 1888 года. Но он отклонил водочную монополию, которой требовал от него Бисмарк. За нее не решились голосовать даже юнкера, так как они страшились растущего возмущения масс, вызываемого грабежами юнкеров, превратившимися для них в постоянный промысел. Таким образом, лимон был выжат, и Бисмарк уже помышлял о создании нового рейхстага, который был бы воском в его руках. Он требовался ему на случай смены на престоле, которой, несомненно, надо было ожидать в непродолжительном времени. Бисмарк знал, что престолonasледник не любил его; наследник состоял даже на подозрении по части «либеральных» симпатий.

Водочная монополия не была таким паролем, который мог бы вывезти на выборах; на этот раз нельзя было злоупотреблять и запугиванием красной опасностью, так как рейхстаг оказался послушным во всем, что касалось социал-демократии. Поэтому, чтобы изловить избирателей, Бисмарк избрал военные ужасы. В ноябре 1886 года он внес законопроект, который требовал немалого увеличения военного бюджета и вотирования его на семь лет. Буржуазная оппозиция, прогрессисты и клерикалы, правда, готовы были дать ему «каждого человека и каждый грош», какого он требовал, однако, не на семь, а всего на три года; но хотя, в конце-концов, она уступила бы и в этом пункте, тем не менее, Бисмарк распустил рейхстаг после первого же голосования при втором чтении и назначил

новые выборы на масленицу, на карнавальный день 1887 года.

Благодаря слабости буржуазной оппозиции, избирательная борьба была для нее с самого начала проиграна. Трудно было бы поднять большие массы избирателей случайным вопросом: на три или на семь лет? Бисмарк нашел несравненно более яркий козырь в виде вопроса: война или мир? Был мобилизован весь правительственный аппарат для того, чтобы парализовать избирательную агитацию либеральных партий; в то же время вся официальная пресса работала над тем, чтобы до самой одинокой хижины в империи распространить ложь, будто за победой оппозиционных партий последует объявление Францией войны обезоруженной теперь Германии. Этот жалкий бред поддерживали консерваторы и национал-либералы, которые объединились в картель: поддерживал тот же союз крупного землевладения и крупной промышленности, который за десять лет перед тем открыл период экономической реакции.

Единственной оппозиционной партией, которая не дала ни одного человека, ни одной копейки и вела борьбу со всей принципиальной решительностью, была социал-демократия. Ей приходилось вести борьбу при таких же тяжелых условиях, как в 1878 и 1881 годах. Кроме Берлина, Гамбурга и Лейпцига, малое осадное положение было объявлено также во Франкфурте-на-Майне и в Штеттине. Ее мужество опять получило награду; она получила несколько более трех четвертей миллиона голосов, хотя при этом завоевала всего одиннадцать мандатов; причина заключалась, главным образом, в той трусости, с какою свободомыслящие на перебаллотировках перебежали в лагерь картеля, чтобы предотвратить победу социал-демократических кандидатов.

Однако, социал-демократия пустила в массах еще не достаточно глубокие корни для того, чтобы предохранить их от тех запугиваний, посредством которых работал Бисмарк. На карнавальных выборах он добился большинства для картеля, и теперь руки у него были развязаны на три года. Новый рейхстаг не только немедленно принял

его военный законопроект, но и голосовал за повышение налогов на водку более чем на 100 миллионов ежегодно и налога на сахар более чем на 40 миллионов в год, да, кроме того, еще на ежегодные дары любви из карманов налогоплательщиков для винокуров в 40 миллионов ежегодно и для сахароваров—30 миллионов.

В октябре 1887 года социал-демократия устроила в Сен-Галлене свой третий партийный съезд за время исключительных законов о социалистах. Это было новым чувствительным ударом для Бисмарка, который процессами по обвинению в принадлежности к тайной организации не в малой мере преследовал ту цель, чтобы кроме партийного органа парализовать и партийные съезды. Партийный съезд показал, что ряды партии так же сплочены и непоколебимы, как когда бы то ни было; если только вообще существовало «правое крыло», то оно бесследно исчезло. Бисмарк отомстил тем, что месяцем позже во вторую сессию карательного рейхстага на-ряду с другими реакционными законопроектными — повышением хлебных пошлин с трех до пяти марок и продлением срока, на который избирается рейхстаг, с трех до пяти лет—он внес предложение продлить действие закона о социалистах на пять лет, при чем в закон вводились каннибальские обострения. В частности предлагалось отнимать все политические права у лиц, осужденных за принадлежность к тайным организациям, а также у всех участников социал-демократических съездов, устраиваемых за границей.

Но социал-демократическая фракция разом разбила этот «закон об объявлении вне закона», представив многочисленные разоблачения о системе подкупа и провокации, посредством которой Бисмарк-Путткамер заразили не только всю Германию, но и половину Европы. Под впечатлением этого беспрецедентного позора развалился даже картель. Самое большее, на что соглашались пойти национал-либералы, это—продлить еще на два года закон о социалистах в том виде, как он существовал. 18-го февраля 1888 года он был продлен, в четвертый и последний раз, до 30-го сентября 1890 года.

Через несколько недель после этого скончался импе-

ратор, и на престол взошел его наследник. Император Фридрих заболел смертельной болезнью. Хотя система Бисмарка-Путткамера и не доставляла ему никакого удовольствия, у него не было сил для ее изменения. В течение ста дней его управления Бисмарк совершил новый акт насилия: посредством сильного давления на швейцарское правительство он добился изгнания социал-демократов из Швейцарии. Но и этот акт был ударом по пустому месту. Газета была переведена в Лондон и стала распространяться в Германии с бóльшим успехом, чем раньше. Единственное, чего достиг император Фридрих, было устранение Путткамера, которого он, уже умирающий человек, прогнал стократно заслуженным им пинком.

За Фридрихом последовал Вильгельм 2-й, при котором у Бисмарка руки были опять развязаны. Но так как не было никакого удержу его мании величия, то он начал до такой степени перегибать лук, что его ближайшему окружению стало жутко и не по себе. Ряд конфузов, в частности ссора с Швейцарией, которая при всей своей уступчивости все же выслала одного прусского полицейского чиновника, занимавшегося провокацией на швейцарской почве, пошатнула даже его репутацию, как дипломата. Картельные крысы начали тревожно бегать по кораблю, который явно засел между скал, и клерикальная пресса пустила крылатое слово: ничто больше не удастся!

Последний якорь спасения Бисмарк видел в «военном» разрешении рабочего вопроса, в том, чтобы потопить рабочее движение в потоках крови. Правда, рабочие достаточно показали, что никакая провокация не в состоянии погнать их под ружейные дула, чтобы таким способом поддержать обанкротившуюся систему. Однако, Бисмарк рассчитывал, что он толкнет их на улицу, если, совершив государственный переворот, отнимет у них всеобщее избирательное право. Он приступил к подготовке этого государственного переворота и в октябре 1889 года внес в карательный рейхстаг законопроект, который должен был увековечить закон о социалистах, при чем в нем усиливались «судебные гарантии» и вносились еще некоторые смягчения столь же комического свойства. Бисмарк

знал, что национал-либералы на это не пойдут, так как «злополучный закон», который приводил к ускоренному росту социал-демократии, был жестоко опорочен и в либеральных кругах. Но они все еще были так жалки, что за свое согласие на увековечение закона хотели требовать лишь отказа от полицейских полномочий производить высылки на основании § 28, так как эти полномочия оказались наиболее обоюдоострыми из всех обоюдоострых пунктов закона и стяжали дурную репутацию даже у самых ограниченных полицейских душ. Юнкера тоже были готовы голосовать за закон, «смягченный» таким образом, и император в совете короны высказался за его принятие. Но Бисмарк противился, однако, он не объявлял публично и официально, что «смягченный» закон для него неприемлем, а, двусмысленно высказываясь за кулисами, поощрял юнкеров голосовать против закона, если полномочия на производство высылки, предоставляемые полиции параграфом 28, будут вычеркнуты. Когда же они, действительно, были вычеркнуты при втором чтении, консерваторы в третьем чтении голосовали против закона, который благодаря этому 25-го января 1890 года пал, чтобы уже не воскреснуть.

Итак, Бисмарк начал интригу, чтобы создать такую видимость, будто даже этот рейхстаг без всякой вины правительства отказался дать необходимое оружие для обороны от переворотных планов социал-демократии, а это с точки зрения Бисмарка тяжело компрометировало и всеобщее избирательное право. Но уже на этой первой ступени своих планов государственного переворота Бисмарк натолкнулся на сопротивление императора, который от всей души ненавидел социал-демократию, но, руководствуясь правильным инстинктом самосохранения, не хотел при самом начале своего правления взять на себя роль «принца-картечи». Кроме того, манера имперского мажордома, усвоенная Бисмарком, уже давно угнетающим образом действовала на его нервы; свободный от ограниченности Бисмарка в вопросах законодательной охраны труда, император надеялся произвести благоприятное воздействие на новые выборы в рейхстаг, издав два указа,

из которых один обещал дальнейшее развитие законодательства по охране рабочих, именно ограничение рабочего дня, а другой—созыв международной конференции по охране рабочих.

Решение вынес не император и не канцлер, а рабочий класс, который 20-го февраля 1890 года подал до полутора миллионов голосов и таким образом бурным потоком снес всю систему Бисмарка; через несколько недель бесславно пал и носитель последней. Этот успех социал-демократии был всемирно-историческим событием, открывшим новый период истории. В самом деле, как ни богата примерами человеческого героизма борьба интернационального рабочего класса в девятнадцатом веке, однако, здесь впервые рабочая партия в двенадцатилетней борьбе, направляемой разумно, последовательно и мужественно, одержала победу над большим государством с его колоссальными ресурсами.

Конечно, ей пришлось понести тяжкие жертвы. По далеко не полным подсчетам, при законе о социалистах было воспрещено 1.300 периодических и непериодических произведений печати и 332 рабочих организаций того или иного рода; из местностей, объявленных на осадном положении, было выслано до 900 лиц, из них свыше 500—кормильцы семьи; лишения свободы, назначенные по суду, составили в общей сложности около 1.000 лет и коснулись 1.500 лиц.

Но эти жертвы были принесены не напрасно. При содействии закона о социалистах количество голосов, данное за партию на выборах в рейхстаг, возросло на один миллион, число членов профессиональных организаций увеличилось с 50.000 до 200.000. Германский рабочий класс сделался средоточием исторического развития, из этого положения его уже не может вытеснить никакая сила в мире. Его судьбы превратились в судьбы нации, которые на всем протяжении германской истории никогда не находились в более крепких и надежных руках.

Источники. *Leipziger No hvernalsprozess* в берлинском партийном книгоиздательстве. Там же: „*Auer*“, „*Nach zehn Jahren*“; *Мерин*, „История германской социал-демократии“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| | <i>Стр.</i> |
|--|-------------|
| К русскому изданию | 3 |
| Предварительные замечания | 9 |
| Введение. | |
| 1. Германцы и римляне | 13 |
| 2. Германско-римские государства | 18 |
| 3. Средневековая церковь | 24 |
| Отдел первый. Германская реформация и ее следствия. | |
| 1. Купеческий капитал | 32 |
| 2. Разложение папской церкви | 37 |
| 3. Германская реформация | 43 |
| 4. Лютер, Мюнцер, Гуттен | 48 |
| 5. Крестьянская война и перекрестцы | 53 |
| 6. Иезуитизм, кальвинизм, лютеранство | 59 |
| 7. Тридцатилетняя война | 65 |
| Отдел второй. Прусское государство и классическая литература. | |
| 1. Новая Европа | 72 |
| 2. Прусское государство | 76 |
| 3. Зачатки буржуазного образования | 81 |
| 4. Лессинг | 86 |
| 5. Гердер. Молодые годы Гёте и Шиллера | 90 |
| 6. Кант | 95 |
| Отдел третий. Французская революция и ее последствия. | |
| 1. Французская революция | 100 |
| 2. Революционные войны | 105 |
| 3. Разгром Германской империи | 109 |
| 4. Прусские реформы и освободительные войны | 115 |
| 5. Реставрированная Германия | 122 |
| 6. Царство эстетической видимости | 128 |
| 7. Гёте и Шиллер. Романтическая школа | 133 |
| 8. Фихте и Гегель | 143 |

Отдел четвертый. Меж двух революций.

| | |
|--|-----|
| 1. На повороте | 148 |
| 2. Новая жизнь в Германии | 153 |
| 3. Революционная литература. Гейне | 158 |
| 4. Философия и пролетариат. Вейтлинг | 162 |
| 5. Король-романтик | 169 |
| 6. Маркс и Энгельс | 173 |

Отдел пятый. Германская революция и ее последствия.

| | |
|--|-----|
| 1. Мартовская революция | 181 |
| 2. Контр-революция и ее победа | 186 |
| 3. Первый период германского рабочего движения | 190 |
| 4. Пятидесятые годы | 195 |
| 5. Прусский конституционный конфликт | 201 |
| 6. Лассаль | 206 |

Отдел шестой. Революция сверху.

| | |
|---|-----|
| 1. Всеобщий Германский Рабочий Союз | 213 |
| 2. Начало германского кризиса | 218 |
| 3. Революция сверху | 223 |
| 4. Северо-Германский союз | 228 |
| 5. Лассальянцы и эйзенахцы | 232 |
| 6. Император и империя | 239 |

Отдел седьмой. Германская социал-демократия.

| | |
|---|-----|
| 1. Грюндерская горячка и культуркампф | 245 |
| 2. Объединение рабочей партии | 249 |
| 3. Реакционный поворот | 253 |
| 4. Закон о социалистах | 259 |
| 5. Смягченная практика | 268 |
| 6. Падение Бисмарка | 274 |

Издательство „КРАСНАЯ НОВЬ“

ГПП. Москва, Воздвиженка, 9.

Сочинения И. Степанова.

- Парижская коммуна 1871 г. III изд. 1р. 30 к.
Жан Поль Марат и его борьба с контр-революцией. VI изд. — „ 30 „
Исторический материализм и современное естествознание. (Печатается)
Беседы о вере. VI изд. — „ 90 „
О душе, загробной жизни, о боге и бессмертии. II изд. — „ 25 „
О правой и неправой вере, об истинных и ложных богах. (Разошлась)
Мысли о религии. III изд. — „ 20 „
Происхождение нашего бога II изд. — „ 80 „
Очерк развития религиозных верований. (Разошлась.)
О таинстве святого причащения. III изд. — „ 7 „
Задачи и методы антирелигиозной пропаганды — „ 30 „
Князя церкви и голод. (Разошлась.)

**ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА:
МОСКВА, Воздвиженка, 9.**